

LOUIS-FERDINAND

*Celine*

## Annotation

«Надо сделать выбор: либо умереть, либо лгать». Эта трагическая дилемма не раз возникала на жизненном и творческом пути французского писателя Луи-Фердинанда Селина (1894–1961).

Селин ворвался в литературу как метеор своим первым романом «Путешествие на край ночи» (1932), этой, по выражению Марселя Элле, «великой поэмой о ничтожестве человека». По силе страсти и яркости стиля, по сатирической мощи писателя сравнивали с Рабле и Сервантесом, Свифтом и Анатолем Франсом. Селин не лгал, рисуя чудовищные картины мировой бойни, ужасы колониализма, духовное одичание и безысходные страдания «маленького человека». Писатель выносил всей современной цивилизации приговор за то, что она уничтожила «музыку жизни» и погрязла в пошлости сердца.

Спор о Селине продолжается до сего дня. Кто же он — дерзкий революционер духа, защитник «униженных и оскорбленных» или проклятый поэт, мизантроп-человеконенавистник, который ликующе пророчил наступление нового Апокалипсиса?

«Путешествие на край ночи» в 1934 году вышло на русском языке в переводе Эльзы Триоле. В августе 1936 года Селин приехал в СССР. Все, увиденное в тогдашней советской ночи, до глубины души потрясло писателя. О своей ненависти к коммунизму, который «покончил с человеком», Селин сказал в яростном памфлете «Mea Culpa» («Моя вина»). После этого творчество Селина перестало существовать для русского читателя.

«Отверженность» Селина в нашей стране усугубилась еще и тем, что в годы второй мировой войны он запятнал свое имя сотрудничеством с нацистскими оккупантами Франции. Селин едва не заплатил жизнью за свои коллаборационистское прошлое. До середины 1951 года он находился в изгнании в Дании, где отсидел полтора года в тюрьме.

В нашем жестоком и кровавом столетии Луи-Фердинанд Селин среди художников не одинок в своих трагических политических заблуждениях: здесь стоит вспомнить о Кнуде Гамсуне, Эзре Паунде, Готфриде Бенне. Но политика преходяща, а искусство слова вечно. И через шесть десятилетий к нам снова приходит роман «Путешествие на край ночи». В мировой литературе трудно найти другую книгу, которая с большим правом могла бы открыть новую серию «Отверженные шедевры XX века».

---

- [Марсель Эме](#)
  - [Анри Мондор, член Французской академии](#)
  - [Предисловие Селина к изданию 1932 г](#)
  - [ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ НОЧИ](#)
  - [Лев Токарев](#)
  - [Основные вехи жизни и творчества Луи-Фердинанда Селина](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
    - [11](#)
    - [12](#)
    - [13](#)
-

**Марсель Эме**

## **Легенда и правда о Селине**

Вокруг личности Селина создавалась вредная легенда, в которой частично повинен он сам, ибо не предпринимал ничего, чтобы ее разрушить, и ему даже нравилось поддерживать ее.

Это легенда о человеке грубом, злобном, безжалостном в проявлении своей ненависти и в своей неприязни к людям; это также легенда о склонном к анархизму разрушителе и пессимисте, упивающемся отчаянием. Хотя видимости тогда ее подтверждали, подобная легенда совершенно далека от правды. Селин, разумеется, не был человеком покладистым или тем, кто легко забывал о причиненном ему вреде. Прощение зла, прощение обид не имели для него никакого смысла. Он мог в течении жизни достигать того, что не обращал на них внимания, но он о них не забывал. В его глазах прощение было если и не негативным, то по крайней мере не имеющим значения поступком, который не мешал злу существовать, а врагу — оставаться опасным. На людей и события он реагировал мужественно, свободно, ничего не принося в жертву прописям морали, считая, что одна из первых обязанностей человека заключается в умении постоять за себя. С его точки зрения, это был долг, от которого не только зависела гордость личности, но и ее физическое и нравственное спасение, ибо, спрашивается, каким образом человек, не обладающий здоровыми защитными рефлексамии против своих врагов, сумеет защититься от общества и прежде всего от самого себя? Вот почему в своей жизни, как и в своем творчестве, Селин чаще всего разоблачал эту «самость» как наиболее грозного недруга человека. Что касается его суждений, его литературных, политических и прочих взглядов (по правде говоря, политика, в которой он видел некую изменчивую, низменно органическую материю, некое подчинение общества его же собственным отбросам, интересовала его весьма мало), то и здесь он тоже обнаруживал большую бойцовскую силу и не принадлежал к тем людям, что делят грушу на две половинки, чтобы доставить удовольствие собеседнику, пусть даже тот и его друг. Этот сильный нравственный характер способствовал развитию у него великодушия в чувствах, которое истолкователи совсем не выявили в его творчестве, хотя оно обнаруживает себя на протяжении всей его жизни. Он любил дружбу и всегда проявлял редкую верность в своих

привязанностях. За то время, что он занимался врачебной практикой, которая оказала столь большое воздействие на его литературное творчество, он до конца своей жизни воплощал замечательную преданность профессии и бескорыстие. В последние годы он действительно открыл в своем доме в Медоне врачебный кабинет, хотя не ради выгоды, а больше ради того, чтобы снова завязать с медициной контакт, который не был бы чисто книжным. К нему приходили бедные пациенты, с которых он никогда не решался брать плату и которым сам покупал лекарства. Нет, Селин не был жестокосердным человеком, совсем наоборот. И той великой нежности, которую он совершенно естественно питал к детям и животным, достаточно, чтобы подтвердить это. Селина неистово упрекали за его антисемитизм, а это очень несправедливо. Воспитываемый родителями-антисемитами, противниками Дрейфуса, вечно недовольными мелкими коммерсантами, для кого евреи были не столько воплощением зла, а скорее опасными конкурентами, угрожающими отнять у них заработок, Селин вырос в атмосфере злобы против евреев. В порядке вещей, что он пропитался этой злобой и тоже стал антисемитом. Я не понимаю, почему ему вменяют это в преступление. Если родители-евреи воспитывают своих детей в духе ограниченного расизма, то они ведь тоже создают взрослых расистов. Каждый человек обусловлен своим воспитанием, средой, где протекло его детство (а также и другими факторами), и мы почти так же не выбираем свои убеждения, как не выбираем мы свой пол. Хорошо, возразят нам, Селин был антисемитом, но зачем ему надо было кричать об этом во всеуслышание? Пусть так, но, следуя этой логике, пришлось бы также задать себе вопрос, зачем ему надо было писать. Я боюсь, что его биографы и комментаторы, по крайней мере в ближайшее время, будут представлять себе Селина и судить о нем по автопортрету, который он пожелал сделать в своих интервью и разговорах с писателями в те пять или шесть лет, что предшествовали его смерти, но этот автопортрет на него ничуть не похож. По причине постоянной враждебности и клеветы, которые он испытывал со стороны трусливой и продажной прессы, Селин совсем не уважал французских журналистов. Он развлекался тем, что заставлял их блуждать по лабиринту своих крайних и противоречивых мнений, позволяя им разглядеть лишь искаженное и ничтожное отражение самого себя. Зная, что во Франции своего времени он единственный великий писатель, Селин с наслаждением взирал, как газеты третируют его либо с комичной снисходительностью, либо с высокомерным презрением.

Да, Селину нравилось это шокирующее, хотя и не столь горькое

противостояние, в котором он уже различал свой посмертный реванш и почти постоянно старался это противостояние подогреть. Я думаю, Селин был бы наверху блаженства, если бы смог из глубины своей могилы стать свидетелем той восторженной шумихи, которую французская пресса подняла вокруг имени Хемингуэя, умершего в один день с Селином, — той великой возни редакций вокруг достойного уважения, но не гениального американского писателя (может быть, Хемингуэй более велик как охотник, чем как писатель), если бы Селин мог в то же время и в той же французской прессе прочесть угрюмое сообщение о своей смерти.

Настоящий Селин был тот Селин, кого я знал до войны (разумеется, я говорю о человеке, а не о писателе, который всегда был верен себе).

Бывший кирасир Детуш дышал тогда здоровьем и радостью жизни. Мало сказать, что он и физически, и нравственно, был стихийной силой, ибо это была организованная сила, сила человека, владеющего собой и живущего в строгой дисциплине, которую он сам навязал себе. Именно это, без сомнения, позволило ему достичь значительных результатов в работе, к которой вынуждала его двойная жизнь врача и писателя. Природа создала из него борца, наделив волей и самообладанием, и его творчество — это творчество борца. Много говорили и писали о том, что Селин пессимист, что у него крайне мрачный взгляд на жизнь, граничащий с ненавистью. Трудно более заблуждаться. В действительности Селин ненавидел не жизнь и не жизнь выводила его из себя, а, наоборот, все то, что стремилось ее унижить, обезобразить, опошлить. Ремесло врача, общение с больными и бесконечная череда убогих в пригородном диспансере обострили и укрепили в нем чувство греха, но греха не против Бога, а против человека. Я видел, как самые яростные приступы его гнева обрушивались против всего, что, как он считал, унижает человека, заставляет его изменять самому себе.

Именно так обстоит дело в его романах. Селин разоблачает заговор нашей меркантильной цивилизации против жизни с раздражением, с исступлением, чтобы заставить современников услышать себя. Он неустанно показывает нам и принуждает нас касаться язв человечества — войну, проявления эгоизма, несправедливости, крайности, нехватки, социальное и светское лицемерие, тщеславие денег, а за этими различными личинами и определениями — придавивший жизнь материализм нашей эпохи. Мы никогда не перестанем повторять: перед лицом всемирного бреда о насыщении пищей и машинами Селин вступает как поборник духовной жизни, искусств, поэзии, красоты, бескорыстия. Честно говоря, материализм существовал во все времена, и Селин прекрасно знает, что не

будет ему конца, ибо он порождается нашей земной природой (это первородный грех, который не искупить крестильной водой), но он ждет от своих ближних, что они уделят духу хоть немного той преданности, с какой они относятся к своим кишкам и прочим потрохам. Но иногда — это правда — он теряет надежду на это.

Вторжение Селина в литературу было событием мирового значения и не будет преувеличением сказать, что в конце концов его творчество проникло во все страны и в самых разных сферах общества вызвало заметные изменения в строе человеческих чувств. Может быть, во Франции Селин даже стер для читателя границы между миром внешним и миром внутренним, которые у нас поддерживались традициями классицизма. В кипении селиновского языка выражение так хорошо соответствует замыслу и чувствам автора, что мы словно оказываемся заброшенными в его вселенную какой-то мощной, неодолимой силой. Что же касается стиля Селина, то литературный мир с отвращением или с восхищением относился к его арготическому языку, который он выработал, языку такому точному и такому красочному. Они усматривали в этом обращении к арготайну мощи и напряженности селиновской изобразительности. Другие предсказывали, что его сочинения вряд ли переживут их создателя и станут нечитабельными, как только его арготический словарь устареет, что неминуемо скоро произойдет, так как аргот — подвижная, почти эфемерная речь. Но в книгах Селина доля арготических слов не достигает одного процента, и вышедшая из монастыря девица сможет читать их столь же легко, как и свой молитвенник. В «Путешествии на край ночи», например, есть очень много страниц и даже целых глав, чей синтаксис и словарь безупречно правильны. Поэтому это тоже легенда, будто прозу Селина захлестывают потоки аргот, но легенда эта заставила отвернуться от него очень многих читателей. Это просто скандал, что мы способны превращать в пугало столь прекрасный язык, живой трепет и богатство которого не имеют прецедента в нашей литературе. Но, возразят нам, был же Рабле. Это имя в самом деле сразу приходит на ум, когда думаешь о Селине. У Рабле мы находим словесное изобилие и радость письма, но мы никогда не сталкиваемся у него с тем волнением, которое так часто щемит нам сердце при чтении романа «Путешествие на край ночи».

## **Анри Мондор, член Французской академии**

### **Рок, поэзия, магия**

Селин — псевдоним, который появился лишь в 1932 году.

Луи-Фердинанд Детуш, который прославил этот псевдоним, родился в Курбеуа (департамент Сена) в 1894 году. Почти нищенские детство и отрочество вскормили в Селине горечь и злобу: «Жизнь маленьких людей в Прекрасную эпоху больше походила на кошмар, чем на мечту... Каким жалким был наш пассаж Шуазель в 1896–1912 годах?». <sup>[1]</sup>

Его отец, лицензиат словесности, как пишет Селин, «опустившийся до службы писмоводителем в компании страхования от пожаров „Феникс“, зарабатывал триста франков в месяц, мать-кружевница не могла содержать дом... под колпаком из газа (триста шестьдесят рожков Ауэра) — мы жили в режиме полного недоедания».

В 1914 году двадцатилетний А.-Ф. Детуш очень скоро получил боевую награду, а заодно и такие серьезные ранения — в частности, пролом черепа, — что его уволили из армии, признав на семьдесят пять процентов непригодным к воинской службе. Благодаря тому, что у него оставалось кое-какое свободное время, Детуш под псевдонимом Селин — выбор его, как мы далее увидим, объясняется весьма странно — опубликовал романы «Путешествие на край ночи» и «Смерть в кредит», которые мгновенно вызвали большой шум, приведя в восторг знатоков литературы, повергли в отчаяние одних и в смятение других, сразу же подняв на ноги свору его непримиримых врагов. Событие, что ни говори, было исключительное, расцененное позднее как «самая громкая литературная сенсация периода между двумя мировыми войнами» <sup>[2]</sup>

Книги Л.-Ф. Селина, появившиеся вслед за этими произведениями, почти все были грубыми памфлетами; мы их не переиздаем. Но два его романа, — этот дерзкий автобиографический итог всматривания в жизнь — являются собой истинное творчество, которое тут же стали прославлять или отвергать, но творчество могучее и живописное. «Свора быстро настигла зверя, и все поехало!» Автор, по-прежнему охотно пророчествующий, недавно прибавил: «Предлогом для травли стал антисемитизм?.. а преследования начались не из-за него, а из-за „Путешествия...“ и не видать мне покоя, пока китайцы не нагрянут в Брест... до года этак 1965».

Была ли столь внезапная жажда писать литературным призванием? На



этот вопрос Селин, объясняя все, отвечал весьма категоричным отрицанием: «У меня не было, никогда не возникало мысли о литературном призвании, но я... еще ребенком... страстно жаждал стать врачом... быть писателем мне казалось глупостью и пошлостью... я писатель вопреки самому себе, если можно так сказать! Писатель благодаря медицине!»

Он никогда не учился в лицее: «моя последняя школа — коммунальная школа в Аржантейе, где мне выдали свидетельство о начальном образовании». Почему же он не посещал лицей? Должно быть, по тем же причинам, что Рембо и Клодель, — из-за неприятия школьного товарищества, отказа повиноваться дисциплине, бунтарства или денежных затруднений. «Черт возьми, разве мог я претендовать на лицей?! Ведь мои родители так спешили, чтобы я сам стал зарабатывать на жизнь! Мой отец ненавидел серьезную учебу, которая заставила его подыхать от голода и горя». Сын озлобившегося на жизнь отца самостоятельно, по учебникам, одновременно зарабатывая себе на пропитание, готовился к экзаменам на бакалавра. Каким образом? Сопровождая свою мать, когда она разносила кружева по дальним пригородам, и «делая покупки для двадцати хозяев». Последние неизменно выгоняли его, поскольку им казалось, что «в промежутках между покупками» он тратит время на чтение книг. В течение последних месяцев подготовки к сдаче экзаменов на получение звания бакалавра в 1917 году в Бордо этот еще молодой человек, списанный в запас, уже смело читал, получая деньги от тогдашней миссии Рокфеллера, лекции в начальных и средних школах о падении тел, биметаллизме, итальянском Ренессансе и исследованиях по туберкулезу.

Он стал бакалавром в двадцать три года! Не был ли это сигнал «остепениться»? Сначала могло показаться, что Луи-Фердинанд Детуш очень к этому стремился, усердно занимаясь медициной, а также сделав неожиданный конформистский ход, которого удавалось избегать не таким бунтарям, как он; я хочу сказать, он женился по расчету. Он действительно женился на девице Ф., дочери директора медицинской школы в провинции. Стремясь поскорее добиться успеха, он в 1924 году защищает в Париже диссертацию, изучив для этого в своем первом сочинении жизненный путь и жалкую судьбу венгерского гинеколога Земмельвайса, о чьих редких заслугах и несправедливом забвении рассказывал ему профессор в городе Ренн В то время, как Земмельвайс в своей стране понял и раскрыл главную причину уносящей множество жизней родовой горячки, другой гениальный человек, его соотечественник Вирхов, присоединился к самым злобным из упрямец, чтобы изгнать и опорочить предшественника, довести в конце концов до безумия и заключения в психиатрическую лечебницу этого

поистине гениального человека.

Одним из первых признаков у Селина столь глубокого, но потаенного сострадания, которое станет его главным вдохновителем, явилась эта юношеская похвала проклятому ученому. Скромный соискатель на звание доктора медицины позволил себе дерзко осудить невежд XIX века и с уважением, тщательно воссоздал посмертную жизнь непризнанного гения. Не проглядывает ли уже призвание моралиста и памфлетиста в этой диссертации — первом выпаде писателя, еще Селином не ставшего?

Когда он слушал в Париже лекции по акушерству и гинекологии профессора Брендо, которого он характеризовал как «строного, нелюбезного человека, но страстного меломана», а я знал как человека скромного, красноречивого, весьма общительного, Брендо однажды сказал Селину. «У вас есть все для того, чтобы писать романы». Что выражали эти слова прекрасного клинициста — диагноз или прогноз?

Эти слова не оказались решающими, не заставили Детуша броситься в литературу, к которой он по-прежнему не проявлял никакого влечения.

Замечание парижского гинеколога отнюдь не направило и не подхлестнуло ученика, которому оно показалось всего лишь странной, случайной колкой шуткой, «может быть, причудой». Не открыл ли Брендо в нем гения вымысла? Свежеиспеченный доктор едва успел обзавестись очень небогатой клиентурой в Клиши. Это не терпело отлагательств, ибо он уже рассорился с женой и ее семьей и «едва сводил концы с концами». Он ревностно совершенствовал свое искусство врача в разных местах: в муниципальном диспансере парижского пригорода, затем на пароходе, далее в дебрях Африки, наконец, в Соединенных Штатах, будучи добродетельным миссионером Лиги Наций, а чуть позднее состоя на жаловании Компании Форда, то есть суперкапиталиста.

Человек, который начал работать врачом благодаря женитьбе на дочери патрона, не пошел, в отличие от других, более осмотрительных, по пути зарабатывания денег или благоразумного делания карьеры. Совсем иное чувство сделало доктора Детуша врачом бедняков. Доктор Детуш всегда был бескорыстен и обладал столь щепетильной совестью, что драма романа «Смерть в кредит», наверное, представляет собой изображенную с полным знанием дела драму страха лечащего врача, который вечно не уверен, что он знает достаточно и сделал все возможное для излечения больного.

Почти в самом начале 1930 года в уме нуждающегося врача из пригорода — материальные затруднения и профессиональный страх по-

прежнему не отпускали его — возникает замысел совсем новой деятельности; по поводу этой деятельности я получил от него среди всех признаний, которые имеют честь в моем тексте быть выделены кавычками, и следующее, весьма важное: «В то время была мода на популистов, в том числе и на Даби, которого я немного знал... и я тоже решил попробовать! В 1932 году я взял, чтобы меня никто не засек, одно из имен моей матери, Селина<sup>[3]</sup>...

„Путешествие...“, клянусь в этом, было написано со страхом и стыдом, без всякого литературного призвания... Деноэль взял его... я рассчитывал, что по выходе книги никто не узнает меня под женским псевдонимом... что я смогу расплатиться за квартиру, и все тут! И кто знает? Купить себе комнатенку!»

Во время обсуждения кандидатур на Гонкуровскую премию тремя защитниками «Путешествия на край ночи» выступили Жан Ажальбер, Люсьен Декав, а главное — Леон Додэ. Мы уже были обязаны последнему его такими современными, такими действенными выступлениями в поддержку Марселя Пруста и Бернаноса, что борьба Додэ за Селина, как нам казалось, возвещает сразу и литературное открытие, и великодушное влияние. Селин не только не был расположен расточать улыбки, отвечать поклоны, говорить пошлости, подобно другим помогающим премии кандидатам, он презирал собственно литературный успех. Усилились приступы отчаяния, которые охватывали Селина все чаще, и его неистовые заклинания: «Заниматься медициной стало невозможно. Писаниной тоже!»

Однако в своем первом, но мастерском произведении Селин раскрылся как очень сильный рассказчик, истинный визионер, а в своих удивительных лирических словоизвержениях — как стилист!

Тот и апокалипсический, и шутовской взгляд, который, кажется, он бросает на жизнь и людей, нисколько не мешает ему рисовать их с такой силой и четкостью, словно бы он являлся объективным, невозмутимым созерцателем. Что же касается его преувеличений сатирика, размахивающего не просто хлыстом, а неким кнутом со свинцом на конце и хлещущим до крови, то разве можно обвинять его в крайностях, злиться на их безупречную меткость или справедливость, в то время как мы уже давно больше не упрекаем Марцинала, Ювенала, Аретино или Виктора Гюго за их непристойные преувеличения? Мы не поняли, что его герой Бардаму мог бы сказать о своем врачебном кабинете то же, что Барбе д'Оревильи писал о своей вере: «Это весьма удобный балкон, чтобы плевать с него на своих современников». Что же до определенной традиции, дарующей

божественной резкости гения права на грубости и непристойности, то Селин явно даже и не вспоминал о ней.

Селину часто случалось в жутких монологах представлять себе, что «уже много лет его тысячами всевозможных способов обливают грязью, оскорбляют, преследуют, травят, давят...»

Естественно, мы можем сильно удивляться тому, что он с презрением вглядывается в жизнь, без стыда затевает ссоры, очень гордится своими предсказаниями, освещает бумажными фонариками болота, пытается еще больше унижить поверженных, а иногда мелочно придирается к достойнейшим. Но он с не меньшей силой упрекал как слабость и неомощность, так и слепоту и страх. Хотя от его веселых приговоров, хриплых насмешек, язвительных умозаключений цепенеет душа, он изредка утрировал негодование, подробно распространяясь о поражениях, выкрикивая то проклятия, то грозя карами и казнями. Тяжелый, безжалостный, Селин, похоже, слишком часто упивается злом и зовет к самому худшему, перегибает палку в проклятиях и профанациях, подчеркивая мерзости и подлости; но дешевая мишура и пестрые тряпки не смогут найти более мощного разоблачителя, так же как и толпы людские, которые не способны предвидеть события и трусят перед лицом их чрезмерности. Да и к чему требовать от Домье благочестивых картинок, а от Шамфора — слащавых афоризмов?

С почти патологической одержимостью он думал о своем несчастном пробитом черепе, который, как полагал Селин, был виноват в «определенных пробелах в знаниях, провалах памяти, бреднях» и — в этом он не сомневался — давал ему возможность долго вопить о своей озлобленности: «Все, чего другие, более романтичные, вроде Уайльда, Пруста, Рембо, Верлена, искали в педерастии и вымученном алкоголизме, мне поднесла на блюдечке защита Родины! принесла в избытке! и в двадцать лет! без светских манер, без ризницы, без синагоги... просто так! под сухую!» Но почему этот двадцатилетний юноша, о ком так мало заботились его близкие, парень с пробитым черепом и парализованной, висящей, как плеть, рукой, будет, проявляя некий добровольный бескорыстный мазохизм, изображать самого себя кавалером боевых наград, отставником, героем военного парада, вместо того чтобы кричать о своей ярости, обличать, не идя на уступки собственной совести, преступную абсурдность мировой бойни? Потому что по природе он был мало склонен к самоупрощению, самоуничижению, особенно к любви, а больше был подвержен сварливому эгоцентризму, едкой критике других, всех и вся.

Разразилась вторая война, которая сначала, казалось, подтверждала его самые зловещие суждения и предчувствия. Селин мог поверить, что проявление безумия и кровавой жестокости ведет и неизбежно приведет на край ночи. Все считали, что он опьянен этим, обезумел от мести, от черных пророчеств. Но он был наказан за свои проклятия, за свои ошибки почти смертельными испытаниями: как будто именно он должен был претерпеть больше, чем любой другой, чтобы, искупить свой пессимизм, свои садистские советы, а также потрясающий талант своих произведений.

Это было самое тяжелое время его одиночества, его возмездия: я, еще не зная его лично, почувствовал в себе какое-то умиленное сострадание к нему, которое продиктовало врачебное братство. Разве можно было согласиться с тем, чтобы он умер, словно отравленная крыса, на дне общей могилы из-за некоторых крайностей в выражениях, что он позволил себе? Врач обязан был помочь врачу. Я протянул руку осужденному. «Мужеству сердца тоже требуются свои генералы», — написал он мне. 14, запуганный, но решивший выжить, прибавил: «Я держусь! и буду держаться лишь ради того, чтобы когда-нибудь предстать в приличном виде — ни повешенным, ни посаженным на кол, ни обезглавленным, живым, а не призраком!» В его датскую тюрьму, наверное, множество раз доносились крики преследователей, требующих наказать Селина: «Ах ты, жалкий, грязный, лживый варвар, плывущий против течения! Ладно! разрази нас гром, но мы тебя достанем! достанем!» Но у него бывают проблески смирения, раскаяния: «Я должен казаться вам слишком чувствительным, мелочным. Дело в том, что после многих лет больших и малых, нравственных и биологических несчастий чувствуешь, как превращаешься в старую деву... любителя безделушек... придирчивого перебирателя горестей и радостей».

Во время малейшего приступа злобы Селин объясняет ненависть, которой, по его мнению, он окружен, не мстительным гневом или рвением патриотов, а совсем иными мотивами — литературными. Он полагает, что на родине Верцингеторикса и Жанны д'Арк, где решающими доводами являются «костер, удавка, тюремная роба», больше всего терпеть не могут его стиль. Непростительный дар «уметь заставить вертеться столы» (под этим Селин подразумевает то, что он дерзнул успешно отказаться от «иезуитски прилизанного стиля, который держит французское перо», и попытался разбить «эту парикмахерскую, эти слащавости, эту липкую болтовню», кто господствуют в книгах и газетах,) — вот в чем, как он думает, заключаются его непростительные посягательства.

Будучи в глубине души человеком очень серьезным, Селин в своих двух первых книгах предстал в высшей степени комическим автором:

никто не может сопротивляться сочному юмору «Путешествия на край ночи». На протяжении целых глав читателя сотрясает смех, который просто нельзя сдерживать. Читатель уже не обращает внимания на бесстыдство, на словесный переизбыток, на ожесточенные крайности! Если Селина завораживало воспоминание о вызывающем поведении анархистов 1895 года, то он доказал, что, согласно знаменитому выражению, лучшей бомбой является только книга. Леон Блуа, Жюль Валлес, Гюисманс, как может показаться, тоже, правда, в различных степенях, твердо придерживались столь же вызывающих раздражение позиций. Селин превзошел их резкостью, лиризмом, гениальностью в юморе. И даже эротизмом — компонентом менее эфемерным, чем великое множество доктрин! Если они изображали не столько любовь и сладострастие, сколько одержимость и грех, то Селин разделяет мораль аскетов благодаря смелости в разоблачении пороков, числу выведенных им мерзких рож и упырей. Он связан с галантными авторами XVIII века, будь то Дидро или собрат Селина доктор Ламетри, меньше, нежели с самыми вольными писателями XVI века. Именно в ту эпоху интеллектуальная свобода, энциклопедическая любознательность, буйство языка, дьявольская сила смеха привели к тому, что, вероятно, родина относилась бы к нему с меньшим раздражением, чем относится сегодня или относилась вчера.

Историки литературы, хотя и без неизбежных, неравноценных, иногда осторожных оговорок, уже определили его место в литературе... «Мощная личность, выламывающаяся из рамок... гений издевательского зубоскальства... мизантроп из жалости, из обманутой любви, у которого бывают проблески утонченной нежности» (Анри Клуар); «значительная веха в литературе... Селин великолепен в своих страстях, в своей грубости, в своей изобретательности... „Путешествие...“ благодаря своему черному сиянию, дикому крику возвышается над современным отчаянием» (Гаэтан Пикон); «неистовый пророк, великий провозвестник черной литературы» (Пьер де Буадефр) и т. д. И они назвали нескольких писателей, на которых Селин, похоже, оказал сильное влияние, — Сартр, Кено, Марсель Эме, Жак Перре, — а среди самых утонченных авторов упоминают тех, кто открыто признает его своим учителем (Роже Нимье, Антуан Блонден).

Но отчаяние не оставляет Селина и диктует ему следующие слова: «В общем, я считаю себя неудавшимся клиницистом, неудавшимся поэтом, неудавшимся музыкантом... это не так уж плохо».

Когда я спросил, кто восхищает его в литературе, Селин весьма неохотно ответил: «Мы можем оценивать лишь из дальнего далека... Меня

интересует только стиль, на всякие истории мне плевать. Я уверен только в Лафонтене, Малерб, Вольтере — авторе мелких стихотворений. Романисты стали скучными. Ведь вы не станете узнавать о жизни сельского священника из Бальзака, а об адюльтере — из Флобера? Информация и шарлатанство лишают нас всякого любопытства... Стилисты остаются — это Малларме, Рембо, Бодлер, — но они слишком близки к нам... Китайцы разберутся во всем!» Когда я также спросил о Рабле и о том, не послужил ли он образцом для него, Селин нисколько не затруднился с ответом: «Рабле спорил со священниками... от него пахло ересью... по-моему, можно читать лишь страницы, написанные Рабле разговорным языком. Например, „Бурю“. Кроме этого, он предается рассуждениям точно так же, как юре, министр или лауреат Гонкуровской премии».

На вопрос, почему у него так рано появилось и так упорно держится сострадание к людям, Селин отвечать отказывается: «Бог ты мой, я не знаю. Мы здесь впадаем в психологию! от этого вопроса несет Сорбонной! и клиникой Сальпетриер! я тут теряюсь! ведь у них там специалисты?»

Творчество и личность мастера разговорного языка Селина — который столь же скромничал в оценке своих достоинств, сколь бравировал отдельными своими недостатками, — могут быть названы яблоком раздора, поскольку одно нельзя отделить от другого, и автор сильно постарался затруднить усилия тех, кто желал бы признавать творчество, отвергая его создателя, и наоборот.

Бардамю, вероятно, его бессмертный герой, которого можно отождествить с Селином, тоже был врачом. Поэтому от древнего изречения «Врачу, исцелися сам» рассерженные им критики легко сделали шаг в обвинениях: мол, оба практикующих врача явно прикладывают больше сил к тому, чтобы усиливать недуги и страдания несчастного человечества, нежели предотвращать и излечивать их. Но нет сомнения, что за язвительностью и нахальством Селина прячется, конечно, более истинная жалость, чем жалость многих других рассказчиков о войне, которых легко уличить во лжи, несмотря на их дрожь в голосе и слащавость. В противоположность им Селин, подобно отшельникам и пророкам, призывавшим обрушить огонь небесный на мир, который они очень желали бы спасти, кажется, повинуете лишь безысходному отчаянию.

Наряду с лиризмом изысканным и даже благородным существует также лиризм грубый, даже низкий, который превозносит человеческие слабости, уродства и утрирует все в большей мере, чем природа, особенно природа болезненная и вредоносная. Творчество Селина через край

захлестывает лиризм второго рода. На этот счет не заблуждался никто почти тридцать лет тому назад, когда его первая книга прозвучала, словно удар грома, в литературной атмосфере, довольно спокойной, несмотря даже на ее натуралистические и популистские проявления. Эта книга поразила или смутила большие умы, совершенно противоположные Селину. Если Анри де Ренье осудил роман, то мэтр чистой поэзии Поль Валери не скрывал, что «Путешествие на край ночи», отодвигая границы, навязанные искусству письма, возвещает своего рода литературную революцию. Бесчисленные комментаторы рассуждали о необычном произведении и о его неведомом авторе. Мы читали похвалы роману и его изничтожения; одни критики не сомневались в гениальности автора, другие доходили до того, что обвиняли его в сумасшествии. Большинство из них, соглашаясь в том, что книга переполнена крайними непристойностями, открывали ее действительную ценность. Они подчеркивали в языке долю просторечия, в манере письма слишком большой упор на устную речь, а в селиновской прозе широкого и богатого развития, прозе одновременно разговорной, исполненной словесных жестов, крепко приправленной непристойностями, в которой кишмя кишит произвольное словотворчество, отмечали либо чистое творчество, либо невольный или намеренный парафраз. Но разве величайшие карикатуристы, обличая действительность, не искажают ее? И разве необыкновенная острота зрения автора наряду с богатством его наблюдений и уморительным юмором не роднит Селина с острым искусством карикатуры?

Селин лучше, чем кто-либо другой, заклеил глупость войны, а свои острые когти вонзил в современный мир.

За исключением нескольких ошибок и жестокостей, которые он позволил себе совершить, Селин обнаружил талант прозаика такой грубой силы, проявил дар художника, сразу и столь наблюдательного, и колоритного, сперва столь вдохновенного, но зачастую и такого правдивого, что его персонажи позднее составят некое подобие мифологической вселенной. Чем больше человечество будет излениваться от своих преступлений и низостей, тем больше будут признавать заслугу Селина — бичевателя людских пороков. Потеряет значение его экстравагантность и то, что он иногда выдумывал себя так же, как разыгрывал скандалиста! Селин сам в определенной мере есть создание литературы: у него бывает так, что искусственность, заранее продуманные кокетливые условности примешиваются к некоему аргю, к чрезмерным неологизмам, к хлещущему через край бессознательному; но его вдохновение величественно, и если человек, более других одинокий и подозреваемый в безумии, испытывал



слабости и сбивался с пути, то художник никогда не терял контроль над собой. Литературный успех Селина не помешает принимать всерьез этот его подвиг: не только потому, что Селин щедро рассказал о некотором кризисе нравов и упадке духовной дисциплины в современном обществе, но и потому, что он, даже если признать его случайным эпизодом, представляет собой исторический факт, который беспристрастность обязана констатировать, прежде чем судить о нем.

В заключение я позволю себе воспроизвести несколько строк, написанных мною в свое время: «После многих лет раздумья, когда зарубцевались острые раны, Селин создал два необыкновенных шедевра — „Путешествие на край ночи“ и „Смерть в кредит“. Его непогрешимая память, его гениальная наблюдательность, его мощные, как водопад, словесные запасы, его мужество в поисках истины, его заразная комическая дерзость в рассказе о глупости и жестокости людей, об окружающих нас абсурдности, непристойности, лицемерии вызвали восхищение и создали литературную школу.

Селин не стал только однодневкой или грозой в истории литературы, чьи владения и средства он расширил. Это произошло потому, что за его пророческими угрозами и чудовищными выводами угадывается бесконечная жалость и, подобно левкоям на могильном холмике, вызывает восторг лиризм красок и интонаций.

Когда пришла вторая война, могло показаться, что пролом в черепе, полученный на первой, резко разойдется или боль снова обострится... Но великий увечный дорого оплатил крайность и бред своего неистового гнева. После страшного испытания изгнанием что осталось от последних его сил? Талант недавних книг, в которых мощь и виртуозность стиля уже не раскрываются с прежней легкостью или намеренно смягчены.

Под знаком высшей изначальной триады — рок, поэзия, магия — Селин, забившийся в свой угол, у дверей которого его подстерегает ненависть, теперь предстает перед нами как прежде всего проклятый писатель. Но разве в одной газете, которую нельзя заподозрить в том, что она любит или прощает Селина, недавно не было написано: „Говорить о современном романе, не называя Селина, все равно что рассказывать о романтизме, не упоминая Виктора Гюго“?»

*Декабрь. 1959 г.*

## **Предисловие Селина к изданию 1932 г**

Путешествовать очень полезно; это заставляет воображение трудиться. Все прочее — лишь разочарование и усталость. Вот и наше с вами путешествие — полностью воображаемое. И в этом его сила.

Это путь от жизни к смерти. Люди, животные, города и вещи, — все здесь плод воображения. Это роман, а роман есть не что иное, как вымышленная история. Так его определяет Литтре, который никогда не ошибается.

И потом, важнее всего то, что путешествие это может проделать каждый. Стоит лишь закрыть глаза.

Оно — по ту сторону жизни.

# ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ НОЧИ

## Перевод Эльзы Триоле

*Элизабет Крэг*

*Всю жизнь нам суждено брести  
Сквозь холод, в мгле промозглой,  
На небе ищем мы пути,  
Но там не светят звезды.*

*Песня швейцарских гвардейцев,  
1793 г.*

Началось это так. Я никогда ничего не говорил. Ничего. Это Артур Ганат меня за язык тянул. Артур тоже студент и товарищ. Встретились мы, значит, на площади Клиши. Было это после завтрака. Ему надо было со мной поговорить. Слушаю.

Не стоит на улице! — говорит он мне. — Пойдем сядем на террасе.  
Вошли мы.

— Ну, здесь, — говорит он, — только яйца всмятку варить. Пойдем отсюда в кафе.

Тут мы замечаем, что из-за жары на улицах пусто, ни извозчиков, никого. Когда очень холодно, то на улицах тоже никого нет; помню, Артур сказал мне по этому поводу:

— У людей в Париже всегда такой вид, будто они заняты, а на самом деле они просто гуляют с утра до ночи. А когда для гулянья погода неподходящая — либо слишком жарко, либо слишком холодно, — то их больше не видно: они все сидят по кафе и попивают кофе и пиво. Это не подлежит сомнению! Говорят: век скорости! Где же это? Рассказывают: большие перемены! Какие? В сущности, ничего не изменилось. Все продолжают заниматься самолюбованием, и все... И это тоже не ново. Одни слова! Но даже слова, и те не очень изменились. Так, кое-где, два-три маленьких...

Изрекши несколько таких звонких, полезных истин, мы продолжали самодовольно сидеть и глазеть на женщин в кафе.

Потом разговор перешел на президента Пуанкаре, который как раз в то

утро собирался почтить своим присутствием выставку собачек; потом, слово за слово, заговорили о газете «Тан», где об этом было написано.

— «Тан» — классная газета! — начинает меня дразнить Артур Ганат. — Чтобы защищать французскую расу, другой такой не сыщешь!

— А поскольку французской расы не существует, она в этом сильно нуждается! — ответил я, чтобы показать свою образованность и срезать его.

— А вот и существует! И как еще! И какая красавица раса! Всем расам раса! И сволочь тот, кто от нее отрекается! — И пошел меня крыть.

Ну, конечно, я не уступал.

— Врешь ты все. То, что ты называешь расой, — это просто большая куча изъеденных молью, гнойноглазых, вшивых, продрогших субъектов вроде меня. Они бежали со всех концов света, за ними по пятам — голод, холод, чума, гнойники — и докатились сюда. Дальше им бежать было некуда: в море уперлись! Вот что такое Франция и французы.

— Бардамю, отцы наши были не хуже нас, — как-то серьезно и немного печально возразил он, — не говори о них плохо!..

— Ты прав, Артур, здесь ты прав! Их насиловали, обкрадывали, выпускали им кишки, а они, неизменно злобные и послушные, конечно, были не хуже нас. Не спорю. Мы не меняем ни носков, ни хозяев, ни убеждений, разве совсем напоследок, когда и не стоит больше их менять. Преданными мы родились, преданными и сдохнем. Для всех мы пушечное мясо, герои, говорящие обезьяны — вот они, слова, от которых больно. Мы любимчики Короля Нищеты! Он над нами голова. Когда мы начинаем шалить, он нас приструнивает... Его пальцы всегда на нашем горле, они мешают нам говорить, а для того, чтобы глотать, приходится изворачиваться вовсю... Чуть что, он душит... Разве это жизнь?

— Ну а любовь, Бардамю!

— Артур, любовь — это вечность, доступная пуделям, а у меня чувство собственного достоинства.

— У тебя? Анархист ты после этого, и больше никто!

— Правильно, анархист! И наилучшее тому доказательство — молитва собственного сочинения и социального содержания, молитва о мести, которую я тебе прочту. Суди сам. Называется она: «Золотые крылья». — И я декламирую: — «Бог, который считает минуты и деньги, Бог отчаянный, чувственный и хрюкающий, как свинья. Свинья с золотыми крыльями, которая падает куда попало, животом кверху, готовая ко всякой ласке. Вот он, наш господин. Облобызаем же друг друга!»

— Вся эта твоя декламация не имеет ничего общего с жизнью, я стою

за существующий строй и не люблю политики. И в тот день, когда родине понадобится моя жизнь, я отдам ее ей, до последней капли крови. — Так отвечал он мне.

Война как раз приближалась к нам обоим потихоньку. У меня кружилась голова; этот короткий, но горячий спор утомил меня. И потом я был немножко взволнован тем, что официант обозвал меня жадюгой за то, что я ему мало дал на чай. Наконец мы совсем помирились с Артуром. Почти по всем пунктам мы думали одинаково.

— В общем, ты прав, — согласился я умиротворяюще, — в конце концов мы все плывем в одной галере, гребем мы все вместе — с этим ты ведь спорить не будешь. И что же мы получаем взамен? Ничего! Удары хлыстом, неприятности, рассказы и еще всяческие гадости. Они говорят: «Надо работать!» Ну а работа их еще отвратительней, чем все остальное. Сидим в трюме, вонючие, потные, отдуваемся — и это все. А наверху, на палубе, на свежем воздухе, беспечные бары гуляют с красивыми, розовыми, надушенными женщинами. Нас вызывают на палубу. Они надевают цилиндры и начинают нам пышно наворачивать: «Сволочье! Война объявлена. Мы доберемся до негодяев родины № 2 и изничтожим их. Вперед! Вперед! На пароходе есть все необходимое. Ну-ка, хором! Ну-ка, гаркните для начала так, чтобы все дрожало: Да здравствует родина № 1. Чтобы вас было слышно всюду! Тот, кто будет кричать громче всех, получит медаль и Христов гостинец! Черт побери!.. И, кстати, те, которым не нравится подышать на море, пустьдохнут на суше: там это еще проще, чем здесь».

— Совершенно верно! — одобрил Артур, которого вдруг стало ужасно легко убедить.

Но должно же было случиться, что как раз перед кафе, в котором мы сидели, прошел полк с полковником на лошади впереди, и даже очень симпатичным, такой лихой парень, полковник этот самый! Меня так и подбросило от восторга.

— Хочу посмотреть, похоже ли это на правду! — кричу я Артуру и бегу бегом записываться добровольцем.

— Ну и кретин же ты, Фердинанд! — кричит он мне в ответ, должно быть, обиженный впечатлением, которое мой героизм произвел на публику вокруг нас.

Меня немножко обидело такое отношение с его стороны, но остановить не могло.

— Это мы еще увидим, недотепа! — успел я даже крикнуть ему, перед тем как завернуть за угол вслед за полком, полковником и музыкой. Вот

совершенно точное описание того, как именно это случилось.

Шли мы тогда долго. Только кончится одна улица — другая начинается, а на улицах штатские и их жены, которые приветствуют нас и бросают нам цветы, а на террасах перед вокзалами публика и церкви переполненные. Сколько этих патриотов было! Потом патриотов стало меньше... Потом пошел дождь, и их становилось все меньше и меньше, потом приветствия кончились. Ни единого на всем пути!

Что же, остались, значит, только свои. Музыка перестала играть. «В результате, — сказал я себе тогда, когда увидел, какой оборот принимает дело, — это совсем не смешно! Надо бы все начать сначала». Я собирался ретироваться. Поздно! Штатские потихоньку захлопнули за нами дверь. Попались мы, как крысы в мышеловку.

Если попадешься, то всерьез и надолго. Они заставили нас сесть на лошадей, а через два месяца велели спешиться. Может быть, им показалось, что лошади — это дороговато. Словом, как-то утром полковнику пришлось искать своего рысака: денщик его пропал вместе с ним. Куда он девался, неизвестно: видимо, куда пули попадают реже, чем на дорогу. Так как именно посреди дороги мы в конце концов и остановились, полковник и я, прямо посередине. При мне находился журнал, в который он записывал приказы.

Вдалеке на дороге, совсем вдалеке, виднелись две черные точки, посередине, как и мы. Но то были немцы, уже целых четверть часа очень занятые стрельбой.

Полковник наш, может быть, и знал, почему эти двое стреляют, опять-таки и немцы, может быть, знали почему, но я, по совести скажу, не знал. Сколько я ни старался вспомнить, я ничего худого этим немцам не сделал. Я всегда был с ними очень вежлив, очень любезен. Немцев я немножко знал, я даже учился у них в школе, когда был маленьким, где-то под Ганновером. Я говорил на их языке. Тогда это была куча маленьких крикливых кретинов с бледными глазами, как у волков; мы вместе ходили баловаться с девчонками после школы в ближайший лесок, где также стреляли из пистолета, который, как сейчас помню, стоил четыре марки. Пили сладкое пиво. Но это — одно, а другое дело — стрелять в нас, как теперь: разница огромная, целая пропасть, и так вот, ни о чем предварительно не поговорив, прямо посреди дороги... Слишком велика разница.

В общем — война была непонятна. Так продолжаться не могло. Наверное, с этими людьми случилось что-нибудь особенное, чего я совсем

не ощущал. Может быть, я что-то проглядел.

Как бы то ни было, мои чувства по отношению к ним не изменились. Мне даже как будто хотелось попробовать понять их грубость, но еще больше мне хотелось уйти, ужасно, дозарезу хотелось: до того мне все это вдруг показалось результатом какой-то грандиозной ошибки.

«В этой истории ничего другого не остается, как смыться», — говорил я себе.

Над нашими головами, в двух миллиметрах, может быть, на один миллиметр от виска, гудели одна за другой стальные нити, протянутые пулями сквозь жаркий летний воздух.

Никогда я еще не чувствовал себя таким ненужным, как среди этих пуль и солнечного света. Грандиозная мировая насмешка.

И было мне тогда двадцать лет. Вдали — пустынные фермы, открытые настежь церкви, как будто крестьяне ушли только на день, может быть, на праздник в том конце кантона, и доверчиво оставили нам все свое имущество: землю, телеги с задранными оглоблями, вспаханные поля, сады, дорогу, деревья и даже коров, собаку на цепи, одним словом — все, как есть. Чтобы во время их отсутствия мы себя чувствовали как дома. Это как будто было даже очень мило с их стороны. «Если бы они были здесь! — думал я про себя. — Если бы здесь был еще народ, то люди не стали бы все-таки вести себя так гнусно! Так плохо! Не посмели бы у всех на глазах!» Но никого не было, некому было за ними присмотреть. Остались мы одни, как новобрачные, которые ждут, чтобы все ушли, и начать заниматься гадостями.

И думал я, стоя за деревом, что хорошо бы посмотреть на Деруледа, о котором я столько слышал, и чтоб объяснил он мне, как он себя вел, когда ему в кишки попала пуля.

Немцы, пригнувшись к дороге, упрямо стреляли. Стреляли плохо, но зато пуль у них было сколько угодно. Сомнения не было: война еще не кончилась. Нужно сказать правду, что полковник наш проявлял поразительную храбрость. Он расхаживал по самой середине дороги взад и вперед под снарядами, как будто он поджидает на вокзале приятеля и ему немного скучно.

Скажу сразу, что деревню я терпеть не могу. Грустно там, канавам нет конца, в домах никогда нет людей, и дороги никуда не ведут. Но если к ней еще прибавить войну, то это просто невыносимо. Поднялся резкий ветер; по обе стороны насыпей порывы ветра в листьях тополей сливались с сухим потрескиванием, которое доносилось до нас со стороны немцев. Эти неизвестные солдаты стреляли мимо, но они окружали нас тысячью

смертей, которые опутывали нас, как плащи. Я боялся двинуться.

А полковник? Неужели он — чудовище? Я уверен, что он даже представить себе не мог собственной кончины, он был хуже собаки. И в то же время я понял, что таких, как он, храбрецов должно быть в нашей армии много и, верно, столько же в армии напротив. Кто ж их знает — сколько? Один, два, может быть, несколько миллионов. С тех пор страх мой превратился в панику. С такими людьми эта дьявольская бессмыслица могла продолжаться без конца... По какой причине они остановятся? Никогда еще не приходилось мне чувствовать так остро всю неумолимость приговора людям и вещам.

Неужели же я единственный трус на всем свете? Можно быть девственным по отношению к ужасу, как к наслаждению.

Когда я бежал с площади Клиши, я даже представить себе не мог, что такой ужас существует. Кто мог угадать, не попробовавши войны, всю грязь героической и праздной человеческой души. Теперь меня втянуло это поголовное стремление ко всеобщему убийству, к огню...

Полковник, все так же невозмутимо стоя на откосе, получал записочки от генерала. Он рвал их на мельчайшие кусочки, неспешно прочитав под пулями. Неужели ни в одной из них не было приказа остановить эту мерзость? Неужели полковнику не сообщали, что произошла ошибка, гнусное недоразумение? Что это должны были быть только маневры шутки ради, а не убийства. Однако нет! «Продолжайте, полковник, Вы на правильном пути». Вот что, наверное, ему писал дивизионный генерал дез-Антрей, главный начальник над всеми нами. Каждые пять минут полковник получал от генерала конверт через связиста, который с каждым разом становился все зеленее, все расхлябанней со страху. Я чуял в этом парне братскую душу. Но брататься тоже было некогда.

Значит, это не ошибка? Значит, не запрещено стрелять друг в друга так, даже не видя кто в кого. Это было одной из разрешенных вещей. Это было вещью признанной, которую поддерживали серьезные люди, как они поддерживают лотереи, помолвки, охоту... Ничего не скажешь. Внезапно война открылась передо мной целиком. Я потерял девственность. Нужно оказаться с ней наедине, чтобы хорошенько разглядеть ее, эту суку, в фас и в профиль. Война между нами и теми, что напротив, зажглась и теперь будет гореть. Как ток между двумя углями в дуговой лампе. И уголь не собирался погаснуть. Все там будем, и полковник тоже, и из его туши выйдет такое же жаркое, как из моей, когда ток ударит в него между плечами.

Есть много способов быть приговоренным к смерти. Фи! Чего бы я ни



дал, кретин я этакый, чтобы быть теперь в тюрьме, а не здесь!.. Как легко было предусмотрительно украсть что-нибудь где-нибудь и сесть в тюрьму!.. Ни о чем никогда заранее не думаешь. Из тюрьмы выходишь живым, а из войны не выйти... Все прочее — одни слова.

Если бы было еще время. Но времени больше не было, красть было нечего. Как хорошо в уютной тюрьме, думал я, куда не попадают пули! Не попадают никогда! Я знал одну такую тюрьму — на солнце, в тепле! В мечтах я представлял себе эту тюрьму, в Сен-Жермене, рядом с лесом. Я часто проходил мимо раньше. Как человек меняется! Я был тогда ребенком, боялся ее. Это оттого, что тогда я еще не знал людей. Я никогда больше не смогу верить тому, что они говорят, думают. Надо бояться только людей, только их, всегда.

Сколько же времени будет продолжаться этот бред, когда же они наконец, обессилив, остановятся, эти чудовища? И раз уж дело приняло такой безнадежный оборот, я решил все поставить на карту, сделать последнюю отчаянную попытку, остановить войну собственными средствами. По крайней мере в том углу, в котором я находился.

Полковник ходил взад и вперед в двух шагах от меня. Я решился с ним поговорить. Я никогда этого еще не делал. Настал момент рискнуть. В нашем положении почти нечего было больше терять. «Что вам надо?» — спросит он /так это я себе представлял/, удивленный, конечно, моим дерзким появлением. Тогда я ему объясню, как я все это понимаю. Там видно будет, что он об этом подумает. В жизни главное — это объясниться.

Я уже решился на этот шаг, но в эту минуту я увидел бегущего к нам гимнастическим шагом измученного, расхлябанного «пешего кавалериста» /так их тогда называли/ с перевернутой каской в руках, словно Велизарий, дрожащего и всего в грязи, с лицом еще более зеленым, чем у прочих связистов.

Он бормотал что-то нечленораздельное, и казалось, что ему мучительно, до тошноты хочется вылезти из могилы. Значит, этот призрак тоже не любит пуль?

— В чем дело? — резко остановил его полковник — ему помешали — и бросил на это привидение какой-то стальной взгляд.

Вид этого мерзкого кавалериста в таком некорректном виде, пускающего в штаны от волнения, наполнял нашего полковника гневом. Страх ему был противен. Это было ясно. И главное — эта каска в руке, как котелок, это уж было ни на что не похоже, особенно для ударного полка, стремительно летящего в бой! Похоже было, что этот пеший кавалерист низко кланяется войне, перед тем как вступить в нее.

Под порицающим взглядом полковника дрожащий гонец вытянул руки по швам, как принято в таких случаях. Напрягшись, он покачивался на откосе, пот катился вдоль щек, и челюсти его дрожали так сильно, что он повизгивал, как собачонка во сне. Нельзя было разобрать, собирается ли он заговорить или плачет.

Немцы наши, скорчившись в самом конце дороги, как раз сменили инструмент. Теперь они продолжали заниматься своими глупостями на пулемете; они как будто чиркали целой пачкой спичек за раз, и вокруг нас летели рои озлившихся пуль, надоедливых, как осы.

Человек в конце концов все-таки выдавил из себя что-то более внятное.

— Вахмистр Барусс только что убит, ваше высокородие, — выпалил он.

— Ну и что же?

— Он убит по дороге за фургоном хлеба, ваше высокородие!

— Ну и что же?

— Его разорвало снарядом!

— Ну и что же, черт возьми!

— Вот, ваше высокородие...

— Это все?

— Да, все, ваше высокородие.

— А хлеб? — спросил полковник.

Так кончился этот диалог. Я помню, что он один раз еще успел сказать: «А хлеб». И это было все. После этого — только огонь и грохот. Но какой грохот! Не поверить, что такой грохот существует! Полны глаза, уши, нос, рот, так много грохота, что я-то был уверен, что все кончено и я сам превратился в огонь и грохот.

Но ничего, огонь прошел, а грохот еще долго оставался в голове, дрожали руки и ноги, как будто кто-то стоит сзади и трясет вас. Мне казалось, что руки и ноги мои отвалятся, но в результате они все-таки остались при мне. Еще долго дым щипал мне глаза, острый запах пороха и серы держался, как будто во всем мире морили клопов.

Сейчас же после этого я подумал о взорвавшемся вахмистре Баруссе. Это была приятная новость. «Тем лучше, — сейчас же подумал я, — одной падалью меньше в полку!» Он хотел меня предать военному суду за банку консервов. «У каждого своя война!» — сказал я себе. С другой стороны, нужно признать, война изредка на что-нибудь могла пригодиться. Было еще двое или трое таких же в полку, которым я с удовольствием помог бы напороться на снаряд, как Баруссу.

Что касается полковника, я ему зла не желал. Но тем не менее и он был мертв. Дело в том, что его отнесло на откос и бросило в объятия гонца, тоже погибшего. Они обнимались и так вот будут вечно обниматься, но кавалерист теперь был без головы — одна только дыра на месте шеи, а в ней тихо булькала кровь, как варенье в кастрюле. У полковника был разворочен живот, от этого он скорчил скверную гримасу. Когда удар пришелся по нему, верно, ему было больно. Тем хуже для него. Если бы он убрался, когда прилетели первые пули, этого бы с ним не случилось.

Из всех этих туш текло ужасно много крови.

Не задерживаясь, я покинул эти места, и до чего же я был счастлив, что у меня такой хороший предлог, чтобы смыться!

На дороге никого не было, немцы ушли. Тем не менее я давно уже знал, что теперь можно ходить только вдоль деревьев. Я спешил в лагерь, чтобы узнать, есть ли в полку еще убитые во время разведки. Убегая, я заметил, что кровь сочится из моего рукава, но только немножко — царапина, ранение никак не достаточное. Все приходилось начинать сначала.

Опять пошел дождь, поля Фландрии пускали, как слюни, грязную воду. Я никого не встретил, кроме ветра и потом еще солнца. Время от времени неизвестно откуда востренькая пуля искала меня среди солнца и воздуха, настойчиво стараясь убить в моем одиночестве. Зачем? Никогда, даже если я проживу еще сто лет — поклялся я себе, — я не буду гулять среди природы.

И я опять вспоминал полковника, такого храброго в своей броне, каске и усах. Показать бы публике в мюзик-холле, как он гулял под пулями и снарядами! Такой спектакль дал бы полный сбор в «Альгамбре» того времени, и мой полковник затмил бы даже Фрагсона, который был в те времена звездой колоссальной величины.

Так я шел осторожно в течение многих часов, пока не увидел наконец наших солдат возле деревеньки. Это был аванпост нашего эскадрона, который здесь был расквартирован. Ни одного убитого, доложили мне. Все живы. А у меня такая новость!

— Полковник убит! — закричал я, как только немножко приблизился к посту.

— Полковников всегда хоть завались, — срезал меня унтер Пистиль, который как раз был дежурным.

— А куда не заместили полковника, поди-кась, кочерыжка, с Ампуем и Кердонкюфом на раздачу говядины вон туда, за церковь... Возьмите каждый по два мешка... Да смотрите в оба, чтоб вам опять не

всучили одни кости, как вчера!.. И постарайтесь обернуться к ночи!

Значит, вышли мы втроем на дорогу.

«Никогда не буду им больше ничего рассказывать», — обиженно решил я. Ясно, что не стоило им ничего рассказывать, что драма вроде той, которую я видел, просто не доходила до таких сопляков, что это уже больше никого не интересовало. Подумать только, неделей раньше за такую смерть полковника мне бы отвели четыре столбца в газетах, да еще с фотографией! Болваны!

На августовском лугу происходило распределение мяса для всего полка — под тенью вишневых деревьев, спаленных последними летними днями. На мешках и полотнищах палаток, разостланных на траве, лежали — счета нет, сколько кило потрохов, хлопья бледно-желтого жира, бараны с развороченным брюхом, из которого вываливались перепутанные внутренности и просачивались причудливые кровавые ручейки, убегающие в зелень. Целый бык, разрезанный надвое, висел на дереве, и четыре полковых мясника продолжали, сквернословя, упражняться, стараясь еще вырезать из него голье. Отряды здорово грызлись из-за жира и особенно из-за почек, а вокруг летали мухи, которые появляются только в таких вот случаях, крупные и музыкальные, как птички.

А потом еще кровь везде и всюду на траве вязкими стекающими лужами, которые ищут удобного наклона. Неподалеку резали последнюю свинью. Мясник и четыре солдата ссорились из-за каких-то потрохов.

— Это ты, иуда, вчера стащил филейную часть!..

Я успел еще, прислонившись к дереву, взглянуть раз, другой на эти продуктовые драки, и потом меня начало рвать — да как! — до обморока.

Меня принесли в лагерь на носилках, но пока что успели спереть мои мешки.

Я пришел в себя, как раз когда унтер кого-то разносил. Война еще не кончилась.

Все случается, и наконец подошла моя очередь, и меня произвели в унтеры, в конце этого же самого месяца августа. Меня прикомандировали как связиста с пятью рядовыми к генералу дез-Антрею. Он был маленького роста, молчалив и на первый взгляд не казался ни жестоким, ни героическим. Но следовало держать ухо востро... Всему прочему он предпочитал свои удобства. Даже можно сказать, что о них он никогда не забывал, так что, несмотря на то, что мы уже целый месяц занимались отступлением, он все-таки всех распекал, если его денщик не устраивал ему сразу же на каждом новом этапе чистую кровать и кухню со всеми

новейшими удобствами.

Эта забота о комфорте доставляла начальнику генерального штаба массу хлопот. Хозяйственные претензии генерала дез-Антрея раздражали его. Тем более что он сам, весь желтый, страдающий какими-то желудочными болезнями и запором, едой не интересовался. Тем не менее ему приходилось есть яйца всмятку за столом генерала и слушать его нытье. Если уж ты военный, то терпи и будь военным до конца. Все-таки я как-то не мог его пожалеть, потому что как офицер это был ужаснейший гад. Посудите: топтались мы до вечера по дорогам и холмам через пень-колоду и в конце концов все-таки где-нибудь останавливались, чтобы генерал мог переночевать. Для него искали и находили тихую деревеньку в сторонке, где спокойно, еще не занятую солдатами; а если она была уже занята, то ее быстро освобождали: солдат просто выкидывали под открытое небо, даже если их уже расквартировали.

Деревня была исключительно для генерального штаба с его лошадьми, обозом, чемоданами и еще для этого подлюги командира. Его звали Пенсон, этого подлеца, майора Пенсона. Надеюсь, что сейчас он безвозвратно околел и какой-нибудь неважной смертью. Но в те времена, о которых я говорю, он был живехонек, этот Пенсон. Он собирал каждый вечер нас, связистов, и распекал, чтобы подтянуть и попробовать раздуть былой пыл, а потом посылал куда-нибудь к черту на рога, нас, которые и так целый день таскались за генералом. Садись!.. На лошадь!.. Слазь!.. Вот таким манером мы развозили его приказы. Когда этому приходил конец, то нас с таким же успехом можно было бы просто бросить в воду. Это было бы гораздо практичнее для всех.

— Убирайтесь! По полкам! Живо! — орал он.

— Где ж он, полк-то, ваше высокородие? — спрашивали мы.

— В Барбаньи.

— Где же это Барбаньи?

— Вон там!

Там, куда он показывал, была только ночь, как, впрочем, и везде, — огромная ночь, проглатывавшая дорогу в двух шагах от нас, так что от этой дороги оставался всего малюсенький кусочек, с язычок, не больше.

Подите-ка, поищите на краю света это Барбаньи! Для этого надо было бы пожертвовать целым эскадроном! Да еще эскадроном смельчаков. А я вовсе не был смельчаком. Да я и не вижу причины, зачем мне было быть смельчаком. Мне еще меньше, чем кому бы то ни было, хотелось разыскать Барбаньи, о котором командир, кстати, и сам говорил просто на всякий случай. Это было похоже на то, что кто-то старается криком убедить меня

покончить жизнь самоубийством. Это ведь либо хочется, либо нет.

Иногда мы находили это самое Барбаньи и свой полк, а иногда не находили. Находили мы его главным образом по ошибке, потому что часовые сторожевого эскадрона стреляли в нас, когда мы приближались. Но чаще всего мы его не находили и просто ждали, кружа вокруг деревень по незнакомым дорогам, вдоль эвакуированных сел и опасного кустарника, когда взойдет день. Мы старались их избегать как только могли из-за немецких патрулей. Но надо ж нам было куда-нибудь деваться в ожидании утра. Всего избежать было невозможно. С тех пор я знаю, что должен испытывать заяц во время охоты.

Я бы с удовольствием бросил акулам майора Пенсона вместе с его жандармом, чтобы научить его, как себя надо вести в жизни, а вместе с ним и моего коня, чтобы он перестал страдать, потому что у этого долговязого мученика просто не было больше спины. Ему было очень больно; под седлом из ран величиной с две моих руки гной струйками бежал к копытам. И все-таки приходилось ехать на нем. От рыси его всего так и сводило.

Генерал дез-Антрей в отведенном ему доме ждал обеда. Стол был накрыт, лампа на месте.

— Убирайтесь к чертовой матери, — объявил нам еще раз Пенсон, раскачивая свой фонарь под самым нашим носом. — Сейчас сядут за стол. Сколько раз мне вам повторять одно и то же! Уберется ли эта сволочь когда-нибудь!

Вот он даже какие слова орал. Он с таким бешенством посылал нас на смерть, что, обычно весь прозрачный, даже несколько розовел.

Иногда повар совал нам перед нашим отъездом кусок с генеральского стола. У него было слишком много еды, у генерала: по уставу полагалось сорок порций на него одного! А он уже был человеком немолодым, даже должен был скоро подавать в отставку. На ходу он сгибал колени и, должно быть, подкрашивал усы.

Он любил красивые сады и розы и никогда не пропускал ни одного розария, где бы мы ни были. Генералы — главные любители роз. Это общеизвестно.

Мы так долго плутали от одного края тьмы до другого, что в конце концов немного начинали в ней разбираться: во всяком случае, так нам казалось... Как только появлялось облако посветлей других, мы уговаривали себя, что что-то увидели. Но единственно несомненное рядом с нами было шныряющее взад и вперед эхо, эхо лошадиного топота, шум, который мешает вам дышать, огромный шум, такой, что лучше б его не

было. Казалось, что лошади убегают в самое небо, что они созывают все, что только есть на земле, чтобы уничтожить нас. Кстати, для этого достаточно было одной руки и винтовки, достаточно было подстеречь нас за деревом и нажать на курок. И я всегда думал о том, что первый свет, который мы увидим, будет последним для нас — светом выстрела.

За месяц войны мы так устали, такие мы стали несчастные, что от усталости я даже стал меньше бояться. Это такая пытка, когда день и ночь к вам придираются люди с нашивками, и особенно те, у которых нашивок немного, более тупые, мелочные и злобные, чем в обыкновенной жизни, — такая пытка, что даже самые упрямые сомневаются, стоит ли продолжать жить.

Ох! Уйти бы! Поспать — прежде всего! И если уж действительно нет возможности поспать, тогда желание жить пропадает само собой. Но пока мы были живы, приходилось делать вид, что мы ищем наш полк.

Прикомандированные ко мне кавалеристы были какие-то косноязычные. По правде сказать, они почти что не говорили. Эти парни пришли из самой глубины Бретани, и все, что они знали, они вынесли не из школы, а из полка. В этот вечер я попробовал поговорить о деревне Барбаньи с тем, кто ехал рядом со мной и кого звали Керсюзон.

— Знаешь, Керсюзон, — говорю я ему, — это мы здесь в Арденнах... Ты ничего не видишь впереди? Я совсем ничего не вижу...

— Темно, как в заднице, — ответил мне Керсюзон.

— Скажи-ка, ты ничего не слыхал днем про Барбаньи, в какой оно стороне? — спросил я его.

— Нет.

Вот и все.

Так мы его и не нашли, это Барбаньи. Кружили до утра и оказались у другой деревни, где нас ждал человек с полевым биноклем. Его генерал пил утренний кофе у мэра, когда мы пришли.

— Как хороша молодость! — заметил старикашка очень громко своему начальнику штаба, когда мы проезжали мимо.

Сказал и встал, чтобы пойти помочиться и после этого, заложив руки за спину, прогуляться немножко.

— Он себя плохо чувствует сегодня утром, — шепнул нам его денщик. Рассказывали, что его беспокоит мочевого пузырь.

По ночам Керсюзон всегда отвечал мне одно и то же: в конце концов это начало меня развлекать, как нервный тик. Он мне повторил это еще два-три раза, про темноту, про задницу, а потом умер: убили его немного позже, когда мы уходили из какой-то деревни, которую приняли за другую, убили

французы, которые приняли нас за немцев.

Тогда же мы и придумали один трюк, чтобы больше не плутать по ночам, и очень им были довольны. Выбрасывали нас, значит, ночью из лагеря. Ладно. Ничего не говорим. Не ворчим.

— Убирайтесь! — говорила нам, как обычно, эта восковая морда.

— Слушаю-с, ваше высокоблагородие!

И вот уходим мы впятером в сторону пушек и не заставляем себя просить. Будто идем по ягоды. В той стороне холмисто. Там Маас, там на холмах виноградники и осень... Деревеньки с домиками из хорошо просохшего за три летних месяца дерева, которое хорошо горело. Мы это заметили как-то ночью, когда совсем не знали, куда идти.

С той стороны, где были пушки, всегда горела какая-нибудь деревня. Мы подходили не слишком близко, смотрели на нее издали, изображая зрителей, за десять — двенадцать километров, например. В те времена каждый вечер на горизонте пылали деревни, они окружали нас огромным кольцом какого-то чудного праздника. Перед нами и по обе стороны от нас горели селенья. Пламя, подымаясь, лизало облака. Мы видели, как оно бросалось на все: на церкви, на амбары, на стога и скирды, которые горели выше и жарче всего остального, видели, как вздымались балки с огненными бородами, перед тем как ринуться в ночь.

Даже за двадцать километров хорошо видно, как горит деревня. Весело. Самая пустячная деревенька на фоне паршивенького пейзажа — представить себе нельзя, как она шикарно горит ночью! Пожар даже маленькой деревни продолжается целую ночь, под конец он цветет огромным цветком, потом бутоном, и потом — ничего. Дымит, и тогда наступает утро.

Оседланные лошади рядом, на лугу, не двигались. Мы дрыхли на траве, кроме одного часового, конечно. Но когда есть огонь, на который можно смотреть, ночь проходит лучше, ничего не стоит ее перенести — это уже не одиночество.

Жалко, что деревень хватило ненадолго. Через месяц в этой округе их совсем не осталось. В леса тоже стреляли из пушек. Леса не продержались и недели. Они тоже хорошо горят, но недолго.

После этого вся артиллерия шла по дорогам в одну сторону, а все беженцы — в другую.

Словом, нам больше некуда было деваться: ни взад, ни вперед, приходилось оставаться на месте.

Становились в очередь, чтобы идти подышать. Даже генерал больше не находил себе квартиры вне лагеря. Кончилось тем, что мы все ночевали под



открытым небом, генералы и негенералы. Те, которые раньше бодрились, теперь потеряли бодрость. Именно в эти месяцы начали расстреливать рядовых, чтобы поднять их воинский дух, целыми взводами; именно тогда жандармов стали награждать орденами за способ вести свою местную войну, глубокую войну, без дураков, доподлинную.

Отдохнув несколько недель, мы снова сели на лошадей и направились к северу. А с нами и холод. И пушки не отставали от нас. Но с немцами мы встречались только случайно: то гусара встретишь, то группу стрелков, зеленых, желтых — все такие приятные цвета. Казалось, что мы их ищем, но, когда они нам попадались, мы сейчас же уходили дальше. Каждая встреча стоила им или нам нескольких человек. Их лошади без седоков, позванивая беснующимися стремянами, мчались к нам со своими странными седлами из кожи, новой, как кожа получаемых в подарок портфелей. Они бежали к нашим лошадям и сразу же начинали с ними дружить. Им везло. У нас бы так не вышло.

Как-то утром лейтенант Сент-Анжанс, возвращаясь с разведки, пригласил остальных офицеров воочию убедиться в правдивости его рассказа.

— Двоих зарубил! — уверял он всех и показывал саблю, на которой желобок, специально для этого сделанный, был действительно забит засохшей кровью.

— Какой молодец! Браво, Сент-Анжанс!.. Если бы вы его видели, месье! Что за налет! — подтверждал капитан Ортолан.

Это только что произошло в эскадроне капитана Ортолана. Лейтенант де Сент-Анжанс, лошадь которого долго шла галопом, скромно принимал комплименты и почести, воздаваемые ему товарищами. Теперь, когда Ортолан ручался за достоверность его подвига, он успокоился и медленно водил свою кобылу по кругу перед собравшимся эскадроном, как после скачек с препятствиями.

— Нужно бы сейчас же послать в ту же сторону другую разведку! Сейчас же! — суетился капитан Ортолан, решительно взволнованный. — Эти двое просто заблудились, но, должно быть, за ними следуют другие... Вот хотя бы вы, унтер Бардаму, поезжайте с вашими четырьмя рядовыми. — Это он обращался ко мне. — Когда они начнут в вас стрелять, определите, где они, и скорей возвращайтесь с сообщением! Это, должно быть, бранденбуржцы!..

Среди кадровых офицеров говорили, что в мирные времена капитана Ортолана почти не было видно. Зато теперь, во время войны, он нагонял

потерянное. Он был просто неутомим. Пыл его даже среди самых лихих смельчаков со дня на день становился все более удивительным. Рассказывали, что он кокаинист. Бледный, с кругами под глазами, он трепыхался на хрупких ногах. Когда он слезает с лошади, его разок качнет, и он снова бросается на поиски какого-нибудь подвига. Он готов был послать нас за огоньком в самые жерла пушек, тех, что напротив. Он работал заодно со смертью. Можно было побожиться, что капитан Ортолан заключил с ней договор.

Первую часть своей жизни он провел на конских состязаниях, ломая себе ребра по несколько раз в году. Ноги его потеряли всякий намек на икры, так часто он ломал их и так мало ими пользовался. Он передвигался, как на палках, нервным и резким шагом. Ссутулившись под дождем, в непомерно большом плаще, его можно было принять за призрак отставшей скаковой лошади.

Отметим, что в начале этого чудовищного предприятия, то есть в конце августа и даже в сентябре, случались часы, а то и целые дни, когда какой-нибудь кусочек дороги или уголок леса становился безопасным для приговоренных. Там иногда можно было спокойно доесть кусок хлеба и банку консервов, без обычной острой тревоги, что это в последний раз. Но начиная с октября этим передышкам пришел конец: град, начиненный трюфелями снарядов и пуль, сыпался вся чаще. Скоро гроза разразится вовсю, и то, чего старались не замечать, станет перед нами, заслоняя все прочее: наша собственная смерть.

Ночь, которой мы так боялись первое время, по сравнению с днем стала казаться нам терпимой. В конце концов мы стали ее ждать, желать, чтобы она скорее наступила. Ночью в нас было труднее стрелять, чем днем. Эта разница чего-нибудь стоила.

Трудно дойти до самого существа вещей: даже когда это касается войны, фантазия долго сопротивляется.

Кошки, когда им угрожает огонь, все-таки кончают тем, что бросаются в воду.

Но скоро и ночному покою пришел конец. Ночью приходилось еще преодолевать свою усталость и мучиться лишний разок, все из-за того, чтобы поесть. Пища появлялась на передовых позициях: она ползла длинными процессиями хромых телег, распухших от мяса, от пленных, раненных, овса, риса и жандармов, а еще вина в пузатых бочках, которые так славно напоминают о лихих попойках.

За кузницей и за обозом с хлебом пешком брели отставшие и пленные, наши и ихние, в наручниках, приговоренные к тому и сему, все

вперемешку, привязанные за руки к стременам жандармов, некоторые из них приговоренные к смерти /не грустнее других/. Они тоже съедали, сидя на краю дороги, свой рацион рыбы, которую трудно переварить /они и не успеют/, дожидаясь, чтобы обоз снова тронулся, деля последний ломоть хлеба со штатским, закованным в одну с ними цепь, про которого говорили, что он шпион, но который сам об этом ничего не знал.

Мучения полка продолжались тогда в ночной своей форме. Ощупью по горбатым улочкам деревень, от одного чужого сеновала к другому, сгибаясь под тяжестью мешков, которые весили больше человека. На нас кричали, мы шли мрачные, без надежды на что-нибудь другое, кроме угроз, навоза и отвращения к этим пыткам, обманутые ордой извращенных безумцев, которые внезапно, все, сколько есть, оказались неспособными к чему-либо другому, кроме как к убийству и к тому, чтобы их самих потрошили неизвестно зачем.

Измученные нарядчики валились с ног вокруг телег. Тогда появлялся фурьер и подымал над ними, над червями, фонарь. Этой обезьяне с двойным подбородком приходилось в любом хаосе искать водопой. Лошадям надо было пить! А я вот видел четырех рядовых, которые дрыхли в обморочном сне по шею в воде.

Из живых в деревне оставались только кошки. Мебель, легкая и тяжелая, шла на топку для кухни — стулья, кресла, буфеты... И все, что только можно было унести, товарищи уносили с собой. Гребенки, лампочки, чашки, какие-то мелочи, даже венчальные веночки — им все годилось. Как будто жизнь должна была продолжаться еще много лет. Они крали для развлечения, чтобы делать вид, что их хватит еще надолго. Все те же обычные желания.

Грохот пушек для них был просто шумом. Вот из-за этого-то войны и могут продолжаться. Даже те, которые сами воюют, не представляют себе, что это такое. С пулей в животе они продолжали бы подбирать старые сандалии, которые «могут еще пригодиться». Вот так и подыхающий на пастбище баран продолжает пощипывать траву. Большая часть людей умирает только в последний момент, другие собираются в течение двадцати лет и даже больше. Это несчастные люди.

Большой мудрости у меня не было, но у меня хватило практичности на то, чтобы стать окончательно трусом. Должно быть, именно потому я производил впечатление большого спокойствия. Во всяком случае, вот такой, каким я тогда был, я внушал нашему капитану Ортолану столь парадоксальное доверие, что он решил поручить мне в эту ночь деликатную миссию. Строго конфиденциально он объяснил мне, что я

должен был добраться рысью еще до восхода солнца в Нуарсер-на-Лисе, город ткачей, расположенный в четырнадцати километрах от деревни, в которой мы были расквартированы. Я должен был убедиться на месте, занят ли город неприятелем. Гонцы, посланные туда с утра, говорили каждый свое. Генерал дез-Антрей высказал по этому поводу неудовольствие. Для этой разведки мне разрешили выбрать наименее тощую лошадь из всего взвода. Мне уже давно не приходилось быть в одиночестве, мне даже стало казаться, что я уезжаю в путешествие. Но свобода эта оказалась фиктивной.

Как только я выехал на дорогу, должно быть, благодаря усталости я перестал себе представлять, как ни старался, мое убийство с достаточной ясностью и подробностями. Я ехал от дерева к дереву в собственном звоне металла. Моя красавица сабля одна уже стояла целого рояля. Может быть, я был достоин сожаления, но смешон я был точно.

И о чем только думал генерал дез-Антрей, посылая в эту тишину меня, покрытого цимбалами? Во всяком случае, не обо мне.

У меня оставалась только одна надежда, что, может быть, я попаду в плен. Едва заметная надежда, ниточка! Ниточка, да еще ночью, когда обстоятельства никак не способствовали обмену любезностями. Было более вероятно, что меня скорее встретят выстрелом, чем поклоном. Да и что я ему скажу, этому из принципа недоброжелательному вояке, который пришел с другого конца Европы нарочно, чтобы меня убивать? Даже если он и усомнится на секунду /с меня бы этого хватило/, что я ему скажу? Во-первых, кто он такой на самом деле — приказчик? сверхсрочник? может быть, гробовщик? — в обыкновенной штатской жизни! Повар?.. Лошадям, им вот везет: они тоже насильно втянуты в войну, но их не заставляют под ней подписываться, делать вид, что веришь в нее. Несчастные, но свободные лошади! Энтузиазм, увы, только для нас!

Я очень хорошо различал в эту минуту дорогу, по обе стороны в грязи большие квадраты и кубы домов с выбеленными луною стенами, дома были как большие куски льда разной величины, бледные, тихие глыбы... Что же, это и есть конец? Сколько времени проведу я в этой тишине после того, как они со мной разделаются? До конца? Вдоль какой стены? Может, они тут же меня и прикончат? Ножом? Иногда они вырывали руки, глаза и все остальное... По этому поводу говорили разное, и это было совсем не смешно. Как знать?

Лошадиный топот... Еще... Лошадь бежит, как два человека в башмаках на подметках с гвоздями бегут не в ногу, странным гимнастическим шагом...

Сердце мое там, у себя в тепле, заяц за реберной решеткой, бессмысленно мечется, прячется.

Когда одним махом бросаешься с верха Эйфелевой башни, должно быть, ощущаешь что-нибудь в этом роде. Хочется ухватиться за пустоту.

Деревня прятала от меня какую-то угрозу, но прятала не целиком. В центре площади тоненькая струйка фонтана булькала для одного меня.

В эту ночь все принадлежало мне одному. Наконец-то я стал собственником луны, деревни, огромного страха. Я пустил лошадь рысью. Нуарсер-на-Лисе находился еще по крайней мере в часе езды. Тут я заметил завешанный огонек в щели над какой-то дверью. Я прямо пошел на него, неожиданно открыв в себе какое-то удалство, которого я за собой не знал. Свет сейчас же исчез, но я его видел. Я постучал. Я настойчиво стучал, громко звал незнакомцев, скрытых в глубине этой тьмы, наполовину по-немецки, наполовину по-французски, на всякий случай то так, то этак.

Дверь в конце концов приоткрылась, одна створка.

— Кто вы? — произнес голос.

Я был спасен.

— Драгун.

— Француз?

Я мог разглядеть женщину, которая со мной говорила.

— Да, француз...

— Тут недавно проезжали немецкие драгуны... Они тоже говорили по-французски...

— Да, но я настоящий француз...

— А... — все еще не верила она.

— Где же они теперь? — спросил я.

— Поехали в сторону Нуарсера часов в восемь... — И она пальцем показала на север.

Сквозь тьму на пороге теперь ясно вырисовывалась девушка, платок, белый фартук...

— Что они с вами сделали, немцы? — спросил я ее.

— Они сожгли дом рядом с мэрией, и потом здесь они убили моего братика ударом копья в живот... Он играл на Красном мосту и смотрел, как они проезжают... Посмотрите! — показала она. — Он здесь...

Она не плакала. Она зажгла свечку, свет от которой я заметил. И правда, я увидел в глубине маленький труп, одетый в матросский костюмчик. Он лежал на матраце: голова и шея синеватые, как свет от свечки, выступали из широкого голубого квадратного воротника. Зато мать

его очень плакала, стоя на коленях рядом с ним, и отец тоже. Потом они начали стенать все вместе. Но мне очень хотелось пить.

— Не можете ли вы продать мне бутылку вина? — спросил я.

— Спросите у матери... Она, может быть, знает, есть ли еще... Немцы у нас много выпили, когда проходили...

Они стали потихоньку совещаться все вместе.

— Нет больше, — вернулась дочка с сообщением, — немцы все взяли... Они за наш счет попользовались, и даже очень...

— Ну и пили же они! — заметила вдруг мать и сразу перестала плакать. — Понравилось, видно...

— Верно, больше ста бутылок, — прибавил отец, все еще стоя на коленях.

— Значит, ни одной больше не осталось? — настаивал я; очень мне хотелось бы выпить белого горьковатого вина: оно освежает. — Я хорошо заплачу...

— Осталось только очень хорошее. — сказала мать.

— Пять франков бутылка.

— Ладно! — И я вытащил мои пять франков из кармана, большую монету.

— Пойди принеси бутылку, — велела она потихоньку дочери.

Дочь взяла свечку и вернулась через минуту с литром вина.

Мне подали вино, я выпил его, мне оставалось только уйти.

— А что, они вернутся? — спросил я опять с беспокойством.

— Может быть, — ответили они хором, — но тогда они все сожгут... Они обещали перед тем, как уйти...

— Пойду посмотрю, в чем дело.

— Ишь какой храбрый!.. Они там, — показывал мне отец в направлении Нуарсера-на-Лисе.

Он даже вышел на дорогу, чтобы посмотреть мне вслед. Мать и дочь остались подле маленького трупца.

— Иди сюда! — звали они его из дому. — Иди сюда, Жозеф! Тебе там нечего делать...

— Вы очень храбрый, — повторил еще раз отец и пожал мне руку.

Я опять потрусил на север.

— Не говорите им только, что мы еще здесь! — Девушка вышла, чтобы крикнуть мне это вслед.

— Они и так это завтра увидят, — отвечал я, — тут вы или нет. — Я был недоволен тем, что отдал им свои пять франков. Эти пять франков встали между нами. Пять франков достаточно для того, чтобы ненавидеть

кого-нибудь и желать, чтобы все люди сдохли. И пока на этом свете существуют пять франков, лишней любви не будет.

— Завтра? — повторяли они с сомнением.

Завтра для них тоже было где-то далеко, оно не очень много имело смысла. Для всех нас было важно прожить еще один лишний час, а в мире, где все свелось к убийству, час был вещью феноменальной.

Ехать пришлось недолго — от дерева к дереву, ожидая, чтобы кто-нибудь в меня выстрелил или окликнул. Но, слава Богу, обошлось.

Должно быть, было два часа ночи, не больше, когда я шагом взобрался на пригорок. Отсюда я разом увидел внизу ряды, много рядов газовых фонарей и потом, на первом плане, освещенный вокзал с вагонами, буфетом... Шума же оттуда не доносилось никакого. Ничего. Улицы, проспекты, фонари и еще много световых параллелей, целые кварталы, а потом только тьма, пустота, жадная пустота вокруг города, раскинувшегося передо мной, как будто его так, освещенным, потеряли среди ночи. Я слез с лошади и присел на кочку.

Все это опять-таки не говорило мне, находятся ли немцы в Нуарсере, но так как я знал, что, занимая город, они обычно его поджигают, то, если они в городе и не поджигают его, значит, у них есть какие-то особые планы и соображения.

Пушек тоже не было слышно, и это было подозрительно.

Лошади моей хотелось лечь. Она тянула за уздцы, и я обернулся. Когда я опять посмотрел в сторону города, что-то изменилось на кочке, незначительно, но все-таки достаточно для того, чтобы я крикнул: «Эй! Кто идет?» Перемещение теней произошло в нескольких шагах... Там кто-то был.

— Не ори! — ответил тяжелый, хриплый, несомненно французский голос. — Также отстал, что ли? — спросил он меня.

Теперь я его разглядел: пехотинец с щеголевато согнутым козырьком. После стольких лет я еще помню эту минуту, его силуэт, вылезавший из травы, как на ярмарках в былые времена мишени, изображающие солдат.

Мы подошли ближе друг к другу. Я держал револьвер в руке. Еще минута, и я бы выстрелил неизвестно почему.

— Слушай, — спрашивает он меня, — ты их видел?

— Нет, но я здесь для того, чтобы увидеть их.

— Ты из 145-го драгунского?

— Да, а ты?

— Я из запасного...

— А! Из запаса... — Меня это удивило. Это был первый запасной,

которого я встретил во время войны. Мы всегда были с солдатами, находящимися на действительной службе. Я не мог разглядеть его лица, но самый его голос уже был не такой, как наши голоса, как будто более грустный. Поэтому я отнесся к нему с некоторым доверием.

— С меня довольно, — повторял он, — иду к немцам сдаваться в плен...

Он говорил начистоту.

— А как?

Меня вдруг заинтересовало больше всего, как он обделает это дело.

— Не знаю еще...

— А как ты сбежал?.. Сдаться в плен — дело нелегкое.

— Чихать мне, пойду и сдамся.

— Боишься?

— Боюсь, и если хочешь знать, наплевать мне на немцев: они меня не обижали...

— Тише, может быть, они подслушивают...

Мне казалось, что надо быть вежливым и с немцами. Мне хотелось, чтобы этот запасной объяснил мне уж кстати, почему у меня нет храбрости, чтобы воевать, как все остальные. Но он ничего не объяснял, он только повторял, что с него довольно...

Тогда он мне рассказал, как накануне, на заре, весь его полк бросился бежать врассыпную из-за наших стрелков, которые по ошибке открыли по ним огонь. Их полк не ждали вовсе, они пришли на три часа раньше. Тогда стрелки, усталые, пораженные, стали осыпать их пулями. Эта песня была мне знакома, мне ее уже пели.

— Ну, сам понимаешь, что мне это было на руку! — прибавил он. — «Робинзон! — говорю я себе. — Это мое имя — Робинзон. Я — Робинзон Леон! Ты даешь ходу сейчас или никогда...» Верно? И побежал я, значит, вдоль лесочка, и представь себе, что тут встретил нашего капитана... Стоит он, прислонившись к дереву, поддели его здорово. И собирается околевать... Держится за штаны и плюется. Кровища так и хлещет из него, а глаза так и ходят... Один стоит. Совсем, вижу, крышка ему... «Мама! Мама!» — скулит и помирает и кровью мочится... «Заткнись! — говорю ему. — Мама! Начхать ей на тебя, твоей мамаше!..» Так, понимаешь, между прочим... Можешь быть покоен, получил полное удовольствие. Сука такая... Что, миляга? В кои веки доведется сказать капитану правду в глаза... Как не попользоваться? Большая редкость! И чтобы было легче бежать, я побросал все вместе с оружием... в утиное болотце, рядом... Представь себе, вот ведь дело какое: совсем мне не хочется никого убивать,



не обучили меня этому. Я и в мирные-то времена не любил скандалов. Всегда отходил в сторонку... Так что представляешь себе?.. Когда я еще был штатским, я пробовал ходить каждый день на завод, но мне это не нравилось: там все ссорятся. Я больше любил продавать вечерние газеты где-нибудь в спокойном квартале, где меня знают, вокруг Государственного банка, например... Если хочешь знать, на площади Победы, на улице Пти-Шан опять-таки... Это был мой участок... Утром я работал рассыльным у коммерсантов... Отнеси то, другое после обеда... словом, оборачивался... Иногда делал какую-нибудь черную работу... Но с оружием я дела иметь не желаю! Если немцы тебя встретят с оружием, можешь не сомневаться — ухлопают. Другое дело, если ты так прогуливаешься... Ничего ни в руках, ни в карманах... Понимаешь, они чувствуют, что им легче будет тебя взять в плен... Сразу видно, с кем имеешь дело... Лучше было бы попасться к немцам в чем мать родила... Как лошадь. Тогда им нипочем не узнать, к какой армии принадлежит человек.

— Это правда!

Я начинал понимать, что возраст кое-что значит для углубленности мысли, с возрастом становишься опытнее.

— Там они, что ли? А?

Мы оценивали и обсуждали наши шансы, как на картах, загадывая о нашем будущем на большом, освещенном, раскинувшемся перед нами городе.

— Пошли?

Сначала надо было перейти через железнодорожный путь. Если там стоят часовые, то они откроют по нам стрельбу. А может быть, и нет. Посмотрим! Как пройти — через туннель или по верху?..

— Надо поторапливаться, — прибавил еще этот Робинзон. — Делать это нужно ночью: днем люди враги и все делают напоказ, днем, видишь ли, даже на войне настоящий базар... Рысака берешь с собой?

— Беру.

Предосторожность на случай, если нас плохо примут. Мы дошли до шлагбаума, задравшего кверху свои большие красные и белые руки. Я никогда не видел таких шлагбаумов, в окрестностях Парижа они не такие.

— Ты думаешь, что они уже в городе?

— Обязательно, — говорит он. — Иди, иди!

Теперь нам приходилось быть храбрее храбрых, из-за лошади, которая спокойно шла за нами, будто толкая нас в спину цоканьем — цок, цок! — своих подков.

На ночь, что ли, он рассчитывает, Робинзон, чтобы вывести нас из

этого положения? Мы шли по улице шагом, без всякой хитрости, размеренным шагом, как на ученье. Ставни магазинов были закрыты, закрыты жилые домики, с палисадниками, аккуратные. Но после почты мы увидели, что один из этих домиков, немного белее, чем все другие, сияет огнями и в нижнем, и в верхнем этажах.

Мы позвонили у дверей. Лошадь все с нами. Тучный бородатый человек открыл нам.

— Я мэр Нуарсера, — сейчас же объявил он, хотя мы еще и не успели ничего спросить. — Я ожидаю немцев!

И он вышел в лунный свет, чтобы разглядеть нас. Когда он выяснил, что мы не немцы, но все еще французы, он утратил торжественность, осталось только радушие. Он был смущен. Он нас явно не ожидал, наше появление шло вразрез с какими-то его приготовлениями и решениями. Немцы этой ночью должны были занять Нуарсер, его об этом предупредили, и он уже сговорился с префектурой, как их разместить: полковника их — вот сюда, скорую помощь — туда и так далее. А если они придут теперь, когда мы здесь, без неприятностей не обойдется. Осложнения и так далее. Он нам этого не сказал, но было понятно, что он об этом думает.

Тогда он начал говорить об общих интересах. О материальных благах общины. О художественных богатствах Нуарсера, которые были ему поручены, — из всех обязанностей самая святая... В особенности церковь пятнадцатого века... А вдруг они подожгут церковь пятнадцатого века? Как соседнюю, в Конде-сюр-Изер. А? Просто так, от плохого настроения... Рассердившись, что мы здесь... Он дал нам почувствовать, какая на нас ложится ответственность... Молодые несознательные солдаты! Немцы не любили подозрительных городков, где еще бродит вооруженный неприятель. Это общеизвестно...

Пока он вполголоса говорил с нами, жена его и две дочери, полные и аппетитные блондинки, поддерживали его, вставляя время от времени словечко... В общем, нас выгоняли вон. Между нами витали духовные и археологические ценности, получившие неожиданную значимость потому, что в Нуарсере ночью некому было их оспаривать... Мэр старался поймать призраки патриотических и моральных слов, но их развеивали наш страх и самая обыкновенная истина.

Он изнемогал от трогательных усилий доказать нам, что наш долг немедленно убираться отсюда ко всем чертям; он говорил это менее грубо, но весьма решительно, в точности как наш командир Пенсон.

Против этого мы могли выставить только наше маленькое желание не

умирать и не сгореть. Это было немного, тем более что это нельзя говорить во время войны. И вот мы ушли на другие пустые улицы. Решительно все люди, которые мне встречались этой ночью, открывали передо мной свою душу.

— Вот всегда мне так не везет! — заметил Робинзон уходя. — Если бы ты был немцем — ты парень хороший — взял бы меня в плен, и дело в шляпе... Трудно отделаться от самого себя на войне!

— А ты, — говорю я, — если бы ты был немцем, разве ты не взял бы меня в плен? Тебе, может, за это дали бы медаль, а?

Так как по дороге мы не встретили никого, кто хотел бы взять нас в плен, то мы наконец сели на скамеечку в сквере и съели банку скумбрии, которую Робинзон Леон носил и грел в своем кармане с утра. Совсем невдалеке теперь были слышны пушки. Если б неприятели могли сидеть у себя и оставить нас здесь в покое!

Потом мы пошли по набережной, вдоль наполовину разгруженных барж; мы долго мочились в воду, длинной струей. Мы по-прежнему вели под узцы лошадь, как большую собаку, но у моста, в доме пастора, который весь состоял из одной комнаты, на матрасе лежал еще один мертвец, совсем одиноко... Француз, командир стрелкового кавалерийского полка, лицом немного похожий на Робинзона.

— Ну и страшен же! — обратил мое внимание Робинзон. — Не люблю я мертвых!..

— Чудно! — отвечал я ему. — Он слегка на тебя похож. У него такой же длинный нос, как у тебя, и он немногим тебя моложе...

— Это, видишь ли, усталость... Конечно, все становятся на одно лицо. Но если б ты меня видел раньше!.. Когда я каждое воскресенье ездил на велосипеде... Красивый я был парень. Какие икры! Сам понимаешь — спорт! И ляжки тоже от этого развиваются...

Мы вышли. Спичка, которую мы зажгли, чтобы посмотреть на него, потухла.

— Опоздали мы! Смотри, опоздали!..

Длинная серо-зеленая полоса подчеркивала среди ночи вдалеке верхушку пригорка в конце города. День! Еще один! Одним больше, одним меньше. Надо будет пройти через него, как через все остальное. Дни превратились в какие-то обручи, становились тесней и тесней, наполненные взрывами и свистом пуль.

— Ты не вернешься больше сюда, завтра ночью? — спросил он меня на прощанье.

— Завтрашней ночи нет, голубчик. Ты что ж, себя за генерала

принимаеть?!

— Ни о чем больше я не думаю, — сказал он напоследок. — Ни о чем, слышишь? Думаю только как бы не сдохнуть... Этого довольно... Думаю, что один выигранный день все-таки еще один лишний день...

— Правильно! До свидания, миляга! Счастливо!..

— Счастливо! Может, увидимся.

Мы вернулись каждый в свою войну. И потом случилось много чего, что трудно рассказать сейчас, так как сегодняшние больше не поймут этого.

Чтобы стать человеком уважаемым и почтенным, надо было с места в карьер начинать дружить со штатскими, потому что, чем дольше продолжалась война, тем штатские становились все испорченней. Это я немедленно понял, как только вернулся в Париж, а также, что у их жен бешенство матки, что у стариков вот этикие завидующие глаза и что они хватаются лапами за все — за зад, за карманы...

Матери ходили то в сестрах милосердия, то в мученицах и, не снимая, носили длинные траурные вуали и грамоту, которую министр вовремя преподносил им через городского чиновника. В общем, все начинало налаживаться.

Во время приличных похорон можно погрузить, но все-таки невольно думаешь о наследстве, о приближающихся каникулах, о хорошенькой вдове — и о том, чтобы пожить еще, для контраста, как можно дольше, а может быть, даже вовсе не сдыхать... Кто ж его знает?

Во время войны, вместо того чтобы танцевать на первом этаже, танцевали в подвале. Бойцы это не только терпели, но даже любили. Они сейчас же по возвращении об этом просили, и никто не находил в этом ничего подозрительного. В сущности, подозрительна только храбрость. Быть храбрым своим телом? В таком случае почему не требовать храбрости от червя? Он тоже розовый, бледный и мягкий, как мы.

Мне жаловаться больше было не на что. Я даже как раз освобождался от всего, получив медаль за храбрость, за ранение и все остальное. Медаль мне принесли в госпиталь, где я поправлялся. И в тот же день я отправился в театр, показывать ее во время антрактов штатским. Огромное впечатление. Тогда медали были еще редкостью в Париже. Сенсация!

Тогда же я как раз познакомился в фойе Опера-комик с американочкой Лолой, и вот она-то просветила меня, научила многому.

Среди месяцев, в которые можно бы и не жить, есть такие замечательные даты. Этот день медали в Опера-комик был для меня решающим.

Из-за нее, из-за Лолы, у меня появилось удивительное любопытство к Соединенным Штатам, я ей задавал вопросы, на которые она почти не отвечала. Начнешь вот так путешествовать, и неизвестно, когда и как вернешься.

В то время, о котором я говорю, в Париже все хотели носить военную форму. Только люди нейтральные и шпионы — а это почти одно и то же не носили формы. Лола ходила в хорошенькой форме с отделкой из красных крестиков повсюду — на рукавах, на полицейской шапочке, лихо заломленной набекрень на завитых волосах. Она приехала помогать нам спасать Францию по мере своих слабых сил, рассказывала она директору гостиницы. Мы сразу друг друга поняли, правда, не вполне, потому, что сердечные порывы очень стали мне неприятны. Я предпочитал порывы тела. Сердцу доверять не следует: меня научили этому на войне, раз и навсегда! Я этого не забыл.

Сердце у Лолы было нежное, слабое и восторженное. Тело было приятное, милое, и мне пришлось уж принять ее такой, какой она была, целиком. Она была в общем милой девушкой, но между нами пролегла война, все это проклятое огромное бешенство, которое заставляло одну часть человечества, любящую или нет, посылать другую на бойню. Такая мания, конечно, осложняла отношения. Я оттягивал поправку как мог и вовсе не спешил вернуться на раскаленное кладбище бранных полей.

Между тем шансов на то, чтобы выскочить, было мало: у меня не было необходимых связей. Знакомые у меня все были бедные, такие, чья смерть никого не интересует. Что касается Лолы, то, чтобы помочь мне уклоняться, на нее рассчитывать не приходилось. Она была сестрой милосердия, и даже во сне не могло присниться ничего более воинственного, кроме разве Ортолана, чем это прелестное дитя. Перед тем, как я прошел через всю эту вязкую мешанину героизма, ее жаннад'арковская манера, может быть, понравилась бы мне, даже показалась бы убедительной, но теперь, после этой истории на площади Клиши, когда я записался добровольцем, я стал ненавидеть героизм. Я выздоровел, окончательно выздоровел.

Для удобства дам из американского общества их группа сестер милосердия, к которым принадлежала Лола, жила в шикарном отеле «Паритц», и чтобы быть приятным лично Лоле (у нее были связи), управляющий отелем поручил ей в самом отеле заведовать яблочными оладьями для парижских госпиталей. Лола исполняла возложенную на нее службу с жаром, что, кстати сказать, скоро кончилось довольно плохо.

Лола, нужно заметить, никогда в своей жизни не пекла оладий. Она пригласила поэтому наемных поварих, и после нескольких проб оладьи

были признаны готовыми к отправке — сочные, золотистые и сладкие. Лоле надо было только пробовать их перед тем, как отправлять в разные госпитали. Она вставала каждое утро в десять часов и, приняв ванну, шла в кухни, которые находились где-то глубоко, рядом с подвалами. Это она делала, повторяю, каждое утро, накинув на себя только черный с желтым японский халатик, подаренный ей накануне ее отъезда приятелем из Сан-Франциско.

Все шло, в общем, великолепно, и мы собирались выиграть войну, когда в один прекрасный день перед завтраком я нашел Лолу в ужасном волнении. Она ничего не ела. Предчувствие несчастья, внезапной болезни охватило меня. Я умолял ее довериться моей нежности.

Лола так напробовалась оладий, что за месяц потолстела почти на кило. Кушачок ее не сходил и свидетельствовал о несчастье.

Как бы то ни было, начиная с этого дня она к оладьям еле притрагивалась. Эта боязнь потолстеть отравляла ей всякое удовольствие. Она стала чахнуть. Через некоторое время она стала бояться оладий, как я — снарядов. Теперь мы большей частью гуляли с ней для моциона по набережным, на бульварах, не заходили даже в «Наполитен», чтобы съесть мороженое, от которого дамы тоже толстеют.

Мне и во сне никогда не снилось ничего более комфортабельного, чем Лолина голубая комната с примыкающей к ней ванной. Повсюду — фотографии ее друзей с надписями, мало женщин, много мужчин — красивые парни, черноволосые и кудрявые. Ей нравился этот тип.

Когда мы переставали целоваться, она неизбежно возвращалась к разговорам о войне и оладьях. В общем, Лола ведь только чудила от счастья и оптимизма, как все люди, которые живут на солнечной стороне жизни, на стороне привилегий, здоровья, обеспеченности, и которым еще долго остается жить.

Она меня мучила разговорами «по душам», а для меня из всего вывод был один: по мне, немцы могли прийти сюда, разгромить и поджечь все, мне терять было нечего, я мог только выиграть.

Что мы теряем, когда горит хозяйский дом? Придет другой хозяин, немец, или француз, или англичанин, чтобы потребовать при случае квартирную плату... В марках или франках — платить все равно приходится...

Словом, настроение было скверное. Если бы я сказал Лоле, что я думаю о войне, она сочла бы меня чудовищем и отняла бы у меня прелесть своей близости. Поэтому я ей ничего и не говорил. Тело ее было для меня источником бесконечных радостей. Мне никогда не надоедало заниматься

ее американскими прелестями. По правде сказать, я был порядочной свиньей. И остался ею.

Я так долго лапал Лолу, что в конце концов решил отправиться в Америку, как в паломничество. И на самом деле я не успокоился до тех пор (несмотря на жизнь, полную противоречий и невзгод), пока не пустился в эту мистико-анатомическую авантюру.

Вот как вместе с телом Лолы для меня открылась Америка. Конечно, у Лолы было не только тело, оно было увенчано маленькой головкой, очаровательной и несколько жестокой из-за серо-голубых глаз, немножко раскосых, как глаза диких кошек.

Стоило мне посмотреть ей в глаза, как у меня начинали слюнки течь и появлялся во рту вкус сухого белого вина. Глаза, в сущности, жестокие, без той приятной коммерческой живости, восточно-фрагонаровской, которая есть почти во всех здешних глазах.

Обыкновенно мы встречались в соседнем кафе. Раненные, которых становилось все больше и больше, кое-как одетые, ковыляли по улицам. В их пользу организовывались сборы — «день такой-то для таких-то и для таких-то» — и главным образом для организаторов этих «дней». Заниматься чем-нибудь другим было запрещено. Все ввали с бешенством, превосходя все возможности, превосходя всякий абсурд и чувство стыда, — в газетах, на афишах, пешком, на лошадях... Все взялись за вранье. Наперегонки, кто соврет больше. Скоро в городе не стало правды.

Того, что от нее оставалось в 1914 году, теперь стыдились. Все, к чему только ни притрагивались, было поддельно: сахар, аэропланы, сандалии, варенье, фотографии; все, что читали, глотали, сосали, чем восхищались, что утверждали, защищали, от чего отрекались, — все было лишь злостными призраками, подделкой и маскарадом. Даже предатели, и те были поддельные. Эпидемия лжи и веры распространяется, как чесотка.

Мы ходили с Лолой в Булонский лес, опять-таки для моциона, и гуляли там каждый день после обеда в течение нескольких часов вокруг озера.

Природа — вещь ужасная. Даже когда ее приручили, как в Булонском лесу, она наводит тоску на настоящих городских жителей. Она вызывает их на откровенность. В сыром, перетянutom заборчиками, сальном, плешивом Булонском лесу на горожан, гуляющих между деревьями, наваливаются неугомонные воспоминания. Лола тоже была подвержена этому меланхолическому беспокойству, толкающему на откровенность. Она мне рассказывала тысячи почти что искренних вещей о своей жизни в Нью-Йорке, о своих тамошних подругах.

Трудно было разобраться, где правда в этой сложной системе долларов, помолвок, разводов, покупок платьев и драгоценностей, которыми была заполнена ее жизнь.

В этот день мы пошли по направлению к ипподрому. Там можно было еще встретить извозчиков, и детей на осликах, и других детей, поднимающих пыль, и автомобили, набитые солдатами, которые приехали на побывку и безостановочно, спешно, от поезда до поезда искали незанятых женщин в боковых аллеях, поднимая еще больше пыли, спеша обедать и целоваться, возбужденные и липкие, настороженные, взволнованные неумолимостью времени и желанием жить. Их бросало в пот от страсти и жары.

Булонский лес был менее тщательно расчищен, чем в обычное время: администрация временно перестала заботиться о нем.

— Здесь, должно быть, было очень красиво перед войной? — спрашивала Лола. — Элегантно?.. Расскажите мне, Фердинанд!.. Здесь были бега?.. Какие здесь бывали бега, вроде наших, в Нью-Йорке?..

По правде сказать, я никогда не был на бегах до войны, но я немедленно, чтобы развлечь Лолу, придумал тысячу всяких пестрых деталей, вспоминая то, что мне по этому поводу рассказывали. Платья... Элегантные женщины... Блестящие выезды... Старт... Препятствия... Президент республики... Горячка ставок и так далее.

Ей так понравилось мое идеальное описание, что оно нас даже сблизило. Начиная с этой минуты она открывала, что у нас есть хотя бы одна общая страсть (у меня — тайная!) — к светским развлечениям. Она даже неожиданно меня поцеловала, что, по правде сказать, случалось с ней довольно редко. И потом ее трогала грусть минувшей моды. Каждый по-своему оплакивает былые времена. Лола замечала, что время идет по отмирающим модам.

— Фердинанд, — спросила она, — как вы думаете, будут ли здесь снова бега?

— Когда закончится война, Лола, должно быть, будут...

— Но это не наверно?..

— Нет, не наверно...

Возможность, что в Лоншане никогда больше не будет бегов, приводила ее в недоумение. Мировая печаль берет людей, чем может.

— Представьте себе, что война будет продолжаться еще очень долго, Фердинанд, несколько лет, например... Тогда для меня уже будет поздно... Я буду уже старой... Я чувствую, что будет поздно...

И она опять впала в отчаяние, как раньше из-за того лишнего кило.



Чтобы утешить ее, я приводил ей на память все надежды, которые только мог вспомнить... Что ей только двадцать три года... Что война пройдет очень быстро... Что вернутся еще хорошие дни... Особенно для нее, такой хорошенькой... Что она будет еще долго нравиться. Она сделала вид, что успокоилась, чтобы не огорчать меня...

Мы покинули Лоншан. Дети тоже ушли. Осталась только пыль. Бойцы в отпуску еще бегали за счастьем, но уже в зарослях леса.

Мы шли по набережной, по направлению к Сен-Клу. Вокруг нависли блуждающие осенние туманы. У моста несколько барж, жестоко вдавленных в воду тяжелым грузом угля, толкались носом об арки.

Огромный зеленый веер развевался за решетками. Деревья обладают всей сладостной пышностью, всей силой долгих снов. Но с тех пор, как мне пришлось играть среди них в прятки, я относился к деревьям без всякого доверия. За каждым деревом прятался труп. Главная аллея, обсаженная с двух сторон розами, вела к фонтанам. Около киоска с напитками старая дама, разливающая сельтерскую, собирала в своих юбках все вечерние тени. Дальше, на боковых дорожках, витали большие полотняные темные кубы и четырехугольники — бараки праздничной ярмарки, которую война настигла здесь и неожиданно заполнила тишиной.

— Скоро год, как они ушли! — вспомнила сельтерская старушка. — Теперь за день не встретишь и двоих... Я-то хожу по привычке... Раньше здесь бывало столько народу!..

Из всего, что произошло, старушка поняла только это. Лоле захотелось пройтись вдоль пустых палаток — странное, грустное желание.

Мы насчитали их штук двадцать: длинные, украшенные зеркалами, много маленьких — ярмарочные кондитерские, лотереи, даже маленький театрик, в котором гуляли сквозняки; палатки были повсюду, около каждого дерева; у одной из них, рядом с большой аллеей, даже не было больше занавесок: она выветривалась, как старая тайна.

Палатки уже склонялись к листьям и грязи. Мы остановились около последней, около той, что накренилась сильнее других и качалась от ветра на столбах, как корабль с развевающимися парусами, готовый оборвать последний канат. Палатка дрожала, поднявшийся ветер трепал среднее полотнище, задирал его к самому небу над крышей. На фронте барака еще висела старая красно-зеленая вывеска: это был когда-то тир, он назывался «Тир наций».

Некому было его сторожить. Хозяин, может быть, стрелял теперь где-нибудь вместе со своими клиентами.

Сколько пуль в маленьких мишенях, как они изрешечены белыми

точками! Мишени изображали шуточную свадьбу: в первом ряду цинковая невеста с цветами, потом брат, солдат, жених с большой красной мордой и потом, во втором ряду, гости, которых, верно, часто убивали, когда ярмарка была еще в разгаре...

— Вы, должно быть, очень хорошо стреляете, Фердинанд?. Если б сейчас еще была ярмарка, мы бы устроили с вами матч... Ведь правда, что вы хорошо стреляете?..

— Нет, я не очень хорошо стреляю...

В последнем ряду, за свадьбой, еще другая раскрашенная картинка: мэрия с флагом. Должно быть, когда все это действовало, то стреляли и в мэрию, и в окна, которые со звоном отворялись, когда в них попадали, стреляли, должно быть, и в цинковый флажок, и в полк, марширующий сбоку, под гору, как мой полк на площади Клиши. Полк помещался между двумя трубками и шариками... Во все это раньше стреляли сколько влезет, теперь же стреляли в меня, вчера, и будут стрелять завтра...

— В меня тоже стреляют, Лола! — не удержался я и крикнул.

— Пойдемте! — сказала она тогда. — Вы говорите глупости, Фердинанд... И мы простудимся.

Мы пошли в сторону Сен-Клу, по главной Королевской аллее, обходя грязь; она держала меня за руку, рука у нее была маленькая, но я ни о чем не мог думать, кроме как о цинковой свадьбе в тире, которую мы оставили в тени аллеи. Я даже забывал целовать Лолу — это было сильнее меня. Я себя чувствовал как-то странно. Я даже думаю, что именно с этой минуты стало трудно успокоить мою голову со всеми ее мыслями.

Когда мы дошли до моста Сен-Клу, было уже совсем темно.

— Фердинанд, хотите пообедать у Дюваля? Вам ведь нравится у Дюваля... Вы развлечетесь... Там всегда так много народу... Или, может быть, вы хотите пообедать у меня в комнате?

В общем, в тот вечер она была очень предупредительна.

Наконец мы решили все-таки пойти к Дювалю. Но не успели сесть за стол, как учреждение это показалось мне совершенно диким. Мне казалось, что все сидящие вокруг нас рядами люди тоже ждут пуль, летящих в то время, как они жрут.

— Уходите! — предупредил я их. — Смывайтесь! Сейчас начнут стрелять! Вас убьют! Нас всех убьют!..

Меня быстренько привезли в гостиницу к Лоле. Везде я видел одно и то же. Все проходящие по коридорам «Паритца» шли на смерть, и кассиры, сидящие за кассами, они тоже были для этого сделаны, и даже этот тип внизу, у дверей «Паритца», в небесно-голубой и золотой, как солнце,

форме; и еще военные, гуляющие взад и вперед офицеры, генералы, не такие красивые, как швейцар, но все-таки в форме, Все было огромным тиром, из которого не убежать.

— Сейчас начнут стрелять! — кричал я во всю глотку посредине большого салона. — Начнут стрелять. Смывайтесь все, кто может!..

А потом я кричал то же самое в окно. Прямо скандал!

— Бедный солдат! — говорили кругом.

Швейцар ласково увел меня в бар. Он заставил меня выпить, и я аккуратно выпил; потом пришли жандармы и увели меня уже менее нежно. В «Тире» тоже были жандармы. Я их видел.

Лола меня поцеловала и помогла им увести меня в наручниках.

Тогда я заболел, лежал в жару, обезумев от страха, объясняли в госпитале. Возможно. Самое лучшее, не правда ли, в этом мире — это уйти из него. Все равно, сумасшедшим или нет, в страхе или без страха.

Пошли разговоры. Одни говорили: «Этот парень анархист, его следует расстрелять. И сейчас же, без колебаний. Нечего тянуть, теперь — война!..» Но были и другие, более терпеливые, которые предпочитали говорить, что я сифилитик и совершенно искренне сумасшедший и что меня нужно запереть до конца войны или, во всяком случае, на несколько месяцев, пока они, несумасшедшие, в здравом рассудке и полной памяти, довоюют... Это доказывает, что для того, чтобы считалось, что вы обладаете здравым смыслом, нужно просто обладать зверским нахальством. Достаточно нахальства, чтобы почти все было разрешено, абсолютно все; тогда вы принадлежите к большинству, а большинство именно и решает, что есть сумасшествие, а что здравый смысл.

Тем не менее диагноз не был твердо установлен. Власть имущие решили отдать меня на некоторое время под наблюдение. Моей Лоле и моей матери разрешили несколько свиданий со мной. Вот и все.

Нас поместили в лицей Исси-ле-Мулино, нарочно приспособленный для приема и травли — мягкой или жесткой, смотря по случаю — солдат в моем роде, у которых подпортился или совсем сломался патриотический идеал. Нельзя сказать, что с нами действительно плохо обращались, но мы все время чувствовали себя под наблюдением больничных служителей с длинными ушами.

Пробыв некоторое время под наблюдением, можно было тихонько выписаться — либо на свободу, либо в сумасшедший дом, либо на фронт, частенько на виселицу.

Я постоянно думал о том, кто из собравшихся в этом подозрительном

пристанище братишек, которые сейчас тихонько разговаривают в столовой, уже превратился в призрак.

Около решетки, у входа, в маленьком павильончике жила консьержка, та самая, которая продавала нам ячменный сахар, апельсины и все необходимое для того, чтобы пришивать пуговицы. Кроме того, она продавала нам наслаждение. Унтерам наслаждение обходилось в десять франков. Продавалось оно кому угодно. Только не следовало пускаться с ней на откровенность в такие минуты. Эта откровенность могла обойтись в копейку. Она рассказывала все, что ей поверяли, главному врачу, во всех подробностях, и это добавляли к вашему делу, которое шло в военно-полевой суд. Было доказано, что она таким образом отдала под расстрел одного спаги — унтер-офицера, которому еще не было двадцати лет, потом запасного артиллериста, который наглотался гвоздей, чтобы расстроить себе желудок, и еще одного истерика, того самого, который рассказал ей, каким образом он подготовлял на фронте своя припадки паралича... Мне она предложила, чтобы посмотреть, как я к этому отнесусь, бумаги отца семейства с шестью детьми. Отец семейства умер, я мне бумаги могли пригодиться, чтобы устроиться на службу в тылу. В общем, она была развратницей. В постели это была баба что надо, и мы ходили к ней и получали полное удовольствие. Вот это была стерва так стерва! Кстати, чтобы получить удовольствие, это в бабе необходимо. Для постельного дела канальство — что перец в хорошем соусе, необходимая приправа.

Здание лица выходило на широкую террасу, летом золотистую, всю в деревьях. С террасы открывалась великолепная, блестящая перспектива Парижа. На этой террасе нас ожидали по четвергам посетители, с ними и Лола. Она приносила мне каждый раз аккуратно пирожные, советы и папиросы.

Врачей мы видели каждое утро. Они ласково задавали нам вопросы, но никогда нельзя было понять, что они на самом деле думают. Они носили за приветливыми масками наш смертный приговор.

Многие из находящихся под наблюдением больных, наиболее нервных, приходили в этой сладенькой атмосфере в такое состояние раздражения, что ночью, вместо того чтобы спать, ходили по палате взад и вперед, громко жалуясь на свою тоску, корчась между отчаянием и надеждой, как на неустойчивой глыбе над обрывом. Так они мучились день за днем и в один прекрасный день обрушивались и признавались во всем главному врачу. Они никогда не возвращались. Мне тоже было как-то беспокойно. Но когда чувствуешь себя слабым, то для восстановления сил лучше всего постараться отнять последний престиж у людей, которых

больше всего боишься. Нужно научиться видеть их такими, какие они есть на самом деле, даже хуже, чем они есть, со всех точек зрения. Нельзя себе представить, до чего это освобождает, раскрепощает. Это открывает в вас как бы вторую натуру, вас становится двое.

Рядом со мной, на соседней кровати, лежал тоже доброволец. До августа месяца он был учителем в гимназии в Турени, учителем истории и географии. После нескольких месяцев войны этот учитель оказался таким вором, что прямо второго такого не сыщешь. Положительно нельзя было усмотреть за ним: он тащил из обоза своего полка консервы, тащил из фургонов интендантства, из запасов роты — повсюду, где он только мог что-нибудь спереть.

Он кончил тем, что попал вместе с нами сюда, хотя состоял под судом. Но семья его с невероятным упорством старалась доказать, что это снаряды его поразили и деморализовали, и выводы следствия откладывались с месяца на месяц. Он говорил со мной нечасто. Часами он расчесывал бороду, а когда заговаривал, то почти всегда об одном и том же, о том, какой он открыл способ, чтобы жена его больше не беременела. Был ли он сумасшедший? Все интересное происходит где-то в тени. О настоящей человеческой истории ничего не известно.

Фамилия учителя была Преншар. На что он решился, чтобы спасти свою сонную артерию, свои легкие и чувствительные нервы? Вот самый существенный вопрос, который люди должны были задать друг другу, чтобы быть людьми практичными. Но мы были далеки от этого, спотыкаясь в бессмыслицах идеала, под стражей воинственной ненормальной пошлости, и, как угоревшие крысы, старались сбежать с горящего корабля, не сговорившись, как сделать это сообща, не доверяя друг другу. А теперь мы обалдели от войны, и наше безумие было другого рода: страх. Лицо и изнанка войны.

Среди охватившего нас массового бреда Преншар даже как будто мне несколько симпатизировал, с опаской, конечно.

Там, где мы находились, под этой вывеской не было ни дружбы, ни доверия. Каждый говорил только то, что ему было на руку; вокруг нас рыскали и доносили на нас шпики.

Прибывали новые подозрительные вояки всевозможных полков, очень молодые и почти что старые, в страхе или бахвалясь удалством. По четвергам приходили на свидание жены и родственники. Ребята таращили глаза.

Все это обильно плакало в приемной, особенно ближе к вечеру. Все бессилие мира перед войной плакало здесь, когда жены и дети после

свидания уходили, шаркая ногами по тусклому коридору. Большое стадо нытиков, просто противно.

Для Лолы свидания со мной в этой вроде как бы тюрьме были своего рода приключением. Мы не плакали. Нам негде было взять слез.

— Неужели вы действительно сошли с ума, Фердинанд? — спросила она меня как-то в четверг.

— Да, — признался я.

— Значит, они будут вас лечить здесь?

— Нельзя вылечиться от страха, Лола.

— Неужели вы до такой степени боитесь?

— И даже больше, Лола, до того боюсь, что если впоследствии я умру своею смертью, то не хочу, чтобы меня сожгли! Я хочу лежать в земле, гнить на кладбище, совсем спокойно, готовый к тому, чтобы, может быть, снова ожить... Как знать! А если меня сожгут, тогда уж совсем конец... Скелет все-таки еще немного похож на человека... Он все-таки скорее может ожить, чем пепел... Пепел — это конец всему!.. Что вы об этом думаете? Так вот, понимаете ли, война...

— О, Боже! Так, значит, вы действительно трус, Фердинанд? Вы отвратительны, как крыса!..

— Да, действительно трус, Лола, я отказываюсь принять войну и все, что в ней есть... Я не хочу смириться... Я не желаю ныть... Я просто ее не принимаю, целиком, всех людей, к ней причастных, и саму войну. Даже если их девятьсот девяносто пять миллионов, а я один, то все-таки ошибаются они, а прав я, Лола, потому что я один только и знаю, чего я хочу: я не хочу умирать.

— Но нельзя же отказаться от войны, Фердинанд! Только трусы и сумасшедшие отказываются от войны, когда родина в опасности.

— В таком случае, да здравствуют сумасшедшие и трусы! Или, вернее, да живут и переживут всех трусы и сумасшедшие! Можете ли вы, например, вспомнить, Лола, хоть одно имя солдата, убитого во время Столетней войны? Хотелось ли вам когда-нибудь узнать, как кого-нибудь из них звали?.. Нет ведь?.. Никогда не интересовались?.. Для вас это анонимные, ненужные люди, они вам более чужды, чем последний атом этого пресс-папье перед вами, чем то, что вы оставляете по утрам в уборной. Вот видите, Лола, значит, они умирали зря! Абсолютно зря, кретины этикие! Уверяю вас, утверждаю! Это уже доказано! Единственное, что следует принимать в расчет, — это жизнь. Хотите пари, что через десять тысяч лет эта война, которая сейчас нам кажется замечательной, будет совершенно забыта?.. Разве что дюжина каких-нибудь ученых будет

спорить о датах самых значительных гекатомб... Это все, что люди считают достойным памяти через несколько веков, несколько лет или даже несколько часов... Я не верю в будущее, Лола.

Когда Лола открыла, что я даже хвастаюсь своим позорным состоянием, она перестала меня жалеть. Она окончательно сочла меня достойным только презрения.

Она решила немедленно меня бросить. Это было уж слишком. Когда я ее проводил вечером до дверей нашего учреждения, она меня не поцеловала.

Она решительно не могла допустить, что приговоренный к смерти не чувствует призвания умереть. Когда я ее спросил, как поживают наши олады, она мне даже не ответила.

Вернувшись в палату, я застал Преншара перед окном: окруженный солдатами, он примерял очки, защищающие глаза от газового освещения. Эта мысль, объяснял он нам, пришла ему в голову на берегу моря, во время каникул, и так как теперь было лето, то он хотел их носить днем в парке. Парк был огромный, хорошо охраняемый отрядами больничных служителей. На следующий день Преншар настоял на том, чтобы я вышел с ним на террасу попробовать его замечательные очки. Великолепный день сиял вокруг Преншара, защищенного матовыми стеклами; я заметил его прозрачные ноздри и стремительное дыхание.

— Вот, милый мой, — доверчиво обратился он ко мне, — время идет, но оно работает не на меня... Моя совесть недоступна для угрызений, я, слава Богу, от подобной робости освобожден... Не преступления имеют значение в этом мире — от этого давно отказались, — а промахи... Кажется, я промахнулся... И самым непонятным образом...

— Воруя консервы?

— Да. Я думал, что это очень ловкий способ, представьте себе! Чтобы выйти из битвы таким позорным способом, но вернуться в мир живым, как выплываешь обессиленный, после того как нырнешь, на поверхность... Мне это почти удалось... Но война, несомненно, продолжается слишком долго... Чем дольше война затягивается, тем труднее себе представить людей достаточно отвратительными, чтобы вызвать отвращение родины. Родина стала бесконечно снисходительной, выбирая своих мучеников. Сейчас уже нет больше солдат, недостойных носить оружие и главное — умирать при оружии и от оружия... По последним сведениям, из меня собираются сделать героя!.. Надо было погромному бешенству зайти очень далеко, чтобы начали прощать кражу банки консервов! Что прощать — забыть! Когда нищий крадет и этим как бы хитростью индивидуально

возвращает себе отнятое, понимаете?.. Куда мы идем в таком случае? Заметьте, что репрессии против мелкой кражи существуют под всеми широтами. Тем не менее до сих пор за мелкими ворами оставалось в республике то преимущество, что оно отнимало у них привелегию носить патриотическое оружие. Но с завтрашнего дня этот порядок будет изменен, и я, несмотря на то, что я вор, должен занять свое место в армии... Таков приказ... И так далее и так далее.

Но из сада кто-то звал Преншара. Главный врач спешно посылал за ним дежурного.

— Иду, — отвечал Преншар.

Он только успел передать мне черновик своей речи, которую проверял на мне. Актерский трюк. Я его больше никогда не видел. Он страдал общим недостатком интеллигентов — суетностью. Он знал слишком много вещей, и они его пугали. Ему нужна была куча всяких штук, чтобы решиться на что-нибудь, чтобы прийти в необходимое для этого состояние.

Я никогда не старался узнать, что с ним случилось и «исчез» ли он действительно, как мне передавали. Но лучше было бы, если б он действительно исчез.

Наш будущий тревожный мир пускал ростки еще в самой войне.

Некоторое представление об этой истерике можно было получить по его бурному поведению в таверне «Олимпия». Внизу, в большом подвале-дансинге, раскосо поглядывающем сотнями зеркал, он бился в пыли и отчаянии негро-иудео-саксонской музыки. Британцы и негры вперемешку, люди с Востока и русские, воинственные и меланхоличные курили, орали на алых диванах. Эти полузабытые теперь военные формы были семенами сегодняшнего дня, который растет еще сейчас и мало-помалу позже превратится в навоз.

Проводя каждую неделю в «Олимпии» несколько часов, мы, раздражившись, шли целой компанией с визитом к нашей бельевице-перчаточнице-продавице книг мадам Эрот, в тупике Березина за «Фоли бержер», теперь больше не существующем, куда девочки выводили собачек делать свои дела.

Мы ходили туда искать оцупью свое счастье, на которое так яростно накидывался целый мир. Мы немножко стыдились таких желаний, но отказываться от них не приходилось. От любви отказаться еще труднее, чем от жизни. Вот так и живешь в этом мире, то убивая, то любя — все разом. «Я тебя ненавижу!.. Я тебя люблю!..» Так защищаешься, так поддерживаешь себя, передавая жизнь двуногому существу следующего



века, неистово, во что бы то ни стало, как будто это так уж невероятно приятно видеть собственное свое продолжение, как будто это в конце концов может дать нам вечность. Охота целоваться, несмотря ни на что.

Психически я чувствовал себя лучше, но вопрос о моей военной службе оставался невыясненным. Время от времени меня отпускали в город. Так вот, бельевицу нашу звали мадам Эрот. У нее был до того низкий лоб, что сначала это как-то даже озадачивало; зато губы ее так хорошо улыбались, такие они были пухлые, что потом неизвестно было, как от них отделаться. Под сенью потрясающей изворотливости и незабываемого темперамента ютился целый ряд простейших вожделений, жадно и молитвенно коммерческих. В несколько месяцев благодаря союзникам и главным образом благодаря своим чреслам она составила себе приличное состояние. Нужно сказать, что ее освободили от яичников, вырезав их в прошлом году, после воспаления. На этом освободительном выхолащивании она и составила себе состояние. Так женский триппер может оказаться благословением Божиим. Женщина, которая постоянно заботится о том, чтобы не забеременеть, вроде калеки и никогда не пойдет далеко.

И старые и молодые думали — так мне тогда казалось, — что в задних комнатах бельево-книжных лавок можно по дешевке побаловаться. Каких-нибудь двадцать лет тому назад это так и было, но с тех пор много чего больше не делается, особенно из приятных вещей. Англо-саксонский пуританизм так нас высушил, что от этих экспромтов в задних комнатах магазинов почти что ничего не осталось. Все сейчас же превращается в брак.

Мадам Эрот сумела воспользоваться последними льготами касательно того, чтобы получать удовольствие на ходу, по дешевке.

Как-то в воскресенье некий комиссар прошел мимо ее магазина, зашел и так остался там. Счастье их шуму не наделало. В тени бредовых воззваний газет, требующих последних патриотических жертв, размеренная, предусмотрительная жизнь продолжалась, маскируясь еще более обыкновенного. Таковы лицо и изнанка, как тень и свет, той же медали.

Комиссар мадам Эрот отдавал капиталы своих друзей и, когда они подружились, капиталы мадам Эрот под проценты в Голландию. Галстуки, бюстгальтеры, рубашонки, которые она продавала, привлекали клиентов и клиентов.

Сколько встреч, чужестранных и национальных, произошло в розовом свете занавесочек, под путанные фразы хозяйки! Болтливая, надушенная до

обморока, она могла бы внушить фривольность самому прогорклому, больному печени человеку. Во всей этой мешанине мадам Эрот не только не теряла головы, а даже получала выгоду — деньгами, во-первых, оттого что она брала некоторую долю с состоявшихся сентиментальных сделок, потом уж от одного того, что вокруг нее происходило столько любовных историй: она беспрестанно соединяла и разъединяла парочки сплетнями, намеками, предательством.

Не останавливаясь ни перед чем, она безостановочно выдумывала драмы и безоблачное счастье. Она поддерживала жизнь страстей. Торговала она от этого еще бойчей.

Пруст, сам полупризрак, с необычайным упорством плутал в бесконечно расслабляющей суете обычаев и поступков, в которых путаются люди большого света, призраки желаний, нерешительные развратники, без конца ожидающие какого-то своего Ватто, вялые искатели маловероятных Цитер. Мадам Эрот вышла из народа и крепко держалась за землю солидными вождениями, тупыми и точными.

Она была не хуже, чем большинство коммерсантов, но она так старалась доказать обратное, что невольно запоминалась. Магази́нчик ее был не только местом встреч, он был также чем-то вроде лазейки в мир богатства и роскоши, куда, несмотря на все мое желание, я никогда раньше не мог попасть и откуда, кстати сказать, меня быстро и болезненно удалили после краткого в него вторжения, первого и единственного.

Богатые люди в Париже живут все вместе; принадлежащие им кварталы составляют как бы кусок, вырезанный из круглого торта, на который похож город: острый конец этого куска подходит к Лувру, а широкий, круглый край останавливается у деревьев между мостом Отей и заставой Терн.

Это хороший кусок города. Все остальное лишь страдание и навоз.

Когда переходишь на ту сторону, где живут богатые, то сначала не замечаешь большой разницы с другими кварталами, разве что улицы немного чище, и все. Чтобы сделать экскурсию во внутренний мир этих людей и этих вещей, нужно рассчитывать на случай или близость с ними.

Через магазинчик мадам Эрот можно было подойти немного ближе к этим неприступным местам благодаря аргентинцам, которые спускались сюда из привилегированных кварталов, чтобы покупать кальсоны и рубашки и побаловаться с прекрасным ассортиментом тщеславных подруг мадам Эрот, артисток и музыкантш, хорошо сложенных и привлеченных ею специально для этого дела.

К одной из них, должен сказать, я привязался слишком сильно — я, который мог предложить ей, как говорится, только мою молодость. В этом круге ее называли Мюзин.

В тупике Березина все друг друга знали, все магазины были знакомы друг с другом, совсем как в провинции. Забившись в щель между двумя улицами Парижа, все друг за другом подсматривали и по-человечески клеветали друг на друга до безумия.

Много магазинов прогорело из-за войны, в то время как магазин мадам Эрот благодаря молодым аргентинцам, денежным офицерам и советам друга процветал, что давало повод для всяческих комментариев, выраженных ужаснейшими словами.

Отметим, например, что в этот же период знаменитая кондитерская № 112 потеряла всех своих красавиц клиенток вследствие мобилизации. Прекрасным посетительницам в длинных перчатках приходилось теперь ходить пешком (так много реквизировали лошадей), и они перестали посещать кондитерскую: они так никогда и не вернулись.

Что касается Самбане, переплетчика нот, он никак не мог отказать себе в удовольствии изнасиловать какого-нибудь солдата. Эта дерзость, которая так некстати обуяла его в один прекрасный вечер, страшно ему повредила во мнении некоторых патриотов, которые тут же обвинили его в шпионстве. Ему пришлось прикрыть магазин. В сущности, одна только мадам Эрот на пороге новой эры, в которую вступало белье, тонкое и демократическое, с легкостью составила себе состояние.

Магазины посылали друг другу анонимные письма — и какие! Что касается мадам Эрот, то она предпочитала посылать письма высокопоставленным лицам. Премьеру, например, она писала лишь для того, чтобы уверить его в том, что ему изменяет жена, а генералу Петену по-английски, с помощью словаря, чтобы позлить его.

Среди ее клиентов и протеже было много маленьких актрисочек, у которых за душой было больше долгов, чем платьев. Мадам Эрот давала всем советы, и советы эти всегда оказывались очень полезными. Между ними оказалась и Мюзин, самая прелестная из всех, по-моему. Настоящий музыкальный ангелочек, не скрипочка, а восторг — восторг не без опыта, должен сказать, она мне это потом доказала. Непоколебимая в своем желании добиться всех земных благ, не надеясь на блага небесные, она, как могла, играла в одноактной пьесе театра «Варьете», совершенно очаровательной, очень парижской пьесе, сейчас всеми забытой.

Она появлялась со скрипкой в певучем прологе в стихах. Очаровательный и сложный жанр.

Чувство мое к ней было так сильно, что я проводил время в большой спешке между госпиталем и ее выходом после окончания театра. Кстати, обычно не я один ее поджидал. Сухопутные военные уводили ее один за другим; с еще большей легкостью это удавалось авиаторам, но пальма первенства, несомненно, оставалась за аргентинцами. Их торговля молодым мороженым мясом благодаря новым обстоятельствам принимала размеры стихийной силы природы. Мюзин хорошо попользовалась этими днями спекуляции. И хорошо сделала: аргентинцы больше не существуют.

Я ничего не понимал. Она мне изменяла со всем и всеми, с женщинами, деньгами и мыслями. И грустно мне это было. Теперь мне случается встретить Мюзин раз в два года или даже реже, как почти всегда это бывает с людьми, которых очень хорошо знал. Два года — это срок, необходимый для того, чтобы с первого взгляда, безошибочно, как будто инстинктивно, отдать себе отчет во всех уродствах, которые заклеили лицо, даже в свое время очаровательное.

С минуту сомневаешься и потом наконец принимаешь его таким, каким оно стало, это лицо, со всей его отвратительной, растущей дисгармонией. Нужно смириться, признать эту старательно, медленно выгравированную двумя годами карикатуру. Признать время, наше подобие. Только тогда можно сказать, что вполне узнал человека (как иностранную монету, которую сначала не знаешь — брать, нет ли), что стоишь на верной дороге, что не ошибся направлением и что, не сговариваясь, мы еще два года шли по той же неминуемой дороге, дороге гниения. Вот и все.

Когда Мюзин встречала меня вот так, случайно, она старалась избежать меня, отвернуться, что-нибудь сделать: такой мы на нее наводили ужас, я и моя большая голова... От меня дурно пахло всем ее прошлым, но я слишком много лет ее знаю, знаю ее возраст, и, что бы она ни делала, ей от меня не уйти. И она не смеет уйти, смущенная моим, для нее чудовищным, существованием. Ей кажется необходимым, ей, такой деликатной, задавать мне idiotские, нелепые вопросы, она ведет себя, как прислуга, которую застаешь на месте преступления. У женщин — душа прислуги. Но, может быть, это отвращение ко мне существует больше в ее воображении, чем на самом деле: так пробую я себя утешать. Может быть, это я сам внушаю ей, что я отвратителен. Может быть, у меня в этом отношении особое дарование. В конце концов, может быть, в уродстве столько же возможностей для искусства, сколько в красоте? Нужно просто начать культивировать этот жанр, только и всего.

Долгое время я думал, что Мюзин дурочка, но это было точкой зрения

самолюбивого и отвергнутого человека. Понимаете, во время войны мы были еще невежественней и самовлюбленней, чем сегодня. Мы тогда почти ничего не знали о том, что вообще делается на свете; словом, люди мы были несознательные...

Субчики в моем роде тогда еще легче, чем сейчас, принимали черное за белое. Оттого, что я был влюблен в Мюзин, оттого, что она была так прелестна, мне казалось, что я приобретаю всяческие возможности, в особенности храбрость, которой мне так не доставало, и все это потому, что моя милая была так прелестна и что она была такой прекрасной музыкантшей. Любовь — как спиртные напитки: чем человек беспомощней и пьянее, тем он чувствует себя могущественнее, и хитрее, и увереннее в своих правах.

Мадам Эрот, двоюродная сестра многочисленных погибших героев, никогда больше не выходила из своего тупика иначе, как в глубоком трауре; и то она бывала в городе очень редко, так как ее комиссар был довольно-таки ревнив. Мы собирались в столовой за магазином, которая благодаря прекрасным делам начинала смахивать на настоящий маленький салон. Мы приходили туда поболтать, мило, прилично поразвлечься при свете газовой лампы. Мюзиночка за роялем нас очаровывала классиками, одними лишь классиками, считаясь с приличиями тяжелых дней. Мы просиживали плечом к плечу, лелея наши общие секреты, наши страхи и наши надежды.

Служанка мадам Эрот, недавно к ней поступившая, очень интересовалась тем, когда же все наконец переженятся. У нее в деревне свободная любовь была не в ходу. Все эти аргентинцы, офицеры, все эти рыскающие взад и вперед клиенты наводили на нее почти животный страх.

Мюзин все чаще проводила время с аргентинскими клиентами. Таким образом я досконально изучил и кухни, и прислуг этих господ: так часто мне приходилось поджидать мою любимую в лакейской. Кстати, лакеи принимали меня за кота. А потом вообще стали принимать меня за кота, включая Мюзин, одновременно, кажется, и все завсегдатаи магазинчика мадам Эрот. Я тут был ни при чем. Кроме того, все равно рано или поздно приходится в глазах людей занять какое-нибудь социальное положение.

Я получил от военных властей еще раз отсрочку на два месяца, и даже поговаривали о том, чтобы окончательно меня забраковать. Мы решили с Мюзин поселиться вместе в Бийанкуре. На самом деле это было просто хитростью с ее стороны, чтобы отделаться от меня: она пользовалась тем, что мы жили так далеко, и домой возвращалась все реже и реже. Она всегда находила какой-нибудь предлог, чтобы остаться ночевать в Париже.

Тихие ночи Бийанкура оживлялись иногда пустяковыми тревогами по

поводу аэропланов и цеппелинов, благодаря которым городские жители могли себе позволить испытать некоторую дрожь. Поджидая любимую, я шел, когда темнело, к мосту Гренель; тень от реки доползает до полотна метро, где в полнейшей мгле четками натянуты фонари и груда металла с грохотом вонзается прямо в чрево больших домов набережной Пасси.

В городе есть такие уголки, до того по-глупому безобразные, что там почти никогда никого не встречаешь.

В конце концов Мюзин стала возвращаться к нам домой только раз в неделю. Все чаще и чаще стала она сопровождать певцов к аргентинцам. Она могла бы играть и зарабатывать на жизнь в кинематографах, куда мне было гораздо проще заходить за ней, но аргентинцы были веселы и хорошо платили, в то время как в кинематографах было грустно и платили плохо. Предпочитать одно другому — это и есть жизнь.

Тогда, чтобы окончательно меня погубить, появился «Театр для армии». Мюзин тут же завела все необходимые связи в министерстве и все чаще и чаще стала уезжать на фронт развлекать наших солдатиков — и это по целым неделям. Там она преподносила сонату и всякие адажио генеральному штабу, расположившемуся в партере, чтобы удобнее было любоваться ее ногами. Солдаты, в амфитеатре за ними, получали только слуховое удовольствие. После этого она, естественно, проводила какие-то очень сложные ночи в гостиницах военной зоны. Раз как-то вернулась ко мне веселая, с дипломом за храбрость в руках, подписанным одним из самых славных генералов, не кем-нибудь! Этот диплом положил начало ее карьере. Повсюду ее чествовали. Все сходили с ума по ней, по моей Мюзин, по очаровательной «скрипачке войны»! Такая свежая, кудрявая, да еще героиня. От этого кокетливого героизма можно было положительно голову потерять. Ах! Уверяю вас, судовладельцы из Рио готовы были подарить свое имя, все свои акции этой девушке, которая придавала столько женской прелести воинственной французской доблести.

Нельзя отрицать, что Мюзин сумела составить себе очаровательный репертуар из военных авантур, которые, как кокетливая шляпка, ей были очень к лицу. Она часто удивляла меня самого чувством такта, и я должен был признать, что рядом с ней, когда начинал плести что-нибудь про фронт, сам себе казался грубым симулянтом. Она обладала необычайной способностью находчиво переносить свои рассказы в какую-то драматическую даль, где все становилось драгоценным и значительным. Все, что мы, вояки, — я это внезапно понял, — могли натворить, было грубо и недолговечно. Красавица работала на вечность.

Поверь Клоду Лоррену — первый план картины всегда внушает

отвращение, и искусство требует, чтобы весь интерес произведения сосредоточивался вдаль, в неуловимом, там, где укрылась ложь, эта мечта, заимствованная у действительности, — единственная любовь человека. Женщина, которая умеет считаться с вашей натурой, с легкостью становится необходимой нам, высшей надеждой. Мы ждем от нее, чтобы она сохранила для нас обманчивый смысл существования, но пока что, исполняя эту волшебную обязанность, она может зарабатывать себе на пропитание... Мюзин так и поступала, совершенно инстинктивно.

Аргентинцы эти расположились около заставы Терн, у входа в Булонский лес, в маленьких, плотно закрытых блестящих особнячках, где зимой так уютно и тепло, что, не заходя туда с улицы, вы невольно вдруг начинаете чувствовать себя оптимистом.

В трепетном отчаянии я решил, как я уже говорил, для того, чтобы проделать все глупости подряд, не пропустив ни одной, ходить возможно чаще в лакейские поджидать мою подругу. Иногда я терпеливо ждал до утра, но ревность не давала мне спать, также и белое вино, которое прислуга мне щедро подливала. Аргентинских господ я видел редко, я слышал их песни, трескучий испанский язык и безостановочную игру на рояле, на котором большей частью играли другие руки, не руки Мюзин. Что же эта стерва делала в это время своими руками?

Когда она меня встречала утром у дверей, она делала гримасу. В те времена я еще был примитивен и не хотел отдавать мою красавицу, как пес не хочет отдать кость...

Большую часть молодости теряешь по собственной неловкости. Было совершенно очевидно, что любимая скоро бросит меня, и навсегда. Тогда еще меня не научили тому, что есть два человечества, ничего общего друг с другом не имеющие: богатые и бедные. Мне понадобилось, как многим другим, двадцать лет и война, чтобы научить меня оставаться в моей категории, спрашивать, сколько стоят вещи и живые существа, прежде чем дотронуться до них, а главное, прежде чем привязаться к ним.

Греясь в лакейской рядом с моими приятелями лакеями, я не понимал, что над моей головой танцуют американские боги; они могли бы быть и немцами, французами, китайцами — это было неважно, но это были боги: богатые. Вот что следовало понять. Они наверху — с Мюзин, я внизу — ни с чем. Мюзин серьезно задумывалась относительно своего будущего; она предпочитала соединить его с богами. Я тоже, конечно, думал о моем будущем, но в какой-то горячке, потому что все время под сурдинку во мне сидел страх быть убитым на войне и страх умереть с голоду в мирные времена. Смерть выпустила меня на поруки, и я был влюблен. Это вовсе не

было кошмаром. Недалеко от нас, меньше чем за сто километров, миллионы людей, храбрых, хорошо вооруженных, образованных, ждали меня, чтобы расправиться со мной: ждали и французы, чтобы содрать с меня шкуру в том случае, если я не соглашусь отдать себя на растерзание тем, кто напротив.

Для человека бедного на этом свете есть два способа, чтобы околеть: либо от абсолютного равнодушия себе подобных, либо от человекоубийственной мании тех же самых во время войны. Если их мысли останавливаются на вас, они сейчас же думают о пытках, только об этом. Они интересуются вами, только когда вы окровавлены, сволочи!

Так как Мюзин меня избегала, я начал принимать себя за идеалиста. Так называешь свои собственные мелкие инстинкты, ты одеваешь их в громкие слова. Моя отсрочка подходила к концу. Газеты били в набат, требуя призыва всех бойцов, которых только можно было пригнать, и, конечно, в первую голову тех, у которых не было связей. Официально нельзя было думать ни о чем другом, кроме как о том, чтобы выиграть войну. Мюзин очень хотелось, в точности как и Лоле, чтобы я живехонько, без промедлений был отправлен на фронт, а так как я все задерживался, она начала действовать сама и довольно решительно, что вообще было не в ее привычках.

Раз как-то вечером, когда мы случайно возвращались вместе в Бийанкур, проезжают трубачи-пожарные, и все жильцы нашего дома кидаются в подвал в честь какого-то цеппелина.

Эта пустяковая паника, во время которой целый квартал в пижамах, со свечками исчезал в каких-то глубинах, чтобы спастись от почти что воображаемой опасности, показывала всю страшную пустоту этой банды, которая превращалась то в испуганных кур, то в самовлюбленных благосклонных баранов.

С первым же ударом Мюзин забыла, что в «Театре для армии» ее только что благодарили за храбрость. Так как я сопротивлялся и не хотел прятаться, Мюзин начала хныкать. Жильцы тоже стали настаивать, и я наконец согласился. Стали думать, в какой подвал скрыться. Наконец порешили на погребе мясника, говорили, что он лежит глубже всех остальных. Уже на пороге в нос ударил острый запах, хорошо мне знакомый и совершенно невыносимый.

— Мюзин, ты спустишься туда, где висит столько мяса на крючках? — спросил я ее.

— Почему же мне не спуститься? — ответила она почти удивленно.

— Ну, а мне это многое напоминает, и я предпочитаю остаться



наверху.

— Значит, ты уйдешь?

— Ты придешь ко мне наверх, как только это кончится.

— Но ведь это может продолжаться очень долго...

— Я предпочитаю ждать тебя наверху, — сказал я ей. — Я не люблю мяса, и это скоро кончится.

Во время тревоги жильцы обменивались легкомысленными любезностями. Некоторые дамы в капотах, прибежавшие последними, прислонялись уверенно и элегантно к пахучим сводам, под которыми их любезно принимали мясник и мясничиха, извиняясь за искусственный холод, необходимый для того, чтобы товар их хорошо сохранялся.

Мюзин не вернулась. Я ждал ее наверху ночь, целый день, год... Она никогда больше ко мне не пришла.

Лично меня с тех пор стало очень трудно удовлетворить. У меня были только две мысли в голове: спасти свою шкуру и уехать в Америку. Но для начала пришлось в течение многих месяцев заниматься до потери сознания тем, чтобы увилить от войны.

«Пушек! Людей! Оружия!» — вот что без устали требовали патриоты. Представьте, нельзя было больше спокойно спать, пока бедная Бельгия и невинный маленький Эльзас будут находиться под немецким игом. Все были одержимы этой мыслью, и лучшим среди нас она мешала дышать, есть, делать детей. Делать дела она как будто не мешала. Настроение в тылу было бодрое, это не подлежало сомнению.

Надо было спешно возвращаться в полк. Но после первого же осмотра состояние мое было признано ниже среднего: я был годен только на отправку в госпиталь, на этот раз — в госпиталь для нервно- и костнобольных. Как-то утром мы вшестером вышли из депо, три артиллериста и три драгуна, раненные и больные, в поисках того места, где чинят потерянную доблесть, утраченные рефлексy и сломанные руки. Сначала мы прошли, как все раненные в эту эпоху, через контроль в Валь-де-Грас, благородную пузатую крепость с бородой из деревьев, где в коридорах сильно пахло омнибусом — запах, сегодня, должно быть, навсегда исчезнувший, смесь из запаха ног, соломы и масляных светильников. В Валь-де-Грас мы не задержались. Едва мы появились, как на нас наорали два офицера, переутомленные и покрытые перхотью. Они пригрозили нам военно-полевым судом, а какие-то другие администраторы выбросили нас на улицу. Здесь для нас не было места, сказали они нами показали дорогу в каком-то неопределенном направлении: бастион где-то в окрестностях города.

Так, от одного трактира к другому, от одного бастиона к другому, от абсента к чашке кофе, шли мы вшестером на произвол случайных направлений, в поисках того нового убежища, которое как будто специализировалось на бездарных героях в нашем роде.

Только у одного из нас шестерых было кое-какое имущество, которое, нужно сказать, помещалось целиком в жестяной коробке из-под бисквитов Перно. В то время марка Перно была очень знаменита, с тех пор я больше о ней не слышал. В коробке наш товарищ держал папиросы и зубную щетку; мы даже над ним смеялись, что он так заботится о своих зубах — в то время это случалось нечасто. Нам казалось это настолько необычайно утонченным, что мы называли его за это педерастом.

Наконец мы подошли после долгих колебаний, уже к середине ночи, к набухшим тьмою насыпям бастиона Бисетр — его называли 43-м. Его-то мы и искали...

Он только что был отремонтирован для приема инвалидов и стариков. Сад даже еще не был закончен. Когда мы прибыли, то в качестве жителей там на военной половине находилась одна только консьержка.

Шел здоровый дождь. Консьержка нас испугалась, но мы сразу ее насмешили, ухватив за причинное место.

— Я думала, что это немцы! — воскликнула она.

— Они далеко, — отвечали мы.

— Что у вас болит? — беспокоилась она.

— Все, кроме... — ответил один из артиллеристов. Ну, это, надо отдать справедливость, было остроумно, и консьержка это очень оценила. Позже в этом самом бастионе жили с нами старики из «Общественного призрения». Для них спешно выстроили новые здания, где были стены почти сплошь из стекла, и их держали там до конца неприятельских действий, как насекомых.

В госпитале у нас было чисто, как это бывает, в течение нескольких недель, в самом начале. Надо торопиться, чтобы увидеть вещи в таком состоянии, так как у нас никто не любит ухаживать за вещами, можно даже сказать, что все ведут себя в этом отношении как настоящие пачкуны. Значит, говорю я, легли мы кое-как при лунном свете на металлические кровати; помещение было такое новое, что электричество к нему еще не подвели.

С утра пришел познакомиться с нами наш новый главный врач, очень довольный, что видит нас, очень радушный. У этого человека были прекраснейшие в мире глаза, бархатные, сверхъестественные. Он ими широко пользовался, волнуя наших добровольных сестер милосердия,

которые, все четыре, окружали его вниманием и жестами, не спускали глаз со своего главного врача. С первой же встречи он нас предупредил, что завладеет нашей психикой. Просто, фамильярно, положив руку на плечо одного из нас, ободряющим голосом он начертил нам правила и самую короткую дорогу, чтобы решительно и быстро идти на смерть.

Откуда бы врачи ни происходили, они, очевидно, думали об одном и том же. Как будто им от этого было легче. Это было новейшее извращение.

Франция доверилась вам, друзья мои. Это женщина, это прекраснейшая из женщин, Франция! — начал он. — Франция, жертва самого подлого, самого ужасного нападения, надеется на ваш героизм! Она вправе ожидать от своих сынов, что они отомстят за нее. Франция вправе надеяться на то, что ей целиком вернут ее владения, даже ценой величайших жертв! Что касается нас, то все мы здесь исполним наш долг, исполните же и вы его! Наша наука принадлежит вам! Она ваша! Все средства будут отданы на ваше излечение! Помогите и вы нам своей доброй волей! Я знаю, что вы нам в ней не откажете! И да вернется к вам скорее возможность занять ваше место в окопах рядом с вашими дорогими товарищами! Ваше священное место! На защиту столь любимой вами земли. Да здравствует Франция! Вперед!

Он знал, как надо говорить с солдатами.

Каждый из нас стоял навтыжку в ногах у своей кровати, слушая его. Стоящая за ним брюнетка из группы хорошеньких сестер плохо справлялась со своим волнением, слезы выдавали ее. Остальные сестры, ее подруги, кинулись к ней и сейчас же:

— Милая! Дорогая! Поверьте!.. Он вернется... Перестаньте!..

Лучше всего ее утешала ее кузина, пухленькая блондинка. Проходя мимо, она шепнула нам, что ее душка-кузина была в таком состоянии из-за близкого отъезда жениха, мобилизованного во флот. Темпераментный, несколько потерявшийся мэтр старался как-нибудь исправить это прекрасное и трагическое волнение, вызванное его коротким и полным чувства воззванием. Смущенный и огорченный, стоял он перед ней. Он разбудил слишком мучительное беспокойство в редчайшем из сердец, полном пафоса, нежности и чувствительности..

— Если бы вы знали, мэтр, — продолжала шептать белокурая кузина, — мы бы вас предупредили... Они так нежно друг друга любят!..

Группа сестер и сам мэтр исчезли, переговариваясь и шебурша по коридору. Нами больше не занимались.

Здесь, в госпитале, так же как в хаосе Фландрии, нас мучила мысль о смерти; только здесь она грозила нам издалека, но здесь, так же как и там,

непреклонная смерть, которую заботами администрации науськивали на нас.

Сестры, эти стервы, не делили с нами нашей участи. Они, наоборот, для контраста думали о том, как долго они еще проживут; жить и любить — вот о чем они думали, это ясно, гулять и тысячи, десятки тысяч раз заниматься любовью. У каждой из этих ангельских существ был, как у каторжников, свой план на будущее время, свой любовный план на то время, когда мы уже будем гнить в грязи Фландрии, погибнув Бог знает как!

Они только будут испускать специально поминальные вздохи нежности, которые им очень к лицу; взволнованным молчанием они воздадут должное трагическим дням войны, видениям... «Вы помните этого Бардамю? — будут говорить в сумерки, вспоминая меня. — Тот самый, который все кашлял, несмотря на лекарства... У него было такое тяжелое настроение, у бедненького... Интересно, чем он кончил...»

Несколько поэтических воспоминаний, вовремя вызванных, ложатся на женщин, как лунный свет на пушистые волосы.

За каждым их словом, за их вниманием крылось, и надо было понимать это, следующее: «Пожалуйста, поскорее околея, миленький военный... Пускай война кончится скорей, чтоб можно было выйти замуж за одного из ваших приятных офицеров. Особенно за брюнета... Да здравствует родина! — как говорит папа... Как хорошо будет его любить, когда он вернется с войны!.. У моего мужа будут ордена... Он будет благороден... Вы сможете почистить его сапоги в день нашей свадьбы, если вы тогда еще будете живы, солдатик... Разве вы не будете радоваться нашему счастью, солдатик?»

Каждое утро нас навещал главный врач, окруженный сестрами. Мы узнали, что он ученый.

Вокруг отведенных нам зал хромали старички из соседней богадельни. Как только было решено, что мы, солдаты, будем делить с этими стариками относительный комфорт бастиона, они принялись нас ненавидеть хором, не переставая в то же время кланяться у нас остатки табака и огрызки упавшего под лавки хлеба. Во время обеда их восковые лица прилипали к окнам нашей столовой.

Наш главный врач с прекрасными глазами, профессор Бестомб, оборудовал госпиталь блестящими сложнейшими электрическими машинами, с помощью которых он собирался вернуть нам душу. Мы подвергались лечению электричеством. Считалось, что ток имеет укрепляющее действие, и надо было его терпеть под страхом исключения

из госпиталя. По всей вероятности, Бестомб был очень богат: надо было быть очень богатым, чтобы закупить весь этот дорогой электрический хлам. Его тесть, крупный политический деятель, столько накрал во время покупки земли государством, что доктор мог себе это позволить.

Надо было этим пользоваться. Все улаживается. Преступления и наказания. Мы довольствовались тем, какой он есть, и ненавидели его. Он с необычайным вниманием исследовал нашу нервную систему и задавал нам вопросы вежливо — фамильярным тоном. Это тщательно наигранное добродушие приятно развлекало наших аристократических сестер милосердия. Барышни каждое утро ждали этого момента, их радовала его приветливость — мед, да и только! Все мы играли в пьесе, в которой Бестомб выбрал себе роль доброго и глубоко человеческого ученого; дело стало за одним: надо было сговориться.

В этом новом госпитале я лежал в одной палате с сержантом Бранледором, вторично призванным; он был давним гостем госпиталей, этот Бранледор. Уже много месяцев таскал он свой продырявленный кишечник из одного отделения в другое.

За время своего пребывания в госпиталях он научился приобретать симпатии и привязывать к себе сиделок. Его рвало, он мочился, и его поносило кровью довольно часто, ему было также очень трудно дышать, но всего этого было еще недостаточно для того, чтобы завоевать симпатии выдавшего виды персонала. Тогда между двумя приступами удушья, если поблизости проходил врач или сиделка, Бранледор начинал шептать или выкрикивать во всю силу своих легких, в зависимости от случая: «Победа! Победа! Мы победим!» Таким образом он находился в соответствии с пламенной наступательной литературой и с помощью удачной инсценировки добился наивысшей моральной котировки. Да, это был трюк хоть куда!

Так как все кругом было театром и везде надо было играть, то Бранледор был совершенно прав: ничего не может быть глупее и ничто так не раздражает, как бездействующий, случайно попавший на сцену зритель. Уж раз ты туда попал, то нужно говорить в тон, оживляться, играть или же исчезнуть со сцены. Особенно женщины требовали зрелищ; они были безжалостны, стервы, по отношению к смущенным любителям. Несомненно, война действовала на яичники, они требовали героев, и те, которые не были героями, либо должны были объявить это с самого начала, либо подвергнуться самой ужасной, самой отвратительной участи.

Через недельку мы поняли, что надо было перестроиться, и благодаря Бранледору (в обыкновенной жизни — коммивояжер, продающий кружева)

те самые перепуганные люди, ищущие темных уголков, угнетенные позорными воспоминаниями о бойне, какими мы были вначале, превратились в одержимую банду парней, решивших добиться победы и, поверьте, щедро вооруженных потрясающими разговорами. Язык у нас стал до того выразительный, что наши дамы иногда даже краснели, но все-таки никогда не жаловались на это, — ведь всем известно, что солдат храбр и беспечен, часто груб и что чем он грубее, тем храбрее.

Вначале, несмотря на то, что мы подражали, как умели, Бранледору, наши патриотические выступления как-то не совсем еще созрели и были неубедительны. Нужно было неделю, даже добрых две недели непрерывных репетиций, чтобы наконец выработать правильный тон.

Как только наш врач, профессор Бестомб, как только этот ученый заметил, насколько блестяще идут на поправку наши моральные качества, он решил для поощрения позволить нам свидания, начиная со свиданий с родными.

До меня дошли слухи, что некоторые талантливые солдаты чувствуют во время боев нечто вроде опьянения и даже определенное наслаждение. А я как только пробовал представить себе это своеобразное наслаждение, то заболел по крайней мере на неделю. Я чувствовал себя до того неспособным убивать кого бы то ни было, что не стоило даже и пробовать, лучше было отказаться от этого сразу. Не то чтоб у меня не было опыта, можно сказать, что в этом отношении было сделано все возможное, но у меня не было никакого таланта. Может быть, меня надо было приучать к этому постепенно.

Как-то я решился рассказать профессору Бестомбу, насколько трудно моему телу и духу быть смелым, как бы мне только хотелось и как того требовали несомненно великие обстоятельства. Я немного опасался, что он примет меня за дерзкого и нахального болтуна. Совсем нет. Наоборот! Мэтр выказал большую радость, что в порыве искренности я открыл перед ним свое душевное смятение.

— Вы поправляетесь, Бардамю, мой друг! Вы просто поправляетесь! (Вот что он из этого заключил.) Ваше признание, Бардамю, я рассматриваю как признак оздоровления вашей психики... Водекэн, скромно, но мудро делавший наблюдения над моральным упадком солдат Империи, собрал такого рода наблюдения в отчете, ставшем классическим и несправедливо презираемом теперешними студентами, в котором он отмечал чрезвычайно точно и верно припадки «искренности» как вернейший признак морального оздоровления... Может быть, вам интересно узнать, Бардамю, поскольку мы говорим об этих интересных выводах, что как раз завтра я делаю отчет

в Обществе военной психологии о существенных качествах человеческого разума. Я думаю, что этот отчет имеет свои достоинства.

— Эти вопросы, мэтр, меня страстно интересуют...

— В таком случае, Бардамю, должен вам сказать, я защищаю тезис, что до войны человек оставался для психиатра незнакомцем, источники его духа были загадкой.

— Таково и мое скромное мнение, мэтр...

— Понимаете, Бардамю, война, давая нам несравненные возможности для испытания нервной системы, открывает перед нами человеческий дух! Задумчиво склоняясь над последними патологическими открытиями, мы будем страстно их изучать веками... Надо откровенно признаться, что до сих пор мы только подозревали человеческие богатства чувства и духа. Теперь благодаря войне мы этого добились!.. Мы проникаем — правда, болезненно насилуя их, но для науки в этом есть фатальная необходимость — во внутреннюю жизнь людей. Начиная с первых же открытий долг психолога и современного моралиста стал для меня, Бестомба, совершенно ясен! Необходимо было пересмотреть все наши психологические концепции.

Я, Бардамю, был того же мнения.

— Я думаю, мэтр, что это действительно было бы необходимо...

— Ага! Вы тоже это думаете, Бардамю, вы сами это говорите! Понимаете, в человеке добро и зло находятся в равновесии, с одной стороны — эгоизм, с другой — альтруизм... У людей избранных больше альтруизма, чем эгоизма. Ведь так? Верно?

— Так, мэтр, совершенно верно...

— Я спрашиваю вас, Бардамю, что может явиться у такого избранного человека той высшей сущью, которая вызовет в нем этот альтруизм, заставит его проявиться?

— Патриотизм, мэтр!

— Ага! Вот видите, вы сами это говорите! Вы меня вполне понимаете, Бардамю. Патриотизм и вывод из него — слава, его доказательство!

— Это правда.

— Ах, Бардамю! Заметьте, как наши солдатики при первом же испытании огнем сумели забыть все софизмы, и в особенности софизмы самосохранения. Инстинктивно и сразу они растворились в нашем настоящем смысле существования, в нашей родине. Чтобы подняться до высоты этой истины, не нужно ума, он даже мешает! Родина — это истина, которая живет в сердце, как все первородные истины. Народ не ошибается! Именно там, где плохой ученый заблуждается...

— Как это прекрасно, мэтр! Слишком прекрасно! Это античная красота!

Бестомб пожал мою руку с нежностью.

Голосом почти что отеческим он прибавил лично для меня:

— Вот как я лечу моих больных, Бардамю: тело — электричеством, а дух — хорошими дозами патриотической этики, настоящими впрыскиваниями оздоравливающей нравственности!

— Я вас понимаю, мэтр!

Нужно сказать, что я действительно понимал все лучше и лучше.

Расставшись с ним, я отправился к обедне с моими оздоровленными товарищами в новенькую часовню. Мимоходом я заметил Бранледора, который выражал свою высокую нравственность за входной дверью, где он как раз давал уроки энергии девочке консьержки. Он подозвал меня, и я присоединился к нему.

После обеда к нам приехали в первый раз родственники из Парижа. Потом они стали приезжать каждую неделю.

Я наконец написал матери. Она была рада меня видеть и скулила, как сука, которой вернули щенка. Она, должно быть, думала, что помогает мне тем, что целует меня, но все-таки ей было далеко до суки, потому что ее с легкостью можно было словами убедить отдать меня. Сука по крайней мере верит только тому, что ощущает.

Лола исчезла, Мюзин тоже, у меня никого больше не было. Потому я наконец и написал моей матери. В двадцать лет у меня оставалось уже одно только прошлое. Вдвоем с матерью мы без конца ходили по праздничным улицам. Она рассказала мне о том, что произошло у нее в лавочке, что говорят вокруг о войне: война вещь печальная, даже «ужасная», но нужно только мужество — и мы из нее вылезем; а убитые были для нее только несчастными случаями, как на скачках: надо было хорошенько держаться, тогда не упадешь. Для нее война была новым горем, которое она старалась не слишком беречь. Она как будто боялась этого горя: оно было полно каких-то опасных вещей, которых она не понимала. В сущности, она думала, что маленькие люди вроде нее для того и были созданы, чтобы страдать от всего, что это и было их ролью на земле и что если дела так плохи в последнее время, то это, должно быть, оттого, что они, маленькие люди, что-нибудь такое набедокурили... Должно быть, наделали глупостей, конечно, не нарочно, но все-таки они были виноваты, и надо было быть благодарными уже за то, что им давали возможность страданиями искупить их недостойные поступки... Ничто до нее не доходило, до моей матери...

Этот смиренный и трагичный оптимизм был ее верой и сущностью ее



натуры.

Мы шли под дождем вдоль улиц, разделенных на участки, еще не проданные. Тротуары проваливались и уходили из-под ног. Дрожащие капли на низеньких ясенях цеплялись за ветки и не падали. Жалкая феерия. Дорога в госпиталь шла мимо многочисленных новеньких гостиниц, на которых были написаны названия, другие были еще нетронуты чисты. «Понедельно» — стояло на них, и больше ничего. Война грубо очистила их от живущих в них сезонников и рабочих. Жильцы грубо возвращались даже для того, чтобы умирать. Умирать — это тоже работа, но они с ней справлялись вне дома.

Моя мать провожала меня в госпиталь, хныча по дороге. Она соглашалась на мою смерть и даже беспокоилась, принимаю ли я ее с должным смирением. Она верила в судьбу, как в тот красивый метр из Школы искусств и ремесел, о котором она мне всегда говорила с таким уважением, оттого что, когда она была молода, ей рассказали, что тот метр, которым она пользовалась в своей галантерейной лавке, был точной копией великолепной официальной единицы.

Между участками этой разоренной местности уцелели еще кой-какие поля и огороды и даже несколько крестьян, зажатых между новыми домами и зацепившихся за эти огрызки земли. Когда у нас оставалось время, вечером, возвращаясь в госпиталь, мы ходили с матерью смотреть, как эти странные крестьяне упорно ковыряют железом мягкую крупитчатую вещь — землю, в которую кладут, чтобы они там гнили, мертвецов и откуда все-таки растет хлеб. «Она, должно быть, твердая, земля!» — говорила каждый раз мать в недоумении. Ей были знакомы только тяготы города, похожие на ее собственные, и она старалась понять, какие же тяготы в деревне. Этого единственного любопытства, которое я подметил у матери, хватало на целое воскресенье. Она уносила его с собой в город.

От Лолы у меня не было никаких известий, от Мюзин тоже ничего. Эти стервы, несомненно, остались на солнечной стороне, где царствовал улыбающийся и неумолимый приказ — держать нас на расстоянии, нас, предназначенное для жертвоприношения мяса. Уже во второй раз меня приводили в место, отведенное для заложников. Вопрос времени и терпения.

Я уже говорил, что сержант Бранледор, мой сосед по госпиталю, пользовался постоянной популярностью среди сиделок; он весь был покрыт перевязками и исходил оптимизмом. В госпитале ему завидовали и старались подражать. Как только нашли, что мы достаточно приличны и

морально вполне приемлемы, нас тоже стали навещать люди, с которыми считаются в свете и которые занимают высокое положение в парижской администрации. В салонах начали говорить о том, что нервно-медицинский центр профессора Бестомба превратился в истинное убежище патриотического усердия и пыла, его, так сказать, очаг. С тех пор на наших журфиксах стали бывать не только епископы, но и итальянская герцогиня, один из крупных поставщиков на армию, а потом даже и опера, и актрисы «Французского театра»... К нам приходили, чтобы любоваться нами на месте.

Одна из заслуженных красавиц «Французского театра», которая декламировала, как никто, даже нарочно вернулась к моему изголовью, чтобы продекламировать мне особенно героические стихи. По рыжим развратным волосам с соответствующей кожей во время чтения пробежали удивительные волны, которые, вибрируя, задевали меня по всем местам. Когда божественная расспрашивала меня о моих военных действиях, я ей рассказывал подробности, до того волнующие и до того острые, что она не спускала с меня глаз. Глубоко потрясенная, она испросила разрешения дать вычеканить в стихах одному из ее поклонников-поэтов самые заменательные мои рассказы. Я тут же согласился.

Профессор Бестомб, которому доложили об этом проекте, отнесся к нему чрезвычайно благосклонно. Он даже в тот же день дал интервью по этому поводу одному из сотрудников большого «Национального иллюстрированного журнала», который сфотографировал нас всех вместе на перроне госпиталя рядом с красавицей, заслуженной актрисой.

— Это высокий долг поэтов во время переживаемых нами трагических дней, — объявил профессор Бестомб, который никогда не пропускал ни одного такого случая, — заставить нас снова полюбить эпопею! Теперь больше не время для всяких мелких делишек! Мы требуем величественного дыхания эпической поэмы!.. Что касается меня, то я заявляю, что с восхищением смотрю на этот высокий творческий союз между поэтом и одним из наших героев, которым я руковожу, состоявшийся у нас на глазах. Это незабываемо!..

Наш великий Бестомб принимал также многочисленных знатных иностранцев, ученых, нейтральных, скептических и любопытных. Генеральные инспектора министерства проходили по залам, при саблях, нарядные, набухшие от всякого рода вознаграждений: война омолодила их. Оттого они и были так щедры на отличия и похвалы, эти инспектора. Все шло отлично. Бестомб и его раненные стали гордостью санитарного управления.

Моя прекрасная покровительница из «Французского театра» скоро навестила меня еще раз, в то время как близкий ей поэт заканчивал зарифмовку рассказа моих подвигов. Я встретил этого бледного испуганного юношу где-то в коридоре. Он доверил мне, что тонкость его сердечных фибр, по мнению врачей, была настоящим чудом. Вот отчего врачи, такие заботливые к хрупким существам, не отпускали его в армию, и он решил в качестве компенсации, рискуя своим здоровьем и всеми силами своего духа, выковывать для нас «моральную бронзу нашей победы». Словом, прекрасное оружие в незабываемых, конечно, как всегда, стихах.

Мне на это жаловаться не приходилось, поскольку среди такого количества бесспорно доблестных воинов он выбрал в герои меня.

Надо признаться, что сделали они это с помпой, не жалея затрат. Зрелище было великолепное. Чтение происходило в самом «французском театре», на поэтическом утреннике. Весь госпиталь был приглашен. Когда на сцене появилась моя рыжая трепещущая чтица с широким жестом, в сладострастно облегающих ее талию трехцветных складках, вся зала встала для нескончаемой овации. Несмотря на то, что я был подготовлен, я все-таки был поражен и не мог скрыть это от моих соседей, когда прекрасная моя подруга трепетными стопами, криками старалась дать почувствовать всю драматичность эпизода, который я для нее выдумал. Что касается воображения, то ее поэт еще мог дать мне фору: с помощью пылающих рифм, потрясающих эпитетов он чудовищно раздул плоды моего воображения, и строчки торжественно падали в восхищенной тишине. В середине самого горячего абзаца артистка повернулась к ложе, в которой мы сидели, Бранледор и другие раненные, и, как будто отдаваясь самому доблестному из нас, протянула к нам свои восхитительные руки. Поэт как раз описывал какой-то фантастический подвиг, который якобы я совершил. Я точно не помню, в чем там было дело, но получилось хоть куда! Слава Богу, что когда дело идет о храбрости, то невероятного больше не существует. Публика угадала смысл жеста артистки, и вся зала повернулась к нам с криками радости, вне себя, топотом требуя героя.

Бранледор занимал весь первый ряд ложи и заслонял нас всех: за его перевязками положительно никого из нас не было видно. Нарочно так сел, подлюга!

Но двое из товарищей встали на стулья за ним, и им удалось показаться публике, которая аплодировала и им.

«Стихи написаны про меня! — еле удержался я, чтобы не крикнуть. — Только про меня!» Но я хорошо знал Бранледора: он бы начал ругаться перед всем честным народом и даже полез бы в драку. В конце концов он

вытянулся перед всеми нами. Весь триумф был для него одного, как он того желал. Победенные, мы кинулись за кулисы, и там, к счастью, нам устроили другую оvation. Утешение. Но актриса наша была не одна в своей уборной. Рядом с ней стоял поэт, ее поэт, наш поэт. Он тоже очень мило, как и она, любил солдатиков. Они мне дали это артистически понять. Дела!.. Они повторили это несколько раз, но я ни за что не хотел понять их намеки. Тем хуже для меня: все могло бы чудесно устроиться. Они были люди влиятельные. Я быстро распрощался, обиженный, как дурак. Я был молод.

Повторим пройденное: летчики отняли у меня Лолу, аргентинцы взяли Мюзин, а этот полный гармонии педерастик увел у меня из-под носа великолепную актрису. Как потерянный, я вышел из «Французского театра». В коридорах тушили последние люстры. Трамваи уже не ходили, и я одиноко пешком побрел в госпиталь, в мышеловку, там, на дне невылазной грязи непокорных пригородов.

Скажу по совести, что голова у меня всегда была слабая. Но теперь из-за каждого пустяка у меня начиналось такое головокружение, что я едва что не падал под колеса. Я шел шатаюсь, как пьяный, через войну. У меня совсем не было денег во время моего пребывания в госпитале, кроме того, что мне с великим трудом давала мать. И потому я стал искать способы подработать. Один из моих бывших хозяев показался мне подходящим в этом отношении человеком, и я сейчас же отправился к нему с визитом.

Я очень кстати вспомнил, что в какие-то темные времена, как раз перед войной, я работал у этого Роже Пюта, ювелира около церкви Мадлен, в качестве сверхштатного приказчика. Работа моя у этого забудыги-ювелира состояла в чистке серебра. Серебра в магазине было много, и во время таких праздников, когда принято делать подарки, серебро было трудно содержать в чистоте, так как его постоянно вертели в руках.

Как только кончались занятия на факультете (занятия суровые и бесконечные), я со всех ног бросался в магазин мосье Пюта и там в задней комнате в течение двух или трех часов до обеда старательно чистил мелом всякие его кофейники.

Мне платили обильной пищей на кухне. Кроме того, в мои обязанности входило до начала лекций выводить сторожевых собак магазина. За все вместе мне платили сорок франков в месяц. Ювелирный магазин Пюта сверкал тысячами бриллиантов на углу улицы Виньон, и каждый из этих бриллиантов равнялся по своей ценности многим декадам моего жалования. Кстати сказать, эти драгоценности продолжают сверкать

на том же углу.

Мой хозяин, Пюта, был отдан в распоряжение одному министру: время от времени он правил его автомобилем. С другой стороны — это уже не совсем официально, — Пюта сумел сделаться нужным человеком, снабжая министерство драгоценностями. Высший персонал успешно спекулировал на настоящих и будущих сделках. Чем дольше длилась война, тем драгоценности становились необходимей. Даже самому мосье Пюта иногда бывало трудно удовлетворять все заказы: так много он их получал.

Когда мосье Пюта бывал переутомлен, у него появлялись на лице следы мысли, но только и исключительно в такие минуты. На его отдохнувшем лице, несмотря на несомненную тонкость черт, нельзя было прочесть ничего, кроме гармонии идиотского спокойствия, которое трудно забыть, а когда вспомнишь, то впадаешь в отчаяние...

Жена его, мадам Пюта, составляла неразрывное целое с кассой. Можно сказать, что она никогда от нее не отходила. Ее воспитали для того, чтобы сделать из нее жену ювелира. Честолюбие родителей. Она знала, в чем состоит ее долг. Супруги были счастливы, и касса процветала. Мадам нельзя было назвать уродливой, нет, она даже могла бы быть красивой, как многие прочие, но она была до того осторожна, до того недоверчива, что останавливалась на краю красоты, как на краю жизни, со своими слишком причесанными волосами, своей будничной, внезапно появляющейся улыбкой, со всеми своими немного торопливыми, вкрадчивыми движениями. С раздражением стараешься разобраться, насколько в этом существе сильна расчетливость и почему рядом с ним чувствуешь себя так неловко, несмотря ни на что. Это инстинктивное отвращение, которые коммерсанты внушают тем, с кем они сталкиваются и кто понимает их, служит утешением для людей нищих и потрепанных, ничего никому не продающих.

В публичных домах, которые он посещал время от времени, мосье Пюта оказывался требовательным и настаивал на том, что его не следует принимать за мота. «Я, душенька, не англичанин, — предупреждал он сразу. — Я знаю толк в работе! Я французский солдат, которому некуда спешить». Это он объявлял для начала. Женщины очень его уважали за то, что он с таким благоразумием получал удовольствие. Конечно, он любил удовольствия; но его не надуешь! Словом, это был мужчина! Он пользовался своей близостью к этому кругу, чтобы совершать кой-какие сделки через экономку, которая как раз не верила в биржевые ценности. Что касается воинской повинности, то мосье Пюта переходил с удивительной быстротой от отсрочек к бессрочному отпуску. Вскоре после бесчисленных

медицинских осмотров он был окончательно освобожден.

Одной из величайших радостей жизни было для него смотреть на красивые икры или, если возможно, трогать их. В этом отношении он стоял выше своей жены; та отдавала себя коммерческим интересам без остатка. При одинаковых достоинствах в мужчине как будто легче встретить какое-то беспокойство, чем в женщине, как бы этот мужчина ни был ограничен и туп. В сущности, в его натуре можно было найти художественные зачатки, у этого Пюта. Есть много мужчин, которые в смысле искусства не идут дальше этой мании красивых икр.

Мадам Пюта была очень счастлива, что у нее нет детей. Она так часто выражала свое удовольствие по поводу своей бездетности, что ее муж в свою очередь сообщил об этом экономке публичного дома. «Но ведь надо же, чтобы чьи-нибудь дети шли туда, — отвечала она в свою очередь, — ведь это же долг!» Правда, война несла с собой обязанности.

Министр, которого Пюта обслуживал на автомобиле, тоже был бездетен; у министров детей не бывает.

Около 1913 года еще один сверхштатный приказчик служил в этом магазине, исполняя всякие мелкие поручения. Его звали Жан Вуарез, и он по вечерам работал «статистом» в небольших театрах, а днем посыльным у Пюта. Он тоже довольствовался очень маленьким жалованьем, но как-то оборачивался: он исполнял поручения пешком так же быстро, как в метро, поэтому мог класть в карман плату за проезд. Чистая прибыль. Правда, у него пахивали ноги, но он знал это за собой и просил меня предупреждать его, когда в магазине нет клиентов, чтобы он мог войти туда, не причиняя никому вреда, и производить, не торопясь, свои расчеты с мадам Пюта. Как только деньги были сданы в кассу, его немедленно отсылали ко мне, в комнату за магазином. Его ноги сослужили ему службу также и во время войны. Он слыл самым проворным связистом своего полка. Когда он уже выздоравливал, он пришел навестить меня в Бисетр, и тогда мы и решили вместе сходить к нашему бывшему хозяину стрельнуть у него денег. Сказано — сделано. Когда мы подходили к бульвару Мадлен, там как раз кончали расстановку в витрине.

— Кого я вижу! — удивился немного мосье Пюта. — Какая приятная встреча! Заходите! У вас хороший вид, Вуарез! А у вас, Бардамю, что-то неважно, братец мой! Впрочем, о чем тут говорить! Вы еще так молоды. Здоровье вернется. Везет же вам все-таки! Говорите, что хотите, но вы переживаете необыкновенные минуты, а? Там! На воздухе! Это, друзья мои, история, или я уж совсем ничего не понимаю! И какая история!

Мы ничего не отвечали мосье Пюта: пускай говорит что угодно, пока

мы еще не стрельнули денъжат...

Вот он и продолжал:

— О да! Трудно там, в окопах! Трудно! Но трудно и здесь, знаете ли?.. Вы были ранены, не правда ли? А я совершенно выбился из сил. Столько ночных дежурств за эти два года! Вы себе не представляете! Подумайте! Абсолютно без сил! Улицы Парижа ночью — без света, друзья мои! Править машиной, да еще часто с министром! Да поскорей! Вы не можете себе этого представить! Можно десять раз за ночь разбиться насмерть!

— Да, — подчеркнула мадам Пюта, — и иногда с министром бывала его жена...

— Да, и это еще не все...

— Ужасно! — подхватили мы хором.

— А собаки? — спросил Вуарез из вежливости. — Где они? Выводят ли их еще гулять в Тюильри?

— Их пришлось прикончить. Они вредили нам. В магазине нельзя больше держать немецких овчарок.

— Такая жалость! — пожалела жена. — Но новые собаки тоже очень милые. Шотландские... От них немножко пахнет. Это не то что немецкие овчарки, помните, Вуарез? От них, можно оказать, никогда ничем не пахло. Их можно было держать в закрытом магазине даже после дождя...

— О да! — прибавил мосье Пюта. — Не то что от ног этого несчастного Вуареза! От них все еще несет, Жан? Ну и парень!

— Немножко еще, кажется, несет, — ответил Вуарез.

В этот момент вошли клиенты.

— Я вас не задерживаю, друзья мои, — заметил мосье Пюта, который был главным образом заинтересован в том, чтобы удалить Жана из магазина. — Счастливо! Я не спрашиваю вас, откуда вы пришли. Нет, я этого не спрашиваю! Национальная защита — прежде всего, вот мое мнение!

Произнося слова «национальная защита», он стал очень серьезным, Пюта, точно давал сдачу... Словом, нас попросили удалиться... Мадам Пюта, прощаясь с нами, дала нам каждому по двадцати франков. Мы едва осмелились пройти через магазин, блестящий и начищенный, как яхта: наши сапоги казались нам чудовищем на ценном ковре.

— Нет, ты только посмотри на них, Роже! Вот чудaki! Они разучились ходить! Как будто они связанные! — восклицала мадам Пюта.

— Привыкнут! — заметил мосье Пюта добродушно и приветливо, очень довольный, что отделался от нас так дешево и быстро.

Когда мы вышли на улицу и поразмыслили, что с двадцатью франками

нам не разгуляться, у Вуареца возникла еще одна мысль.

— Пойдем со мной, — говорит он мне, — к матери одного парня, который умер, когда мы были на Маасе. Я хожу каждую неделю к его родителям и рассказываю, как он умирал... Богачи... Мамаша мне каждый раз по сотне дает... Говорят, нравится им, как я рассказываю... Значит, сам понимаешь...

— А я что у них буду делать? О чем я буду с матерью говорить?

— А ты ей скажешь, что ты его тоже видел... Она тебе такую же сотенную даст... Они настоящие богачи! Я тебе говорю! Не то что этот хам Пюта... Не жадные...

— Ну что ж, пойдем, только вдруг она меня станет расспрашивать всякие подробности. Потому что, сам понимаешь, я-то ведь сына ее не знал... Начну я нести невесть что...

— Да нет, да нет, это ничего. Ты только говори то же самое, что я... Говори: да, да... Будь благонадежен! Очень она по нем плачет, понимаешь, мамаша, и говори ей про сына что хочешь, только правду... Ей только этого и надо... Все равно, что... Это нетрудно...

Я никак не мог решиться, но мне очень хотелось получить сто франков; казалось, что это так легко и что их мне посылает сама судьба.

— Ладно, — решился я наконец. — Только я лично ничего выдумывать не буду, это я тебе заранее говорю! Обещаешь? Я буду просто повторять за тобой, и все... Во-первых, как он умер, этот парень?

— Снаряд попал ему прямо в брюхо, снарядище что надо... В Гарансе это было, на берегу реки... Ни кусочка от парня не осталось, миляги! Одни воспоминания, и больше ничего... Парень он был здоровый, ладный, крепкий, спортсмен, только знаешь, против снарядов не попрыш!

— Да уж!

— Как языком слизнуло, скажу я тебе... Мамаша его по сей день не верит, по сегодняшний день! Сколько я ей ни твержу, говорит, что он пропал без вести, и все... Ерунда это... Пропал! Конечно, она не виновата, снарядов она никогда не видела, не может она этого понять, что взлетаешь ты вот на воздух, фукнешь — и кончено. А тем более сын...

— Понятно!

— Я вот уже две недели не был у них... Увидишь: как приду, мамаша меня сейчас же примет в салоне. И хорошо же у них там! Как в театре. И занавески, и ковры, и зеркала везде. Сто франков, понимаешь, это для них ничего не представляет. Как, скажем, сто су для меня... Сегодня она, по моему, созрела для двухсот... За две недели... Вот увидишь, лакеи в золотых пуговицах.



С проспекта Анри Мартен мы свернули налево, прошли еще немного и наконец подошли к решетке.

— Видишь? — замечает Вуарез, когда мы подошли вплотную. — Вроде дворца. Я тебе говорил... Отец — важная шишка по железнодорожным делам... Мне рассказывали, что персона он большая...

— Начальник станции, — говорю я в шутку.

— Не трепись!.. Вот он, прямо к нам идет...

Но пожилой человек, на которого он мне показывал, подошел не сразу: он ходил, сгорбившись, вокруг клумбы и разговаривал с солдатом. Мы подошли. Я узнал солдата: это был тот самый запасной, которого я встретил ночью в Нуарсер-на-Лисе, куда ездил на разведку. Я даже вспомнил его имя — Робинзон.

— Ты его знаешь, этого субчика? — спрашивает меня Вуарез.

— Знаю.

— Может быть, это знакомый... Они, должно быть, говорят о матери. Только бы они нам не помешали увидеться с ней... Потому что деньги дает она...

Старик подошел к нам. Голос его дрожал.

— Мой друг, — сказал он Вуарезу, — с великой скорбью должен вам сообщить, что с тех пор, как мы не виделись, моя жена погибла, сраженная огромным горем. В четверг мы ее оставили на минуту, она об этом просила... Она плакала...

Он не мог кончить фразу. Он резко отвернулся и покинул нас.

— Я тебя узнал, — сказал я тогда Робинзону, как только старик удалился.

— Я тоже тебя узнал...

— Что случилось со старухой? — спросил я его.

— А вот что: повесилась она третьего дня. Этакий камуфлет, скажи, пожалуйста! — прибавил он еще по этому поводу. — Ведь она была моей крестной. Вот не везет! Ну и неудачник же я! В первый же день моего отпуска! Шесть месяцев я ждал этого дня...

Все-таки мы не могли не посмеяться, Вуарез и я, по поводу такого невезенья Робинзона. Пренеприятный сюрприз, и двести франков наши плакали! Мы все были очень недовольны.

Но так как все-таки нельзя же было просто стоять около клумбы, мы пошли все втроем в сторону Гренель. Мы подсчитали втроем наши капиталы, оказалось — немного. Так как надо было вернуться каждому в свой госпиталь, то нам как раз хватало на обед где-нибудь в трактире, после чего, может быть, еще останется кой-какая мелочь, но на бардак не хватало.

Сходить туда все-таки удалось, но только чтобы выпить стакан вина внизу.

— Это хорошо, что мы встретились, — объявил мне Робинзон. — Но что за глупая баба, мамаша этого парня! Как только вспомню, зло берет! Ведь надо же было как раз в день моего приезда... надумала вешаться!.. Это я ей припомню! Скажите, пожалуйста, разве я вешаюсь? С горя?.. Я тогда бы каждый день вешался!.. А ты разве нет?

— Богатые, они деликатнее, — заметил Вуарез.

У него было доброе сердце, у Вуареза. Он еще прибавил:

— Если б у меня было шесть франков, я бы попробовал вон ту брюнеточку, видишь, вон там, рядом с автоматом...

— Ну что же, иди, — говорим мы ему, — ты нам потом расскажешь...

Только как мы ни считали, как мы ни искали, если давать на чай, то не выходило. Хватало еще как раз на кофе для всех и на два стакана чего-нибудь такого. Вылакали и пошли гулять. Расстались мы на Вандомской площади. Каждый направлялся в свою сторону. Уже друг друга нельзя было разглядеть при расставании, и мы говорили шепотом — такое было гулкое эхо. Огней не было. Они были запрещены.

Я его больше никогда не видел, Жана Вуареза. Робинзона я часто встречал впоследствии. Жана Вуареза изничтожил газ на Сомме. Он окончил свой век в Бретани, два года спустя, в морском санатории. Приехав туда, он написал мне два раза, потом больше ничего. Он никогда не был у моря. «Ты себе представить не можешь, до чего здесь красиво! — писал он мне. — Я изредка купаюсь — это полезно для моих ног; но что касается голоса, то это, видно, дело пропащее».

Это его огорчало, потому что, в сущности, его мечтой было когда-нибудь петь в хоре и театре. За это лучше платят, и это художественней, чем быть просто статистом.

Кончилось тем, что от меня отступились, ноги я унес, но головой повредился, и навсегда. Ничего не попишешь...

— Ступай... — так объявили мне. — Ты ни на что не годен...

«В Африку! — сказал я себе. — Чем дальше, тем лучше!» Я сел на пароход, такой же, как все остальные пароходы «Объединенных корсаров». Он шел в тропики с грузом офицеров, чиновников и бумажных материй.

Это был такой старый пароход, что с верхней палубы даже сняли медную дощечку, на которой был написан год его рождения: дата была такая древняя, что могла вызвать в пассажирах смех и страх.

Значит, посадили меня на этот пароход, чтобы я ехал возрождаться в

колонии. Люди, которые ко мне хорошо относились, настаивали на том, чтобы я разбогател. Мне бы только уехать, но человеку небогатому всегда приходится делать вид, что он приносит пользу; с другой стороны, здесь я никак не мог кончить учебу, и это так продолжаться больше не могло, а для того, чтобы ехать в Америку, у меня не хватало денег. «Африка так Африка!» — сказал я без сопротивления и отправился в тропики. А в тропиках, как меня уверили, достаточно было не слишком уж пить и прилично себя вести, чтобы сразу устроиться.

Я к этим предсказаниям отнесся мечтательно. Не много чего у меня было за душой. Правда, я умел себя хорошо вести и скромно держать, я умел быть почтительным, почти постоянно боялся опоздать и в жизни всегда всех заботливо пропускал вперед, словом, был человеком деликатным...

Если вам удалось выскочить живым из сумасшедшего дома и международной бойни, то это как-никак — рекомендация по части такта и скромности.

Но вернемся к путешествию. Пока мы были в европейских водах, ничего плохого не предвиделось. Пассажиры плесневели, рассыпавшись подозрительными гнусавыми группками в тени палуб, в ватерклозетах, в курилках. Все это, пропитанное с утра до вечера аперитивами и сплетнями, рыгало, дремало, горланило и, казалось, ничуть не жалело об Европе.

Имя наше судно носило такое: «Адмирал Брагетон». Надо думать, что судно только окраской своей держалось на поверхности теплой воды. Столько слоев краски один по другому налегли шелухой, что образовался наконец как бы второй кузов, и «Адмирал Брагетон» стал похож на луковицу.

Мы плыли в Африку, настоящую, великую: ту Африку, чьи леса неисповедимы, миазмы тлетворны, уединенья ненарушимы, к великим негритянским тиранам, возлежащим там, где сливаются реки без конца и края. За пакетик лезвий «жилетт» я получу слоновый клык вот этакой длины, сверкающих птиц, несовершеннолетних рабынь. Вот что мне обещали. Словом, жизнь! Ничего общего с облупленной Африкой агентств, монументов, железных дорог и миндальных пирожных. Нет уж! Мы увидим самую что ни на есть квинт-эссенцию настоящей Африки! Мы, пропойные пассажиры «Адмирала Брагетона».

После берегов Португалии дела пошли хуже. Однажды утром, как только мы проснулись, нас начала угнетать беспокойная, беспредельно влажно-теплая атмосфера паровой бани. Вода в стаканах, море, воздух, собственный пот — все это теплое, горячее. Уже ни днем, ни ночью не

найти прохлады — ни для руки, ни для того, чтобы сесть, ни для глотки, кроме виски со льдом в баре. Тогда отчаяние охватило пассажиров «Адмирала Брагетона», приговоренных к постоянному пребыванию в баре, замороженных, прикрепленных к вентиляторам, припаянных к кусочкам льда, обменивающихся в беспорядочном ритме карточной игры угрозами и жалобами.

Ждать пришлось недолго. В этой безнадежно устойчивой жаре все человеческое содержимое судна слилось в едином массовом пьянстве. Мы нехотя переползали с палубы на палубу, как осьминоги на дне ванны с пресной водой. Вот с этой минуты, совсем как на войне, начала проступать сквозь кожу жуткая природа белых. Как только холод и работа перестают нас сдерживать и отпускают на минуту свои тиски, можно увидеть в белых то самое, что обнаруживается на приятном пляже, когда уходит море: голая правда, вонючие лужи, крабы, падаль и испражнения.

Так, миновав Португалию, все на пароходе бешено взялись за освобождение своих инстинктов с помощью спиртных напитков и того приятного чувства, которое вызывает даровое путешествие, особенно у военных и чиновников. Чувствовать, что в течение четырех недель подряд тебя кормят, поят, укладывают спать абсолютно задаром, — это уже само по себе достаточно, не правда ли, чтобы обалдеть от отсутствия убытков. Поэтому меня, единственного, который платил за проезд, как только эта особенность стала известной, стали считать подозрительно вызывающим и несомненно невыносимым типом.

Если б у меня был хоть какой-нибудь опыт колониального общения, то, отбывая из Марселя, бросился бы я, недостойный попутчик, к ногам самого чиновного офицера колониальной инфантерии, которого я постоянно встречал, чтобы молить его о пощаде и прощении, и, может быть, я бы еще попробовал унизиться, для большей верности, перед старшим из чиновников. Может быть, тогда эти фантастические пассажиры согласились бы терпеть меня в своей среде. Но мое невежество, мои неосновательные претензии на то, чтобы дышать рядом с ними, чуть было не стоили мне жизни.

Как бы мы ни были трусливы — все мало. Благодаря моей изворотливости мне удалось потерять всего только остатки самолюбия. Вот как это произошло. Некоторое время спустя после Канарских островов я узнал от одного из уборщиков кают, что для всех ясно, что я позер и даже нахал; что меня подозревают в том, что я альфонс и в то же время педераст; что я даже немного кокаинист... Но это только между прочим... Потом появилось предположение, что я бегу из Франции, чтобы спастись от

последствий некоторых тяжких преступлений. И это было лишь началом моих испытаний. Вот когда я узнал про обычай — допускать только с огромными предосторожностями, не без обидных опросов платных пассажиров, то есть тех, которые не пользовались ни военными льготами, ни командировками для чиновников, так как французские колонии, как известно, принадлежат только этим двум категориям.

Не много существует уважительных причин для штатского человека, чтобы отважиться ехать в эти края... Очевидно, я шпион, подозрительный тип — тысячи причин, чтобы окидывать меня презрительными взглядами; офицеры это делали прямо в глаза, женщины улыбались со значением. Скоро и прислуга, расхрабрившись, стала пускать мне в спину едкие грубости. Наконец никто больше не сомневался в том, что это именно я — самый невыносимый и, можно сказать, единственный хам на пароходе.

Я сидел за столом рядом с четырьмя беззубыми, желчными чиновниками, назначенными в Габон. В начале пути они относились ко мне дружелюбно и просто, а потом — как воды в рот набрали. То есть, по молчаливому соглашению, я находился под всеобщим надзором. Я выходил из своей каюты редко и только с бесконечными предосторожностями. Прожаренный воздух наваливался глыбой. Заперев дверь, нагишом я сидел, не двигаясь, и старался себе представить, что эти чертовы пассажиры могли выдумать, чтобы меня погубить. Я ни с кем на пароходе не был знаком, а между тем казалось, что каждый меня знает. Мои приметы, должно быть, отчетливо врезались в их память, как приметы знаменитого преступника, опубликованные в газетах.

Настоящий общий праздник торжества нравственности готовился на «Адмирале Брагетоне». Мерзавцу не избежать своей участи. Мерзавцем был я.

Из-за одного этого события стоило уже ехать так далеко. В плену у этих неожиданных врагов, я все-таки пытался разобраться в них, наблюдая за ними по утрам через иллюминатор моей каюты. Прохлаждаясь перед утренним чаем, эти весельчаки справлялись друг у друга обо мне, «не выкинули ли меня уже за борт»... «Как плевков!» И для образности они харкали в пенистое море. Смеху-то!

«Адмирал Брагетон» почти не двигался, он, скорее, тащился, мурлыча и покачиваясь. Это уже было не путешествие, а болезнь какая-то. Члены утреннего совета, когда я наблюдал их из моего угла, казались мне все насквозь больными — малярия, алкоголь, сифилис, — разрушение их было заметно уже в десяти метрах, и это утешало меня в моих собственных неприятностях.

На севере по крайней мере человечье мясо не портится; люди севера бледны раз навсегда. Между мертвым шведом и юношей, который плохо спал, разница небольшая. Но колонист становится червивым на следующий же день после приезда. Они только и ждут, эти бесконечные трудолюбивые личинки, этого колониста и отпустят его лишь долгое время спустя после того, как он расстанется с жизнью. Мешки с червями!

Мы должны были плыть еще неделю до Брагаманса — первой обетованной земли, — где нам предстояло остановиться. Мне казалось, что меня заперли в ящик со взрывчатым веществом. Я почти ничего не ел, чтобы не садиться за их стол и не проходить по палубам засветло. Я не произносил больше ни единого слова. Трудно было так мало присутствовать на пароходе, в то же время находясь на нем.

Уборщик моей каюты, человек почтенного возраста, все-таки передал мне, что блестящие колониальные офицеры поклялись с бокалами в руках при первом удобном случае дать мне по физиономии и потом выкинуть за борт. Когда я его спросил: за что? — он мне этого сказать не мог и спросил меня в свою очередь, что же я сделал, что дошел до такого положения. Мы так и остались в недоумении. Рожа у меня гнусная, вот и все.

Нет, уж в другой раз меня ни за что не уговорить путешествовать с людьми, которым так трудно потрафить. Правда, им до такой степени нечего было делать, сидя взаперти целый месяц, что страсти разгорались из-за пустяка. Кроме того, ведь и в повседневной жизни, если подумать, не меньше ста человек в течение одного обыкновеннейшего дня желают вам смерти; например, все те, которым вы мешаете, когда стоите перед ними в хвосте, ожидая метро; все те, которые проходят мимо вашей квартиры и у которых квартиры нет; все те, которые хотят, чтобы вы перестали мочиться, чтобы помочиться самим; наконец, ваши дети и многие другие. К этому привыкаешь. На пароходе эта торопливость заметней, и оттого она еще больше мешает.

Колониальные офицеры, сбившись между двумя рюмками плотной кучей вокруг стола капитана, почтовые чиновники и особенно учительницы, плывущие в Конго, а их на «Адмирале Брагетоне» был целый набор, своими недоброжелательными предположениями и клеветническими выходками добились того, что раздули меня до адской важности.

При посадке в Марселе я был лишь незначительным мечтателем, теперь же благодаря взвинченной мешанине из алкоголиков мне была дана такая репутация, что меня просто было не узнать.

Капитан парохода — шельма и спекулянт, который в начале

путешествия охотно жал мою руку, теперь каждый раз, когда мы встречались, делал вид, что не узнает меня. Так избегают человека, разыскиваемого за какое-нибудь грязное дело, уже виновного... В чем? Когда ненависть людей не сопряжена ни с каким риском, овладеть их тупоумием нетрудно: причины ненавидеть появляются сами собой.

Дело вылилось в более определенную форму как-то вечером после обеда, на который я все-таки пошел, так как меня мучил голод. Я сидел, уткнувшись носом в тарелку, не смея даже вынуть платок, чтобы утереть пот. Никто никогда не обедал с большей скромностью. Беспреданное мелкое дрожание шло от машин под нами. За столом мои соседи, должно быть, были в курсе того, что было решено на мой счет, так как, к моему удивлению, они свободно и приятно разговаривали со мной о дуэлях, ударах шпагой, задавали мне вопросы... В эту минуту учительница из Конго, та самая, у которой сильно пахло изо рта, прошла в сторону салона. Я успел заметить, что на ней было гипюровое платье для больших церемоний и она судорожно спешила к роялю, чтобы сыграть, если это можно назвать игрой, кой-какие мотивчики, конец которых она всегда забывала. Атмосфера сгустилась и отяжелела.

Я рванулся, чтобы укрыться в моей каюте, и почти что добрался до нее, когда один из колониальных капитанов, самый наглый, самый мускулистый, стал поперек моей дороги, не грубо, но решительно.

— Выйдем на палубу! — приказал он мне.

Через несколько шагов мы оказались на палубе. Для такого случая он надел раззолоченное кепи и застегнулся от штанов до ворота, чего с ним не случалось с самого нашего отъезда. Мы находились в разгаре драматической церемонии. Я себя чувствовал не слишком бодро, сердце мое билось на уровне пупка.

Это вступление, эта странная безупречность предвещала медленную и мучительную экзекуцию. Этот человек казался мне куском войны, который вдруг опять очутился на моей дороге, — упрямый, сам припертый к стенке, смертоносный.

За ним, заслоня дверь палубы, стояли разом четыре офицера чином пониже — свита судьбы, — до чрезвычайности внимательные.

Возможности бежать никакой. В этом вызове, должно быть, была предусмотрена каждая мелочь.

— Мосье, перед вами капитан колониальных войск Фремизон! От имени моих товарищей и пассажиров этого парохода, справедливо возмущенных вашим поведением, имею честь требовать от вас отчета!.. Некоторые вещи, которые вы говорили на наш счет, с тех пор как мы

покинули Марсель, недопустимы! Теперь вы можете громко сказать то, что вы тайно нашептываете вот уже три недели!

Услышав эти слова, я почувствовал огромное облегчение. Я опасался какого-нибудь такого способа умерщвления, против которого ничего не поделаешь, а они предлагали мне, раз капитан вступил со мной в разговоры, способ увернуться. Каждая возможность струсить для того, кто в этом знает толк, становится великолепной надеждой. Это мое мнение. Никогда не нужно быть ни слишком разборчивым, выбирая способ, как избежать того, чтобы тебе выпустили кишки, ни терять время, стараясь найти причины преследования. Для мудреца достаточно бежать.

— Капитан! — ответил я ему со всей убедительностью, на которую только был способен в этот момент. — Какую страшную ошибку вы собрались сделать! Вы — и я! Как могли вы предполагать во мне такое коварство? Истинно говорю вам, слишком велика несправедливость! Капитан, меня это убьет! Как, меня, который еще вчера защищал нашу дорогую родину, меня, чья кровь годами лилась вместе с вашей во время незабвенных битв!.. Вот какой несправедливостью собирались вы меня уничтожить, капитан!

Я остановился на полном ходу. Я надеялся на трогательность моей речи. Недолго думая, пользуясь паузой этого лепета, я прямо подошел к нему и схватил его руки, взволнованно их пожимая.

Я немножко успокоился, пока держал его руки в своих. Не выпуская их, горячо продолжал объясняться и, уверяя его в том, что он, конечно, тысячу раз прав, предлагал возобновить наши отношения, но на этот раз без недомолвок. Что в основе этого нелепого недоразумения лежала только моя естественная и идиотская застенчивость, что, конечно, мое поведение можно было объяснить невозможным на самом деле презрением по отношению к группе пассажиров, состоящих из «соединенных судьбою больших людей, героев и талантов... не считая дам, несравненных музыкантш, украшения корабля»...

Не переставая каяться, я просил в заключение, чтобы меня приняли безотлагательно и без ограничений в их веселую патристическую и братскую группу, в которой с этой минуты я навсегда рассчитываю быть им приятным. Не выпуская, само собой разумеется, его рук, я удвоил красноречие.

Пока военный не убивает, это совершенный ребенок. Его легко развлечь. Так как он не привык мыслить, как только с ним начинаешь разговаривать, он, для того чтобы попробовать понять вас, должен решиться на невероятные усилия. Капитан Фремизон не убивал меня, он



также не пил в этот момент, он ничего не делал ни руками, ни ногами, он только старался мыслить. Это было выше его сил. В сущности, я победил его мозгами.

Мало-помалу во время этого испытания на унижение я почувствовал, как мое самолюбие, которое все равно собиралось меня оставить, стусевывается окончательно, как оно меня бросает, покидает, так сказать, официально. Что ни говори, момент этот очень приятный. С этого случая я навсегда почувствовал себя бесконечно свободным и легким — я, конечно, подразумеваю морально. Может быть, в жизни, чтобы не пропасть, чаще всего помогает страх. Что касается меня, то с того самого дня я отказался от всякого прочего оружия и добродетелей.

Товарищи военного находились теперь тоже в нерешительности. Они, которые пришли нарочно для того, чтобы подтирать мою кровь и играть в кости моими рассыпанными зубами, теперь без всякого триумфа старались подхватить какое-нибудь долетевшее до них слово. Я плел неведь что, помня одно — побольше лирики, и наконец рискнув выпустить одну, только одну руку капитана, поднял другую над головой и начал тираду:

— Господа офицеры, между доблестными воинами не может быть раздоров! До здравствует Франция, черт возьми! Да здравствует Франция!

Это был номер сержанта Бранледора. Он еще раз удался. Это единственный случай, когда Франция спасла мне жизнь; до сих пор это было как будто даже наоборот. Я заметил, что слушатели находятся в нерешительности; все-таки для офицера, как бы плохо он ни был расположен, трудно дать публично по физиономии штатскому, когда тот кричит громко, как кричал я: «Да здравствует Франция!» Эта нерешительность меня спасла.

Я схватил две руки, которые мне подвернулись, и пригласил в бар выпить за мое здоровье и за наше примирение.

Эти доблестные воины после минутного сопротивления пили со мной в течение двух часов. Одни лишь бабы парохода молчаливо и разочарованно провожали нас глазами. Через иллюминаторы бара мне было видно, как между пассажирками гиеной бегают пианистка. Эти стервы подозревали, что я выбрался из ловушки хитростью, и собирались поймать меня при следующем удобном случае. И мы, мужчины, оставшись одни, продолжали бесконечно пить под вентилятором, который бесцельно и невыносимо продолжал с самых Канарских островов теребить теплую вату воздуха.

Пока мы вели бредовые разговоры, «Адмирал Брагетон» все более замедлял ход: ни одного атома свежего воздуха вокруг нас; по всей

вероятности, мы плыли вдоль берега с трудом, как по патоке.

Паточное небо над бортом, черная размокшая мазь, на которую я с завистью любовался. Больше всего я люблю возвращаться в ночь, даже со стоном, даже в поту, словом, в каком угодно состоянии. Фремизон рассказывал без конца. Мне казалось, что земля уже близка, и я с беспокойством думал о том, как бы бежать... Мало-помалу разговор перешел на темы легкомысленные, потом просто похабные и, наконец, разъехался по всем швам, так как нельзя было разобрать, где начало, где конец; один за другим мои гости замолкали и засыпали, тяжело храпя. Омерзительный сон, раздирающий глубины носа. Это было самое время, чтобы скрыться. Надо уметь ловить эти минуты, когда жестокость даже офицерских организмов, самых прочных, самых наступательных на свете, на минуту замирает, требуя отдыха.

Мы стояли на якоре возле самого берега. Отсюда можно было разглядеть только несколько мигающих фонарей.

У парохода сейчас же появилась, толкая друг друга, сотня дрожащих пирог, нагруженных горланящими неграми. Они заполнили все палубы, предлагая свои услуги. В несколько секунд я притащил к сходням наскоро собранные вещи и ускользнул с одним из этих лодочников. В темноте я не мог разобрать ни его лица, ни походки. Спустившись по мосткам над булькающей водой, я поинтересовался, куда мы направляемся.

— Где мы? — спросил я.

— В Бамбола-Фор-Гоно, — ответила мне тень.

Сильными ударами весел мы продвигались вперед. Я помогал, чтобы плыть быстрее. Спасаясь, я еще успел напоследок взглянуть на моих опасных попутчиков; они лежали при свете фонарей на палубах, придавленные дурманом и несварением желудка. В них продолжалось брожение — развалившись, наевшись до отвала, они ворчали во сне. Офицеры, чиновники, инженеры и лавочники, все вперемешку, прыщавые, оливкового цвета, с брюшком, они были все на одно лицо. Байбаки, когда они спят, похожи на волков.

Через несколько минут я вернулся к земле и к ночи, еще более густой под деревьями, и дальше за нею, за ночью, — тишина в заговоре с ночью.

В этой колонии Бамбола-Брагаманс над всеми прочими торжественно возвышался губернатор. Его военные и чиновники не смели вздохнуть, когда он милостиво окидывал их взглядом.

Коммерсанты, устроившиеся там, казалось, воровали и наживались с еще большей легкостью, чем в Европе. На всей территории ни один-

единственный кокосовый орех, ни одна фисташка не могли ускользнуть от их лап. Чиновники, больные и усталые, понимали постепенно, что они влипли, что, в сущности, это им принесет только нашивки да формуляры, а барыша почти что никакого... Оттого они искоса приглядывались к коммерсантам. Военные, еще более отупевшие, чем вся остальная публика, обжирались колониальной славой, заедая ее хинином и целыми километрами уставов.

Вполне понятно, что, ожидая столько времени понижения температуры, все безудержно хамели. Бесконечные и нелепые распри, коллективные и частные — между военными и администрацией, между администрацией и коммерсантами и потом между коммерсантами, временно сплотившимися, и администрацией, а потом все вместе воевали против негра и, наконец, негры между собой... Таким образом, вся энергия, которая оставалась от малярии, жажды, солнца, уходила на ненависть, такую жгучую, такую упорную, что многие из колонистов просто от нее подыхали, не сходя с места, — от яда собственного укуса, как скорпионы.

Но вся это ядовитая анархия была вправлена в герметическую рамку полиции, как крабы в корзину. Чиновники плевались впустую; губернатору, для того чтобы держать свою колонию в повиновении, ничего не стоило набрать любое количество облезлых полицейских, хотя бы среди кругом задолжавших негров, жертв торговли, которых нищета тысячами прибывала к берегам в поисках куска хлеба. Этих рекрутов обучали, как и по какому праву они должны выражать свой восторг губернатору. Казалось, что на мундире губернатора сияет все золото его финансов, и когда на нем играло солнце, трудно было поверить своим глазам.

Каждый год губернатор удирал в Виши и читал только «Официальную газету». Сколько чиновников жило надеждой, что в один прекрасный день он спутается с их женой, но губернатор не любил женщин. Он ничего не любил. Губернатор пережил все эпидемии желтых лихорадок и чувствовал себя прелестно, в то время как столько людей, которые желали ему смерти, как мухи, погибли при первой же чуме.

Еще помнили одно Четырнадцатое июля, когда под лошадь губернатора, гарцевавшего среди своих гвардейцев-спаги и перед развернувшимися парадом войсками резиденции, — а впереди вот этакой величины знамя! — бросился какой-то сержант, должно быть, в лихорадке, с криком: «Назад, великий рогоносец!» Говорят, что губернатор был очень расстроен этим покушением, которое, кстати, так и не удалось объяснить.

Трудно судить по-настоящему о людях и вещах в тропиках из-за яркости излучаемых ими красок. Вещи и краски там кипят. Коробочка из-

под сардин, которая в полдень валяется на дороге, бросает столько различных отсветов, что для глаза она превращается в целое событие. Нужно быть осторожным. Там истеричны не только люди, но и вещи. Жизнь становится возможной, когда спускается ночь, но темнота во власти тучи комаров. Не то что один, или два, или сотня, а миллионы комаров. Не погибнуть в таких условиях становится настоящим произведением искусства самосохранения. Днем — карнавал, вечером — тихая война.

Когда возвращаешься в домик, воздух которого почти приятен, и наконец наступает тишина, тогда за постройку принимаются термиты — эти гады! — вечно занятые тем, что гложут сваи. И если б вихрь налетел на это обманчивое кружево, целые улицы превратились бы в пыль.

Таким оказался город Фор-Гоно, в который я попал. Хрупкая столица Брагаманса между морем и лесом, где красуются необходимые банки, публичные дома, кафе, террасы, воинское присутствие и даже, чтобы столица была что надо, сквер Федерб и бульвар Бюжо для прогулок, целый ансамбль блестящих построек среди шершавых скал.

Около пяти часов военные ворчали, собравшись вокруг аперитива, который как раз в момент моего приезда подорожал. Делегация потребителей собиралась к губернатору, чтобы просить его принять меры против произвола рестораторов. Если верить некоторым завсегдатаям, то наша колонизация становится все более и более затруднительной благодаря льду. Факт тот, что начало употребления льда в колонии было сигналом к расслаблению колонизатора. Колонизатор, привыкнув к ледяному напитку, должен был отказаться от победы над климатом одной лишь своей стойкостью. Заметьте, что такие люди, как Федерб, Стенли, Маршан, были наилучшего мнения о пиве, вине и теплой грязной воде, которые они без единой жалобы пили в течение многих лет. Вот в чем суть дела. Вот каким образом мы теряем наши колонии!

Директор компании «Дермонит» искал, сказали мне, служащего из начинающих для фактории в лесной чаще. Я немедленно отправился к нему, чтобы предложить свои услуги человека несведущего, но преисполненного готовности. Он меня принял без особого восторга. Директор, этот маньяк — надо называть вещи своими именами, — жил недалеко от губернаторского дома, в павильоне, обширном павильоне со сваями и соломенными настилами. Не глядя, он задал мне несколько грубых вопросов о моем прошлом, потом, как будто успокоенный наивными ответами, заговорил уже с более благосклонным презрением. Но он все-таки еще не счел нужным предложить мне стул.

— По вашим бумагам, вы обладаете кое-какими медицинскими

познаниями? — сказал он.

Я отвечал, что действительно занимался некоторое время по этой части.

— Это вам пригодится, — заметил он. — Хотите виски?

Я не пил. Курите? Я тоже отказался. Эта умеренность его удивила. Он даже выразил недовольство.

— Не люблю служащих, которые не пьют и не курят... Вы, может быть, случайно педераст? Нет? Тем хуже!.. Они крадут у нас меньше других... Я это знаю по опыту... Они привязчивы... Словом, — решил он прибавить, — мне кажется, что педерасты, в общем, обладают этим качеством, этим преимуществом... Может быть, вы докажете противное... — И он продолжал: — Жарко, а? Привыкнете! Придется привыкнуть. Ну, а как выплыли?

— Плохо, — ответил я ему.

— Ну, милый мой, вы еще ничего не видели. Вот поживете год в Бикомимбо, куда я вас посылаю на место этой шельмы, тогда поговорим...

Около стола на корточках сидела его негритянка и ковыряла себе ноги щепкой.

— Катись отсюда, корова! — крикнул ей хозяин. — Беги за боем! Да принеси льду!

Бой, за которым послали, все не шел. Раздраженный директор вдруг развернулся, как пружина, и встретил боя потрясающей пощечиной и двумя ударами в низ живота, которые так и звякнули.

— Они вгонят меня в гроб! — сказал он, вздохнув. И опять упал в кресло, покрытое грязным, оборванным желтым полотном.

— Вот что, голубчик, — произнес он мило и просто, как будто почувствовал минутное облегчение после расправы, — передайте мне хлыст и хинин... на столе... Мне бы не следовало волноваться... Глупо так распускаться!..

Дом его возвышался над речной гаванью. Она поблескивала из-за завесы пыли, такой густой и плотной, что легче было различить шумы беспорядочной работы, чем самые детали гавани. На берегу негры разгружали трюм за трюмом, карабкаясь гуськом по хрупким дрожащим сходням, неся на голове большие нагруженные корзины, балансируя, сопровождаемые бранью, похожие на вертикальных муравьев.

Все это неровными рядами двигалось в алом тумане назад и вперед. На спине у некоторых из работающих силуэтов обозначался черный бугорок: это были матери, они несли на спине лишнюю тяжесть — ребенка. Интересно, умеют ли муравьи так работать?

— Здесь каждый день воскресенье, не правда ли?.. — шутливо заговорил опять директор. — Весело! Светло! Бабы все голые. Вы заметили? Да еще какие бабы, а? После Парижа смешно, правда? А мы всегда в белом! Совсем как на пляже. Хороши, а? Будто только после причастия. Вечный праздник, уверяю вас! И так до самой Сахары! Вы только подумайте!

Потом он замолкал, вздыхал, ворчал, утирался и продолжал разговор:

— То место, куда вы поедете, в лесу, там сыро... Десять дней езды отсюда... Потом по реке. Река совсем красная, вы увидите. По другую сторону там испанцы... Тот, кого вы замените на этой фактории, ужаснейший прохвост — заметьте это себе... Между нами... Я вам говорю... И нет никакой возможности заставить эту сволочь присылать нам отчеты... Никакой возможности! Я шлю ему повестку за повесткой... Человек, когда он предоставлен самому себе, недолго остается честным. Что тут говорить! Вот вы увидите!.. Вы тоже в этом убедитесь! Пишет, что болен. Ладно уж! Болен! Я тоже болен. Что это значит — болен? Все мы больны. И вы заболаете, и ждать недолго придется! Тоже причина! Плевать мне на его болезнь!.. В первую очередь — интересы общества. Когда будете на месте, первым делом составьте инвентарь!.. Провианту на пункте хватит месяца на три и товара — по крайней мере на год... Недостатка не будет... Выезжайте обязательно ночью... И будьте осторожны! Он пришлет за вами негров к морю, они, может быть, утопят вас. Он их, должно быть, вымуштровал. Такие же негодяи, как и он сам! Не сомневаюсь! Должно быть, сказал им насчет вас что надо. Это здесь водится. Возьмите с собой хины перед отъездом... Он способен подсыпать вам чего-нибудь!

Директору надоело давать мне советы, и он встал, чтобы проститься со мной. Железная крыша над нами весила по крайней мере две тысячи тонн; она собирала над нами всю жару, эта крыша. Оставалось только издохнуть без промедления. Он прибавил:

— Может, не стоит еще раз встречаться до вашего отъезда, Бардамю. Здесь так утомительно! Там посмотрим, может быть, я зайду в амбары присмотреть за вами перед вашим отъездом... Вам туда напишут... Почта раз в месяц... Она уходит отсюда... Ну что ж, счастливого пути!..

Один из прислуживающих ему негров шел впереди меня с большим фонарем, чтобы отвести меня туда, где я должен был жить до моего отъезда в это обещанное мне миленькое Бикомимбо.

Мы шли по аллеям, по которым гуляли люди, спустившиеся сюда после захода солнца. Повсюду ночь, избитая гонгом, изрезанная куцыми и беспорядочными, как икота, песнями. Большая черная ночь тропических

стран со слишком быстро и резко бьющимся сердцем тамтама.

Мой молодой вожатый мягко скользил босыми ногами. Кусты, должно быть, кишели белыми: оттуда раздавались их голоса, голоса белых, которые нетрудно отличить, изломанные, наглые. Летучие мыши безостановочно летали вокруг нас, врезаясь в тучи букашек, слетевшихся на наш огонек. Судя по оглушительному треску, под каждым листом дерева притаился сверчок.

На перекрестке нас остановили несколько туземных стрелков, которые спорили, спустив на землю гроб, покрытый широким трехцветным знаменем.

Это был покойник из больницы, относительно которого никак не могли решить, где его похоронить. Данные стрелкам инструкции были туманны. Одни хотели закопать его внизу на каком-нибудь лугу, другие настаивали на отгороженном месте, наверху. Они никак не могли договориться. Бой и я тоже подали несколько советов. Наконец носильщики решили похоронить внизу на кладбище; под гору было легче идти.

Повстречали мы также по дороге трех юношей в белом, из породы тех, что в Европе ходят на футбольные матчи — страстные, нахальные и бледные зрители. Они тоже служили в компании «Дермонит» и любезно показали мне дорогу к недостроенному дому, где временно помещалась моя складная походная кровать.

Мы подошли. Постройка была абсолютно пуста, если не считать нескольких кухонных принадлежностей и моей вроде как бы кровати... Как только я лег на эту нитеподобную шаткую вещь, двадцать летучих мышей вылетели из угла и заметались, шурша с треском вееров, над моим робким покоем.

Тамтам соседней деревни рвал на мелкие кусочки терпенье. Тысячи хлопотливых комаров занялись моими ляжками, но я не смел опустить на пол ноги из-за скорпионов и ядовитых змей. Я представлял себе начало их ужасной охоты за крысами, которых был огромный выбор: я слышал, как те грызли все, что можно было грызть, в стенах, на полу, на потолке.

Наконец взошла луна, и в хибарке стало немного потише.

В общем, в колониях было неважно.

Завтрашний день настал, этот кипящий котел. Невообразимое желание вернуться в Европу охватило тело мое и дух. Чтобы смыться, не хватало лишь денег. Причина достаточная. Кроме того, до отъезда в такое прелестное по описанию Бикомимбо оставалась только неделя.

Самым большим зданием Фор-Гоно после дворца губернатора была

больница. Куда бы я ни шел, я выходил к больнице, через каждые сто метров я встречал какой-нибудь больничный павильон, от которого издавека несло карболкой.

Изредка я бывал в гавани, где шла погрузка, чтобы посмотреть, как работают мои малокровные коллеги, которых компания получала из Франции целыми приютами.

Казалось, что, охваченные каким-то желчным нетерпением, они безостановочно нагружают и разгружают пароходы. «Это стоит таких денег — грузовой пароход в гавани!» — повторяли они, искренне огорченные, как будто дело шло об их собственных деньгах.

Они неистово подгоняли черных грузчиков. Они были усердны, бесспорно, и настолько же трусливы и подлы, насколько усердны. Золото, а не служащие! В общем, хорошо подобранные, до того восторженно-несознательные, что над этим даже стоило призадуматься. Вот бы таких сыновей да моей матери, ревностно относящихся к хозяевам! Сыновья, которыми можно гордиться, и вполне законные сыновья.

Они приехали в тропическую Африку, эти человекообразные, чтобы отдать хозяевам свое мясо, свою кровь, свою молодость, мученики за двадцать два франка в день (минус вычеты), довольные, все-таки довольные до последнего красного кровяного шарика, подстерегаемого миллионным комаром.

Колония заставляет этих приказчиков пухнуть или худеть, но обратно не выпускает; есть только два способа сдохнуть под солнцем: жирный и худой. Другого нет. Выбирать тоже нельзя: это зависит от природы человека — подыхать толстым или — кожа да кости.

Там, наверху, на красной скале, директор беснуется со своей негритянкой под крышей в десять тысяч кило солнца; ему тоже не уйти от расплаты. Это был хиляк. Но он боролся. Казалось даже, что он справляется с климатом. Одна только видимость! На самом деле рассыплется еще раньше других.

Говорили, что он придумал такую хитрую комбинацию, которая обогатит его в два года. Но он не успеет закончить свой план, даже если бы он прилежно обкрадывал компанию без передышки днем и ночью. Двадцать два директора уже до него пробовали составить себе состояние, и у каждого была своя система, как для рулетки. Все это было известно акционерам, которые наблюдали за ним, за директором, с еще большей высоты, с улицы Монсе в Париже, и улыбались: «Ребенок!» Акционеры — всем бандитам бандиты — отлично знали, что директор их — сифилитик, что тропики его чрезвычайно взбудораживают и что он обжирается



хинином и висмутом до того, что барабанные перепонки лопаются, мышьяком — до полного распада десен.

В главной бухгалтерии компании дни директора были сочтены.

Вечером, окончив последние работы с господином Тандерно, мы собрались за аперитивом. Он водился с коммерсантами только оттого, что ему нечем было заплатить за свой абсент. Что делать! Низко он пал. У него совсем не было денег. Он занимал самое, насколько только возможно, последнее место в колониальной иерархии. Он заведовал постройкой дорог в лесах.

Туземцы работали там, подгоняемые, понятно, кнутом его полицейских. Но так как ни один белый никогда не проезжал по дорогам, созданным Тандерно, а черные предпочитали дорогам свои лесные тропы, чтобы их было возможно труднее найти и не платить налогов, и так как, в сущности, они никуда не вели, эти административные дороги Тандерно, то они зарастали очень быстро, по правде сказать, за один месяц.

— В прошлом году я потерял 122 километра! — любил вспоминать этот фантастический пионер по поводу своих дорог. — Хотите — верьте, хотите — нет!

За время моего пребывания я не слышал, чтобы Тандерно хвастался чем-нибудь другим, как только тем, что он единственный европеец, который может в Брагамансе при 44 градусах в тени подцепить насморк. Эта особенность утешала его во многом...

— Опять простудился, как свинья!.. — гордо объявлял он за рюмкой. — Это случается только со мной!

— Ну и тип этот Тандерно! — восклицали тогда члены нашей тщедушной банды.

Все-таки какое ни на есть удовлетворение для тщеславия, лучше чем ничего.

Другим развлечением работников компании было соревнование по температуре. Это было неустойчиво и убивало время. Наступал вечер, и почти ежедневно с ним поднимался жар — измеряли температуру.

— Пожалуйста, у меня тридцать девять!

— А у меня до сорока поднимается. Мне это раз плюнуть!

Результаты были, кстати сказать, точные и правильные. При свете сравнивали термометры. Дрожащий победитель торжествовал.

— Мочиться не могу больше так потеею! — искренне рассказывал самый исхудалый, тоненький служащий, родом из Арьежа, чемпион по температуре, бежавший сюда — признался он мне — из семинарии, «где было недостаточно свободно».

Время шло, но никто из моих приятелей не мог мне сказать, к какому роду чудаков принадлежит тип, которого я ехал замещать в Бикомимбо.

— Чудаковатый парень, — предупреждали они меня, — вот и все.

— В колониях надо показать себя сразу, по приезде, — советовал мне мальчик из Арьежа, чемпион высокой температуры. — Середины нет! Для директора сразу ты — либо весь из золота, либо весь из дерьма. И заметь, решает с места!

Что касается меня, то я несколько беспокоился, что попаду в «весь из дерьма» или еще хуже.

Эти молодые рабовладельцы, мои друзья, повели меня в гости еще к одному коллеге по обществу, который стоит того, чтобы рассказать о нем.

У него была лавка в самом центре европейского квартала. Заплесневевший от усталости, развалившийся, маслянистый, он не переносил никакого света из-за глаз, которые за год безостановочного поджаривания под ребристым железом чудовищно пересохли. Он рассказывал, что по утрам у него уходит добрых полчаса, чтобы их открыть, и еще полчаса, чтобы что-нибудь разглядеть. Громадный паршивый крот.

Задыхаться и страдать было его второй натурой, а также и воровать. Он совершенно бы растерялся, если бы вдруг выздоровел или стал порядочным человеком. Его ненависть к директору даже сегодня, спустя такой долгий срок, кажется мне одной из сильнейших страстей, которые когда-либо удавалось наблюдать у людей. Его постоянно трясло от необычайной злобы к директору; несмотря на страдания, при каждом удобном случае он выходил из себя, не переставая в то же время чесаться с головы до ног.

Чесался он безостановочно, весь, так сказать, круговращательно, от начала позвоночника до шеи. Он бороздил кожу, царапал себя ногтями до крови, не переставая обслуживать многочисленных покупателей, большей частью негров, более или менее голых.

Он деловито запускать свободную руку то направо, то налево, в какие-то укромные уголки в глубине полутемной лавки. Ловко и быстро, никогда не ошибаясь, он извлекал оттуда то, что надо было покупателю: вонючие листья табака, сырые спички, коробки с сардинами, большие ложки патоки, высокоградусное пиво в кружках с двойным дном, которые он выпускал из рук, впадая снова в неистовство и начиная чесаться, например, в глубине своих бездонных штанов. Он засовывал туда всю руку, которая скоро вылезала с другой стороны, так как штаны его были из предосторожности всегда расстегнуты.

Он называл эту болезнь, которая разъедала его кожу, местным словом «корокоро».

— Сволочь эта «корокоро»! Подумать только, что эта сука, директор, еще не подцепил «корокоро»! — раздражался он. — У меня от этого еще сильнее болит живот... Его «корокоро» не возьмет! Он прогнил насквозь. Не человек он, этот кот, а зараза! Дерьмо этакое!..

Тогда все гости покатывались со смеху. За ними вслед и негры-покупатели. Он наводил на нас некоторый ужас.

Но все-таки и у него нашелся приятель, запаленный, страдающий одышкой, седоватый человек, правящий грузовиком компании «Дермонит». Это он привозил нам лед, украденный, по всей вероятности, где-нибудь в гавани.

Мы выпивали за его здоровье, стоя у прилавка среди черных покупателей, которые от зависти пускали слюну. Покупатели эти — туземцы, достаточно смелые, чтобы приблизиться к белым, словно отборные... Другие негры, менее развязные, предпочитали держаться на расстоянии. Инстинкт! Наиболее же оборотистые, наиболее заразившиеся шли в приказчики.

В лавках негров-приказчиков можно отличить от других негров по той запальчивости, с которой они на других кричат.

Наш коллега с «корокоро» покупал каучук в сыром виде, каучук ему приносили из глубины лесов, сырыми шарами, в мешках.

Как раз когда мы были у него, целая семья сборщиков каучука подошла и робко замерла на пороге. Отец впереди, морщинистый, опоясанный оранжевой тряпкой, держал на вытянутой руке длинный куп-куп, специальный нож для надрезов дерева.

Он не смел войти, этот дикарь. Между тем один из приказчиков-туземцев приглашал его.

— Шагай сюда! Шагай, черномазый! Мы здесь дикарей не жрем!

Эти слова убедили его. Он вошел в знойную лачугу, где в глубине бушевал наш приятель с «корокоро». Казалось, этот негр никогда не видел ни лавки, ни даже, может быть, белых. Одна из его жен шла за ним, опустив глаза, на голове она несла большую корзину с сырым каучуком.

Приказчики без разговоров схватили ее корзину, чтобы взвесить содержимое. Дикарь не больше смыслил в весах, чем во всем остальном. Женщина все еще не смела поднять голову. Остальные негры, члены семейства, стояли за дверью, широко раскрыв глаза. Их тоже попросили войти — всех, даже детей, чтобы и им было все видно.

Они в первый раз пришли все вместе из леса к белым, в город. Давно,

должно быть, взялась вся семья за работу, чтобы собрать столько этого каучука.

Само собой, результат интересовал их всех. Медленно просачивается каучук в стаканчики, подвешенные к деревьям. Часто в два месяца набирается не больше одного стаканчика.

Взвесив товар, наш «чесотка» увел растерянного отца за прилавок, там с карандашом в руках произвел расчет и положил ему в руку несколько серебряных монет. И потом:

— Пошел! — сказал он ему. — Мы в расчете!..

Все его друзья покатались со смеху: так ловко он обделал это дельце. Негр стоял как вкопанный перед прилавком, в своих оранжевых трусиках вокруг чресел.

— Твоя не знает денег? Ты, значит, дикарь? — заговорил с ним, чтобы привести его в чувство, один из оборотистых приказчиков, привыкший к этим решительным сделкам и хорошо вышколенный. — Твоя не говорит по-французски, а? Твоя еще немножко говорила?.. А по-каковски твоя говорит, а? Кус-кус? Мабиллия? Твоя немножко балда? Бушмен! Совсем балда!

Но дикарь не двигался, зажав деньги в кулак. Он и рад бы убежать, да не смел.

— Что ж твоя будет покупать на эти капиталы? — вовремя вмешался «чесотка». — Такого болвана я уже давно не видел все-таки, — снисходительно заметил он. — Издалека пришел, видно! Что ж тебе нужно? Давай деньги!

Без разговоров отобрал он у него деньги и вместо них сунул ему в руку большой очень зеленый платок, который ловко подобрал в каком-то тайнике прилавка.

Негр-отец не знал, уходить ли ему и уносить ли ему платок. Тогда «чесотка» придумал еще лучше. Ему, несомненно, были знакомы все торговые трюки. Размахивая куском зеленого ситца перед носом одной из самых маленьких негрятенок, он кричал:

— Нравится тебе это, клоп? Часто ли ты видела, душенька ты моя, падаль моя милая, такие платки?

И, не дожидаясь ответа, он повязал ей шею платком, как бы для того, чтобы прикрыть ее наготу. Теперь вся семья дикарей смотрела на ребенка в этой большой зеленой тряпке... Делать больше было нечего, платок вошел в семью. Оставалось только согласиться, взять его и уйти.

Медленно пятясь, они перешли через порог, и в тот момент, когда отец повернулся, самый удалой из приказчиков, носивший башмаки, прищипорил

его, отца, сильным ударом прямо в середину ягодиц.

Все маленькое племя снова сбилось тесной кучкой по другую сторону улицы Федерб и смотрело на нас, пока мы допивали наши рюмки. Казалось, они стараются понять, что с ними только что случилось.

Нас угощал человек с «корокоро». Он даже завел граммофон. В его лавке можно было найти что угодно. Мне это напомнило обозы во время войны.

На службе в компании «Дермонит» одновременно со мной работало, как я уже говорил, в амбарах и на плантациях много негров и белых пареньков, в моем роде. Туземцев можно было привести в действие только кнутом, они сохранили чувство собственного достоинства, белых же, усовершенствованных народным просвещением, подгонять не приходится.

Кнут в конце концов утомляет погонщика, в то время как надежда сделаться богатым и могущественным, которой начинены белые, ничего не стоит, абсолютно ничего. Незачем больше винить Египет и татарских тиранов! Эти древние дилетанты — только лишь мелкие держиморды с претензиями на высокое искусство извлекать из вертикальных, животных максимальное усилие. Эти примитивные люди не знали, что раба можно называть «мосье», давать ему время от времени избирательное право, даровую газету, а главное — посылать его на войну, чтобы успокоить его страсти. Христианин двадцатого века — мне это доподлинно известно, — когда мимо него проходит полк, теряет всякое самообладание. Это вызывает в нем слишком много мыслей.

Что касается меня, то я решил неустанно следить за собой, научиться добросовестно молчать, скрывать мое желание смыться, словом, если только возможно, все-таки преуспеть в компании «Дермонит». Нельзя было терять ни минуты.

Вдоль амбаров у самых илистых берегов безотлучно и тайно сторожили стаи крокодилов. Их металлической природе приятна эта бредовая жара, так же как и неграм.

В самый полдень движение трудившейся в гавани толпы, суতোлка горланящих, взбудораженных негров казалась неправдоподобной. На предмет моего обучения нумерованию мешков я должен был перед отъездом в глубину лесов вместе с другими служащими приучаться медленно задышаться в центральном амбаре компании.

Каждый поднимал свое облачко пыли, которое следовало за ним, как тень. Удары надсмотрщиков падали на великолепные спины негров, не вызывая ни сопротивления, ни жалоб. Пассивность столбняка. Боль

переносилась так же просто, как знойный воздух этого горнила.

Время от времени приходил директор, чтобы проверить мои успехи в технике нумерования и обвешивания.

Во время моего стажа в Фор-Гоно у меня оставалось немного свободного времени для прогулок в этом якобы городе, в котором, как я это окончательно выяснил, меня привлекало лишь одно: больница.

Как только куда-нибудь приезжаешь, у вас сейчас же появляется какое-нибудь непреодолимое желание. Мое призвание — болеть, только болеть, и больше ничего. Каждому свое. Я гулял вокруг гостеприимных, многообещающих павильонов, жалобных, уединенных, укромных. С сожалением расставался я с ними и с их дезинфицированным обаянием. Лужайки, оживленные беспокойными разноцветными ящерицами и быстрыми птичками, окружали это убежище. Рай на земле.

Что касается негров, то к ним привыкаешь очень быстро, к ним и их смешливой медлительности, к их слишком длинным жестам, выходящим из берегов животам их женщин. От негритянства несет нищетой, безграничным тщеславием, гнусным смирением. Словом, та же беднота, что и у нас, только детей у них еще больше, меньше грязного белья и красного вина.

Надышавшись властью, нанюхавшись воздуха вокруг больницы, я шел вслед за толпой туземцев и останавливался против чего-то вроде пагоды, выстроенной трактирщиком на радость эротическим уродцам колонии.

Зажиточные белые в Фор-Гоно просиживали там ночи за картами, опрокидывая рюмочки, зевая и рыгая в свое удовольствие. Штаны ужасно мешали этим уродцам чесаться, помочи беспрестанно сваливались.

Под вечер целая толпа выползала из домиков туземной части города и собиралась около пагоды, без усталости слушая и наблюдая за белыми, пока те кривлялись вокруг механического пианино, которое страдательно выдавливало из себя фальшивые вальсы. Хозяйка слушала музыку с таким видом, будто она вот-тот, исполненная блаженства, пустится в пляс.

После многих тщетных попыток мне наконец удалось несколько раз потихоньку с нею переговорить. Она мне призналась, что менструации у нее продолжаются не менее трех недель. Влияние тропиков. Кроме того, ее изнуряли гости. Не то чтобы они так часто ею пользовались, но так как напитки в пагоде стоили довольно дорого, они за свои деньги щипали ее за ягодицы, перед тем как уйти. От этого она, собственно, и уставала.

Этой комммерсантке были известны все любовные истории, которые с отчаянья завязывались между измученными жарой офицерами и женами чиновников, которые тоже таяли от бесконечных менструаций, сокрушаясь

на верандах и утопая в глубинах отлогих кресел.

Я обошел еще раз моих товарищей по службе, пытаюсь узнать хоть что-нибудь об этом вероломном служащем, которого я должен был во что бы то ни стало заменить, согласно приказу, в его лесу. Безрезультатно. Пустая болтовня.

Кафе «Федерб» в конце улицы Фашода шелестело, начиная с сумерек, сплетнями, злословием, клеветой, но не приносило мне ничего нового. Одни лишь впечатления.

Все автомобили Фор-Гоно, штук десять всего, сновали взад и вперед перед террасой кафе. Казалось, что далеко они никогда не отправляются.

Так вот они и ходят, эти колонисты, до тех пор, пока не перестают даже глядеть друг на друга; до того им надоедает друг друга ненавидеть. Некоторые офицеры водят с собой семью, внимательно следя за военными и штатскими поклонами, супругу, распухшую от специальных гигиенических бинтов, детей, убогих европейских червей, растворяющихся от жары и постоянного поноса.

Для того чтобы командовать, недостаточно кепи, нужны еще и войска. В климате Фор-Гоно европейские кадры таяли быстрее масла. Батальон там — как сахар в кофе: чем дольше на него смотришь, тем меньше его видно. Большинство постоянно находилось в госпитале, доверху налитое малярией и начиненное паразитами на каждом волосе, в каждой складке. В дурмане лихорадочного мертвого часа так жарко, что даже мухи отдыхают. В бескровных волосатых руках висят по обе стороны кроватей просаленные романы, всегда без начала и конца, с вырванными страницами из-за страдающих дизентерией, которым никогда не хватает бумаги, а также из-за цензуры сердитых монахинь, когда в книге непочтительно отзываются о Господе Боге. Армейские площади мучат монашек точно так же, как и всех прочих. Они уходят за ширму, где сегодняшний покойник еще не успел остыть — так ему было жарко, — и задирают там юбки, чтобы удобнее было чесаться.

Несмотря на всю свою мрачность, больница была единственным местом, где люди о тебе забывали, куда можно было спрятаться от людей, и единственное доступное мне счастье.

Я справился об условиях поступления, о привычках врачей, об их маниях. К моему отъезду в лес я относился с отчаянием и возмущением и уже решил схватить все лихорадки, которые мне встретятся, чтобы вернуться в Фор-Гоно больным и исхудавшим, до того отвратительным, что им придется не только принять меня, но еще и вернуть на родину. Я уже был знаком со всякими трюками, великолепными трюками, чтобы заболеть,

и научился еще новым, специально для колонии.

Я готовился преодолеть тысячу трудностей, так как директора общества, так же как и командующие батальонами, без устали травят своих жиденьких жертв.

Они увидят, что я готов гнить от чего угодно. Кроме того, в госпитале вообще не заживались, разве если уж кончали там раз навсегда свою колониальную карьеру. Самым пройдохам, самым плутам, людям с сильным характером иногда удавалось попасть на транспорт, идущий в Европу. Это было радостным чудом.

Большинство из больных признавали себя разбитыми, потратившими все уловки, побежденными правилами и возвращались в лес терять свои последние кило. Если хинин отказывался от них и отдавал во власть личинок, пока они еще находились в больнице, священник около восемнадцати часов закрывал им глаза, и четыре дежурных сенегальца уносили бескровные останки на отгороженное место из красной глины около церкви Фор-Гоно, такой жаркой под ребристым железом, что никто не заходил больше одного раза в эту церковь, самую тропическую из всех тропических церквей.

Так проходят люди сквозь жизнь, и трудно им исполнять все то, чего от них требуют: кружиться бабочкой в молодости и кончать ползучим червяком.

Я попробовал собрать еще кое-какие справки. Мне казалось невозможным, чтоб Бикомимбо было таким, каким мне его описал директор. В сущности, дело шло о пробном пункте, о попытке продвинуться дальше от берега, на расстояние по крайней мере десяти дней пути, о фактории, отрезанной от всех, в лесу, который мне представлялся огромным складом животных и болезней.

Может быть, они просто завидовали моей участи, остальные мальчики общества, которые попеременно то впадали в ничтожество, то переходили в наступление. Их тупоумие (это все, что у них было) зависело от качества только что выпитого спирта, от писем, которые они получали, от количества надежды, которое они потеряли в течение дня. Как общее правило, чем хуже им было, тем больше держали они фасон.

Мы пили аперитив в течение по крайней мере трех часов. Главной темой всех разговоров был губернатор, потом говорили о воровстве всевозможных и невозможных предметов и, наконец, о женщинах: три цвета колониального знамени. Присутствующие чиновники обвиняли военных во взяточничестве и злоупотреблениях властью, военные отвечали им тем же. Что касается губернатора, то слухи о его увольнении ходили



каждое утро вот уже десятый год, но интересующая всех телеграмма с вестью о немилости все не приходила, несмотря на то, что не менее двух анонимных писем ежедневно отправлялись министру, в которых рассказывались целые кипы совершенно определенных ужасов по поводу местного тирана.

Каждое утро армия и коммерция приходили в контору больницы и хныкали, чтобы им вернули их состав. Дня не случалось, чтобы какой-нибудь капитан не приходил рвать и метать о срочном возврате трех заболевших лихорадкой сержантов и двух капралов-сифилитиков, так как именно этих кадров не хватало ему, чтобы организовать воинскую часть. Если ему отвечали, что эти симулянты умерли, то он оставлял администрацию в покое и возвращался в пагоду, чтобы лишний раз выпить.

Невозможно было уследить за тем, как исчезали люди, дни и вещи в этой зелени, в этом климате, жаре и комарах. Все в одну кучу, клочки фраз, горести, кровавые шарики исчезали на солнце, таяли в водовороте света и красок, и с ними — желания и время, все в одну кучу. В воздухе было лишь одно сверкающее томление.

Наконец грузовой пароходик, который должен был везти меня вдоль берегов до ближайшего к месту моей службы пункта, бросил якорь около Фор-Гоно. Он назывался «Папаута». «Папаута» отапливался дровами. Так как я был единственным белым на пароходе, мне отвели уголок между кухней и уборной. Мы продвигались по морю так медленно, что я сначала думал, что этого требует осторожность при выходе из гавани. Но мы и после плыли так же медленно. У этого «Папауты» было невероятно мало сил. Так мы шли вдоль берега, бесконечной серой полосы, усыпанной маленькими частыми деревьями, исчезающими в танцующих испарениях жары. Ну и прогулка! «Папаута» разрезал воду, будто он всю ее сам мучительно выпотел. Он осторожно подминал под себя одну волну за другой. Издалека мне казалось, что штурман — мулат; я говорю: казалось, оттого что у меня ни разу не хватило мужества взобраться наверх, на мостик, и выяснить. Я и негры, единственные пассажиры пароходика, не двигаясь, лежали в тени узкого прохода часов до пяти. Чтобы солнце не выжгло вам мозг через глаза, приходится щуриться, как крыса. После пяти часов можно позволить себе осмотреть горизонт. Богатая жизнь! Эта серая бахрома, эта заросль над самой водой, нечто вроде распластанной подмышки, не внушала мне особенного доверия. Дышать этим воздухом было противно даже ночью: воздух оставался влажным от заплесневелых помоев. От всей этой плесени тошнило, да еще запах машин, а днем вода, слишком желтая с одной стороны и слишком синяя с другой. Здесь было

еще хуже, чем на «Адмирале Брагетоне», конечно, не считая военных убийц.

Наконец мы приплыли к месту назначения. Мне повторили, что порт называется Топо. «Папаута» столько кашлял, харкал, дрожал, плывя по жирной, грязной, как помои, воде, что в конце концов мы все-таки прибыли.

На берегу выделялись три огромные хижины, крытые соломой. Издали на первый взгляд вид довольно привлекательный. Это устье большой реки с песчаными берегами, моей реки, той, по которой мне придется плыть на барже до самой глубины моего леса. В Топо я должен был остановиться только на несколько дней — так было решено, — дней, необходимых, чтобы принять мои предсмертные колониальные решения.

Мы держали курс на пристань, и, перед тем как подойти, «Папаута» задел ее своим толстым животом. Пристань была бамбуковая — я это хорошо помню. У нее была своя история: ее делали заново каждый месяц, потому что ловкие и быстрые моллюски обглаживали ее, собравшись тысячами. Эта безостановочная постройка и была одним из отчаянных занятий, которым страдал лейтенант Граппа, командующий постом Топо и прилегающим районом. «Папаута» приплывал раз в месяц, но моллюскам нужно было не более месяца, чтобы сожрать его дебаркадер.

По приезде лейтенант Граппа завладел моими бумагами, проверил их, снял копию на девственном реестре и предложил мне аперитив.

За два года, заявил он мне, я был первым путешественником в Топо. Никто не приезжал в Топо. Не было никакой причины ездить в Топо. Под началом лейтенанта Граппа служил сержант Альсид. В своем одиночестве они друг друга не очень любили.

— Мне приходилось быть осторожным, — при первом же знакомстве узнал я от лейтенанта Граппа, — у моего подчиненного есть некоторая склонность к фамильярности.

На этом пустыре ничего не могло случиться, и каждое выдуманное событие показалось бы слишком неправдоподобным; поэтому сержант Альсид заранее приготавливал изрядное количество ведомостей с пометками «ничего», которые Граппа без промедления подписывал, а «Папаута» аккуратно отвозил губернатору.

Кругом в лугах и в чащах леса плесневело несколько племен, вымирающих от сонной болезни и постоянной нищеты; эти племена все-таки платили маленький налог, конечно, из-под палки. Среди молодежи набирали полицейских и доверяли им эту самую палку. Актив полиции насчитывал двенадцать человек.

Я имею право о них говорить, я их хорошо знал. Лейтенант Граппа по-своему обмундировывал этих счастливицков и кормил их рисом. Одна винтовка на двенадцать человек, как правило; и на всех один флажок. Их не обували. Но так как на этом свете все относительно и сравнительно, то рекруты-туземцы находили, что Граппа очень щедр. Каждый день Граппа отказывал добровольцам и энтузиастам, сынам надоевших им лесных чащ.

Охота вокруг деревни была неважная, и за недостатком ланей там съедали в среднем по бабушке в неделю. Каждое утро с семи часов полицейские Альсида отправлялись на учение. Так как я жил в уголке хижины Альсида, который он мне уступил, то мне все было видно, как в первом ряду. Никогда ни в одной армии на свете не было солдат, преисполненных такой готовности. На перекличку Альсида эти первобытные люди отвечали, шагая по песку по четыре, по восемь, по двенадцать в ряд, старательно воображая сумки, обувь, штыки и делая вид, будто они всем этим орудуют. Только что оторванные от мощной и близкой еще природы, они были одеты лишь в коротенькие трусики цвета хаки. Все остальное они должны были себе представлять и представляли себе действительно. По команде Альсида эти решительные и изобретательные воины ставили на землю несуществующие мешки и бежали неизвестно куда, на воображаемого врага, пронзая его воображаемыми штыками. Сделав вид, что они расстегиваются, они составляли винтовки-невидимки и по другой команде начинали жаркую абстрактную пальбу. Посмотришь, как они рассыпаются, аккуратно жестикулируют, плетут кружева из отрывистых, сумасшедших, ненужных движений, и доходишь до полной тоски. Особенно в Топо, где в жестокой жаре, сосредоточенной в песках между зеркалами моря и реки, можно поклясться собственным задом, что вас насильно заставляют сидеть на куске, только что оторвавшемся от солнца.

Эти неумолимые условия не мешали Альсиду разрываться от крика. Наоборот, рычание его раскатывалось далеко за фантастическими упражнениями, до верхушек величественных кедровых деревьев на опушке тропического леса. Дальше еще катилось оно сухим громом: «Смирно!»

Я провел в Топо две недели, в течение которых делил с Альсидом не только его жизнь, его харчи, блох постели и песка (обе разновидности), но и его хинин, воду ближайшего колодца, неумолимо теплую и слабящую.

Иногда лейтенант Граппа, на которого вдруг находила любезность, приглашал меня в виде исключения на чашку кофе. Граппа был очень ревнив и никогда никому не показывал своей туземной наложницы. Поэтому он выбрал день, когда его негритянка пошла к своим

родственникам в деревню. Это был также день заседания в суде. Он хотел меня удивить.

Вокруг хижины с утра собрались истцы, разноцветный сброд, визгливые свидетели. Челобитчики и просто толпа сильно пахли чесноком, сандалом, прогорклым маслом, шафрановым потом. Казалось, что все эти существа, так же как и полицейские Альсида, главным образом стараются суесть в несуществующем мире; дробью кастаньет рассыпался их говор, над головами вздымались руки, сжатые в вихре аргументов.

Лейтенант Граппа, откинувшись в жалобно скрипящее соломенное кресло, улыбался, смотря на это бессвязное собрание. Он вполне доверял переводчику, который бормотал ему потихоньку, а также и вслух какие-то неправдоподобные прошения.

Дело шло, например, о кривом баране, которого какие-то родственники отказывались вернуть, хотя их дочка, задорого проданная, никогда не была сдана на руки, оттого что ее брат за это время успел убить сестру того, у кого остался баран. И еще много сложнее жалоб.

— Я их сейчас всех помирю! — заявлял наконец Граппа, которому разговоры и температура придавали решимости. — Где он, отец невесты? Приведите его!

— Вот он! — ответило разом двадцать помощников, выталкивая старого, довольно дряблого нефа, с достоинством, по-римски завернутого в желтую тряпку.

Старик подтверждал все, что говорилось вокруг него, потрясая сжатым кулаком. Казалось, он пришел сюда не для того, чтобы жаловаться, а чтобы развлечься по случаю процесса, от которого он не ожидал никакого положительного результата.

— Итак! — командовал Граппа. — Двадцать ударов! Кончайте! Двадцать ударов палкой старому своднику!.. Пускай знает, что значит ходить приставать ко мне второй месяц каждый четверг с этой своей историей о баранах.

Старик увидел четырех мускулистых полицейских. Сначала он не совсем понял, что им от него нужно, а потом стал вращать глазами, налившимися кровью, как у старого перепуганного животного, которого еще никогда не били. По правде сказать, он не пробовал сопротивляться, но он не знал, как повернуться, чтобы встретить удары правосудия наиболее безболезненно.

Полицейские тащили его за тряпку. Двое обязательно хотели, чтобы он стал на колени, остальные, наоборот, хотели, чтобы он лег на живот. Наконец они просто положили его на землю, задрали тряпку, и разом

посыпались на спину и дряблые ягодицы удары гибкой палки, от которой здоровенный осел ревел бы неделю. Он вертелся, и тонкий песок разлетался брызгами вокруг его живота вместе с кровью; он плевался песком и орал, и казалось, будто мучают для собственного удовольствия огромную беременную таксу.

Присутствующие молчали, пока все это происходило. Слышен был только шум наказания. Когда оно было кончено, на совесть избитый старик старался встать и подобрать вокруг себя римскую тряпку. Кровь текла из рта, носа и главным образом по спине... Толпа увела его, жужжали сплетни и комментарии, как на похоронах.

Лейтенант Граппа зажег потухшую сигарету. Он делал вид, что это все его мало трогает. Не думаю, чтобы в нем было больше от Нерона, чем предполагается, но он не любил, когда его заставляли соображать. Это его раздражало. То, что выводило его из себя в обязанностях судьи, — это были вопросы, которые ему задавали.

Мы присутствовали в тот же день еще при двух памятных избиениях, следовавших после двух нечленораздельных историй; отнятых приданных... обещанного яда... сомнительных клятв... недостоверных детей...

Развлекшись этими разнообразными происшествиями, я попрощался с Граппа, который пошел в свою хижину, где уже отдыхала его туземная хозяйка, вернувшись из деревни. У нее была красивая грудь, у этой негритоски, хорошо воспитанной «сестрами» в Габоне. Эта молодка не только умела говорить, сюсюкая, по-французски, она умела также подать хинин в варенье, вынимать блох «чиггер» из пяток. Она знала сотни способов быть приятной колонисту, не утомляя или утомляя его, по выбору.

Альсид ждал меня. Он был немного обижен. Должно быть, именно это приглашение лейтенанта Граппа толкнуло его на откровенность! Хорошенькие секреты он мне доверил! Я его об этом не просил, но он меня угостил прекрасным портретом Граппа из свежедымящегося дерьма. Я ему ответил, что таково было и мое мнение. Альсид, несмотря на военные правила, которые высказывались абсолютно против этого, вел торговлю с неграми окружающего леса и двенадцатью стрелками полиции. Это было его слабостью. Он снабжал эту кучку народа табаком. Когда полицейские получали свою часть табака, то им не приходилось больше платить жалованье, все было выкурено. Они даже выкуривали его заранее. Эта мелочная торговля, ввиду недостатка в стране звонкой монеты, шла за счет, уверял Граппа, платежа налогов.

В начале кредит в счет жалованья показался стрелкам странным и даже несколько жестоким, получалось, что они только для того и работали,

чтобы курить табак Альсида, — но с помощью ударов в зад сапогом они привыкли. Теперь они не пробовали ходить за жалованьем, они выкуривали его заранее, спокойно, на завалинке хижины Альсида, среди непритязательных цветочков, между двумя воображаемыми упражнениями.

В Топо, несмотря на микроскопичность этого селения, все-таки нашлось место для двух систем цивилизации: романская цивилизация Граппа — он драл подчиненных, чтобы извлечь из них налог, из которого, по утверждению Альсида, он оставлял себе бесстыдно крупную долю; и система, так сказать, Альсида, более сложная, в которой уже намечались признаки второй стадии цивилизации: рождение клиента в каждом стрелке, в сущности, военно-коммерческая комбинация, гораздо более современная, более лицемерная — наша цивилизация.

Хотя в конце концов я не только привык к этим местам, но даже начал себя чувствовать там довольно приятно, мне все-таки надо было подумывать об отъезде из Топо ради обещанной мне лавочки, которая находилась на расстоянии нескольких дней плавания по реке, странствований по лесу.

Мы очень хорошо ужились с Альсидом. Мы ловили вместе рыбу, нечто вроде акулы. Вода так и кишела этой рыбой перед хижинкой. Он так же плохо играл в эту игру, как и я. Нам никогда не удавалось поймать что-нибудь.

В хижине стояли только его складная кровать, моя кровать и несколько пустых и полных ящиков. Мне казалось, что он должен был накопить порядочно денег из торговых доходов.

— Куда ты их прячешь? — спрашивая я его несколько раз, чтобы позлить. — Куда ты его кладешь, свой паршивый клад? Ну и загуляешь же ты, когда вернешься домой! — дразнил я его.

Двадцать раз, пока мы открывали неизменную коробку консервов, я рисовал ему на радость все этапы потрясающего кутежа по возвращении в Бордо, триумфальное шествие из одного публичного дома в другой. Он ничего не отвечал. Он только посмеивался, будто ему все это было смешно.

Кроме ученья и заседания суда, в Топо действительно ничего не происходило, так что волей-неволей я часто повторял эти шутки за неимением другой темы.

В последние дни мне пришла мысль написать мосье Пюта, чтобы стрелнуть у него денег. Альсид согласился отправить мое письмо со следующим «Папаутой». Письменные принадлежности Альсид держал в коробке из-под бисквитов, совсем такой же, как коробки Бранледора. Очевидно, у всех сержантов одинаковые привычки. Но когда он увидел, что

я открываю его коробку, Альсид сделал жест, чтобы остановить меня. Я был смущен и удивлен. Я не мог понять, почему он не хочет, чтобы я ее открыл, и поставил коробку обратно на стол.

— Да ну, открывай! — сказал он наконец. — Все равно уж, открывай.

На внутренней стороне крышки была наклеена голова девочки. Только голова, нежное личико с длинными локонами, которые тогда носили. Я взял бумагу, перо и быстро закрыл коробку. Я был очень смущен моей бестактностью, но не понимал, почему его это так взволновало.

Я сейчас же вообразил, что это его ребенок, о котором он до сих пор не хотел мне рассказать. Я не собирался его расспрашивать, но он продолжал за моей спиной рассказывать каким-то странным, незнакомым мне голосом что-то по поводу этой фотографии. Он заикался. Я не знал, куда мне деваться. Мне хотелось, чтобы это поскорее миновало. Я не сомневался, что исповедь будет мучительна. Мне вовсе не хотелось его слушать.

— Это неважно, — услышал я. — Это дочка моего брата... Они оба умерли...

— Родители?

— Да, родители...

— Кто же теперь ее воспитывает? Твоя мать? — спрашиваю я, чтобы проявить интерес.

— Матери у меня тоже уже нет.

— Кто же тогда?

— Я ее воспитываю!

Весь красный, он посмеивался, как будто сделал что-то неприличное. И поспешно продолжал:

— То есть я тебе объясню... Я ее отдал на воспитание к «сестрам» в Бордо. Но понимаешь — к «сестрам» не для бедных... К «сестрам» хорошего общества... Уж если я ею занялся, можешь быть спокоен! Я хочу, чтобы она не знала ни в чем недостатка. Ее зовут Жаннет. Хорошенькая девочка... Совсем в мать... Она мне пишет, делает успехи. Ты знаешь, такие пансионы дорого стоят... Тем более что ей теперь уже десять лет... Я хотел бы, чтоб она училась также и музыке... Что ты думаешь относительно рояля? Это подходяще для девочки — рояль? Ты не думаешь?.. А английский? Английский тоже полезно. Ты говоришь по-английски?

Я начал приглядываться к Альсиду, пока он не признавался в том, что ему казалось скупостью, к его нафабренным усикам, к его эксцентрическим бровям, к обожженной коже. Целомудренный Альсид! Сколько ему приходилось откладывать из скудного жалованья... из

нищенских премий, из доходов микроскопической секретной торговли... месяцами, годами в этом адском Топо!

Я не знал, что ему отвечать, я был некомпетентен в таких вопросах, но он до такой степени превосходил меня сердцем, что я покраснел, как рак. Рядом с Альсидом я был только бессильным хамом, грубым и ненужным... Нечего прикидываться. Это было несомненно и ясно.

Вот почему Альсид просил, чтобы продлили его пребывание в Топо, — для маленькой племянницы, от которой он ничего не имел, кроме нескольких писем да портретики.

— Что меня огорчает, — заговорил он снова, когда мы ложились спать, — это что у нее там никого нет для каникул... Это тяжело для ребенка...

Было ясно, что Альсид передвигался в возвышенных сферах, как у себя дома, с ангелами он был на «ты», и это было совсем незаметно. Он подарил этой далекой девочке достаточно нежности, чтобы переделать целый мир, и это тоже было видно.

Он сразу заснул при свете свечки. Я даже встал, чтобы поглядеть на него. Он спал, как все. У него был совсем обыкновенный вид. Между тем было бы неглупо, если б можно было по какой-нибудь примете отличать злых от добрых.

Чтобы проникнуть в лес, есть два способа: либо прокладывать себе дорогу, как крыса через стог сена, — способ удушливый, на который я не был согласен; или плыть вверх по реке, скорчившись на дне выдолбленного дерева, и, обалдев от горланящих негров, доплыть куда надо в каком угодно состоянии.

Альсид на пристани, вдалеке, почти потерявшийся. Может быть, всего этого уже больше нет, может, в испарениях реки, в огромной массе колоколом, с лицом, словно сыр, и все тело Альсида, болтающееся в тужурке, повисло каким-то странным воспоминанием.

Вот все, что для меня осталось от Топо. Может быть, Конго мимоходом слизнуло Топо грязным языком вечернего вихря, и все это кончено, безвозвратно кончено, даже само название исчезло с карты. И только я еще помню Альсида... Племянница его забыла... А лейтенанту Граппа так и не удалось увидеть Тулузу... А лес, который давно грозил холмам, к концу сезона дождей все захватил, все раздавил тенью огромных красных деревьев, даже маленькие неожиданные цветочки, растущие на песке. Может быть, всего этого больше нет.

Долго буду я помнить эти десять дней, в течение которых мы плыли



вверх по реке. В какое-то утро мы вылезли наконец из этой паршивой лодки дикарей и углубились в лес по укромной тропинке, которая вползала в зеленую сырую темь, только кое-где освещенную лучом солнца, падающим с самого верха бесконечного лиственного храма. Нам приходилось делать обход чудовищных упавших деревьев. Через дупло такого дерева свободно могло бы проходить... метро.

Наконец мы вышли из леса, и полный свет вернулся к нам. Пришлось опять карабкаться на гору, уже из последних сил. С высоты, на которую мы взобрались, был виден бесконечный лес, зыбь красных, желтых и зеленых верхушек, лес, подавляющий горы и долины своим чудовищным изобилием, как небо и вода. Человек, жилье которого мы искали, жил — объяснили мне — еще немного дальше, в другой долине. Там нас ждал человек.

Он устроил себе нечто вроде хижины, защищенной от восточных вихрей, самых вредных, самых бешеных. С этим я не спорил, что же касается хижины, то хуже не бывает: расщепленная со всех сторон, она существовала только в теории.

Я, конечно, ожидал чего-нибудь в этом роде, но реальность превзошла все мои ожидания.

По всей вероятности, у меня был растерянный вид, так как он меня довольно резко окликнул, чтобы вывести из задумчивости:

— Чего вы? Вам будет здесь не хуже, чем на войне. Здесь в конце концов жить можно! Харчи неважные, слов нет, и вода одна грязь, но спать можно сколько угодно... Пушек, дружище, здесь нет. Пуль тоже нет. Словом, вам повезло!

По тону разговора он несколько походил на агента, но глаза у него были голубые, как у Альсида.

Лет ему было около тридцати, он носил бороду. Сначала я на него даже не посмотрел: так я был озадачен убожеством пристанища, в котором мне придется провести, может быть, несколько лет. Но позже я заметил, что его резко очерченное лицо заставляет мечтать об авантюрах, что у него голова бунтаря, которая врежется в жизнь, вместо того чтобы катиться по ней, как, например, катятся круглоносые головы с круглыми, как лодки, щеками, которые с журчанием плещутся в судьбе. Это был несчастный человек.

— Правда, — заговорил я, — хуже войны ничего нет.

Для начала этого признания было достаточно, мне не хотелось распространяться на эту тему. Но он продолжал:

— Особенно теперь, когда мода пошла на такие длинные войны... — прибавил он. — Словом, друг мой, вы увидите, что хорошего здесь мало. Делать нечего... Это нечто вроде отпуска... Только, конечно, отпуск

проводить здесь! Что и говорить! Словом, это, может быть, зависит от человека, этого уж я не знаю...

— А вода? — спросил я.

Вода в моей кружке, которую я сам себе налил, беспокоила меня — желтоватая, скверно пахнувшая, теплая, совсем как вода в Топо.

— Это и есть вода?

Водные мучения начались снова.

— Да, здесь вся вода такая и еще дождевая... Только если будет дождь, хижина не долго устоит. Видите, в каком она состоянии, хижина-то!

Я видел.

— Насчет жратвы, — продолжал он, — одни консервы, целый год жру одни консервы. И ничего, жив! Туземцы жрут гнилую маниоку — это их дело, им это, очевидно, нравится... Меня рвет уже три месяца подряд. Понос тоже вот. К тому же еще и лихорадка. К пяти часам у меня просто в глазах мутится. Таким образом я догадываюсь, что у меня температура; жарче мне при такой жаре, как здесь, не делается. Скорее даже озноб как будто начинается при температуре... И потом как будто не так скучно... Но это, должно быть, тоже зависит от человека... Может быть, при этом хорошо бы выпить, но не люблю я, не впрок мне выпивка...

Он, очевидно, очень считался с индивидуальностью.

И уж так подряд:

— Днем, — стал он мне все рассказывать, — жара, но ночью труднее всего привыкнуть к шуму. Кажется, просто не может быть такого шума. Эти зверюги гоняются друг за другом, не то чтобы совокупляться, не то чтобы жрать друг друга, не знаю... но шуму! И самые шумные среди них гиены! Они прибегают под самую хижину. Тогда вы их услышите. Ошибки не может быть. Не спутаешь с шумом в ушах от хинина. Птиц еще можно спутать с большими мухами или хинином. Это случается. Но гиены так и покатываются, это ни на что не похоже... Чуют ваше мясо... Это, по-ихнему, смешно! Не дождутся, чтобы вы сдохли, зверюги!.. Говорят, что даже видно, как блестят их глаза. Они любят падаль. Я им в глаза не смотрел. Я немножко об этом жалею...

Но это были еще не все прелести ночи.

— Да еще деревня, — прибавил он. — Не больше ста негров, но шуму от них, как от десяти тысяч!.. Вы мне потом скажете, что вы об этом думаете. Если вы сюда приехали ради тамтама, то вы не ошиблись колонией. Здесь они играют и потому, что полнолуние, и потому, что не полнолуние, и потом еще, когда они ждут луну... Словом, всегда почему-нибудь... Будто бы сговорились со зверьем, сволочи этикие, чтобы нагадить

вам. Сдохнуть можно, право слово! Устал я очень, а не то б я их всех одним ударом... Предпочитаю закладывать уши ватой. Сначала, когда у меня еще был вазелин в аптечке, я намазывал вату вазелином, теперь я кладу банановое масло вместо вазелина. Очень подходящее масло. Тогда пускай хоть громом небесным развлекаются, если им это нравится. Гады паршивые! Когда у меня вата в ушах, тогда я на них плевать хотел. Ничего не слышно. Негры, вот увидите, это сплошное гнилье и дохлятина. Днем сидят на корточках, — кажется, встать не могут пойти помочиться у дерева; а как только ночь — что делается!.. Сплошной грех! Сплошные нервы! Сплошная истерика! Истерические клочки ночи! Вот что такое негры, поверьте мне. Словом, паршивцы, дегенераты! И все тут!..

— Много они покупают у вас?

— Покупают? Поймите вы! Надо успеть обмануть их, пока они еще не обманули вас, — вот вам и вся коммерция, Конечно, ночью, когда у меня вата в ушах, чего же им стесняться! Дураками бы были... И потом вы сами видите, дверей у моей хижины нет, так они сами себя обслуживают, вот так... Не жизнь им тут, а масленица...

— А как же инвентарь? — спросил я, совсем сбитый с толку этими маленькими подробностями. — Главный директор очень настаивал на том, чтобы я составил инвентарь сейчас же по приезде, и очень тщательно.

— Что касается меня, то имею честь вам доложить, что он может убираться к любой матери, ваш главный директор...

— Но ведь вам придется встретиться с ним в Фор-Гоно?

— Никакого Фор-Гоно, ни директора... Лес, он большой, голубчик вы мой...

— Куда же вы в таком случае денетесь?

— Если вас об этом спросят, вы скажете, что ничего не знаете. Но так как вы, очевидно, человек любопытный, позвольте мне, пока не поздно, дать вам один чертовски полезный совет: наплюйте вы на дела общества, как оно плюет на ваши дела! Довольствуйтесь тем, что я вам оставлю немножко денег, и не спрашивайте меня больше ни о чем... Что же касается товара — если это правда, что он поручил вам заняться им... вы скажите ему, директору, что товара больше не было, и все тут! Если он вам не поверит, то это тоже неважно. Все равно все уверены, что мы воруем. Значит, общественное мнение о нас не изменится, а для нас может получиться раз в жизни маленькая польза... Да, кроме того, не беспокойтесь, директор во всех этих комбинациях знает толк, не стоит с ним спорить! Это мое мнение. А ваше мнение? Каждый знает, что для того, чтобы забраться сюда, нужно быть готовым зарезать отца и мать. В таком

случае...

Я не был вполне уверен, что все то, что он рассказывает, — правда, но, во всяком случае, мой предшественник произвел на меня впечатление настоящего шакала.

Я себя чувствовал беспокойно. «Опять впутался в грязное дело», — признался я себе. Я перестал разговаривать с этим пиратом. В углу я нашел сваленный в кучу товар, который он согласился мне оставить: бумажные материи и обувь, перец в коробках, клистир и открытку с видом Парижа.

— Около косяка свалены каучук и слоновая кость, которые я купил у негров... Вначале я старался. И потом, вот держи, триста франков... Мы в расчете!

Я не знал, о каком расчете идет речь, но я не стал даже его расспрашивать.

Несмотря на жизнь, полную лишений, он был окружен прислугой. Она состояла почти исключительно из мальчиков, которые наперебой подавали ему единственную ложку или кружку и вынимали из подошв голых ног неугомонных, глубоко въедающихся классических блох «чиггер». Он в свою очередь каждую минуту поглаживал мальчиков между ногами. Лично он занимался только тем, что чесался, но зато не хуже лавочника в Фор-Гоно, с совершенно поразительной ловкостью, которой можно достигнуть только в колониях.

Мебель, которую он оставил мне в наследство, показала, что можно сделать при некоторой изобретательности из ящиков из-под мыла, в смысле стульев, столиков и этажерок. Этот мрачный тип научил меня для развлечения отбрасывать одним резким движением ноги тяжелых гусениц в панцире, которые, дрожа и пуская слюни, безостановочно брали приступом нашу лесную хижину. Если по неловкости их раздавить, то держись! В наказание целую неделю подряд необычайнейшая вонь медленно поднимается от незабываемо мерзкой каши. Он прочел в каком-то журнале, что эти чудища — потомки самых древних животных мира. Они происходят, утверждал он, из второго геологического периода! «Когда мы сами будем происходить из таких далеких времен, дружище, чем только мы не будем вонять!» Крепко сказано!

Сумерки в этом африканском аду оказались великолепными. Избежать их было невозможно. Они бывали каждый раз трагичны, как огромные убийства солнца. Но одному человеку не вместить так много восхищения. Целый час на небе, от края до края, в брызгах обезумевшей злости, шел парад, а потом зелень деревьев взлетала дрожащими дорожками к первым звездам. Потом горизонт серел, потом опять розовел; хрупкая розовость.

Так оно кончалось. Все цвета обмякшими лохмотьями висели над лесом — мишурные лохмотья после сотого представления. Это случалось каждый день около шести часов.

И ночь, и все чудовища ночи начинали пляску среди тысяч и тысяч шумов. Сигнал подавали жабы.

Лес только и ждет этого сигнала, чтобы начать дрожать, свистеть, рычать всеми своими глубинами. Огромный любовный вокзал без света, переполненный до отказа. В конце концов мне приходилось орать в хижине через стол, как дикой кошке, чтобы мой приятель мог разобрать, что я говорю. С меня, который не любит природу, природы было вполне достаточно.

— Как вас зовут? Вы как будто сказали Робинзон? — спросил я его.

Он как раз рассказывал мне, что туземцы в этих краях болеют всеми болезнями, которые только можно подцепить, и пока мы разговаривали о неграх, насекомые и мухи в таком количестве облепили наш фонарь, что пришлось его потушить.

Лицо Робинзона, завешенное темной сеткой из насекомых, мелькнуло передо мной еще раз перед тем, как я потушил свет. Может, оттого его черты более четко определились у меня в памяти, тогда как раньше они мне ничего не напоминали. Он продолжал говорить со мной в темноте, в то время как я шел за его голосом куда-то в прошлое, как будто он звал меня из-за дверей годов, и месяцев, и дней, и я спрашивал себя, где же я встречал этого человека? Но я ничего не мог найти. Мне не отвечали. Бредя в потемках, думаешь, сколько людей и вещей замерли в нашем прошлом! Живые, потерявшиеся в склепе времен, так крепко спят вместе с мертвыми, что общая тень покрыла их навсегда.

И под старость не знаешь, кого будить, не то живых, не то мертвых.

Я старался вспомнить, кто такой Робинзон, когда нечто вроде смеха, ужасающе преувеличенного, где-то далеко в ночи, заставило меня подскочить. Потом все замерло. Он меня предупредил: это, должно быть, были гиены.

После шумели только негры в деревне и их тамтам, беспорядочные удары по выдолбленному дереву.

Вдруг на меня напал дикий страх, что, перед тем как скрыться, он убьет меня, вот так, на моей раскладушке, унося с собой все, что оставалось в кассе. Я был в смятении. Но что же делать? Звать на помощь? Кого? Людоедов из деревни?.. Пропал без вести!.. Я на самом деле уже почти пропал. В Париже, не имея ни долгов, ни наследства, ни состояния, едва-едва существуешь и трудно не пропасть без вести... Что же тогда

здесь? Кто же потрудится поехать в Бикомимбо? Что там делать? В воду плевать? Меня помянуть?.. Никто, конечно.

Время шло в страхе и ужасе. Он не храпел. Шум и крики, идущие из леса, мешали мне слышать его дыхание и без ваты в ушах. Это имя — Робинзон — в конце концов так долго стучало мне в голову, что наконец выявилась фигура, походка, даже знакомый мне голос... И потом, в тот самый момент, когда я собрался заснуть, весь человек целиком встал передо мной, мне удалось зацепить его — не его, но воспоминание о нем, вот именно об этом самом Робинзоне, человеке из Нуарсер-на-Лисе, там, во Фландрии; я проводил его тогда на край той ночи, когда мы искали уголок, куда бы скрыться от войны, и еще раз я видел его в Париже. Я вспомнил все. Годы разом прошли передо мной. Я ведь долго болел головой, трудно было мне вспомнить что-нибудь. Теперь, когда я знал, когда я вспомнил, я уже совсем не мог себя пересилить, мне стало совсем страшно. Узнал ли он меня? Во всяком случае, он мог рассчитывать на то, что я буду молчать, на мое полное сочувствие.

— Робинзон! Робинзон! — позвал я его игриво, словно собирался сообщить веселую новость. — Эй, старина! Эй, Робинзон!..

Никакого ответа.

Я встал с бьющимся сердцем, готовясь получить удар. Ничего. Тогда довольно смело я рискнул пройти ощупью на другой конец хижины, где он должен был находиться. Его там не было.

Я дождался света, зажигая время от времени спички. День ворвался ураганом света и негритянской прислужгой. Они радостно пришли, предлагая мне всю свою грандиозную ненужность, если не считать веселья. Они уже начинали учить меня легкомыслию. Как я ни старался рядом продуманных жестов объяснить им, как меня беспокоит исчезновение Робинзона, это не мешало им плевать на меня окончательно. Конечно, не отрицаю — безумно заниматься чем-нибудь иным, кроме того, что у вас перед глазами. Во всем этом деле меня больше всего огорчало исчезновение кассы. Но это случается нечасто, чтобы люди, которые унесли деньги, возвращались... Исходя из этих соображений я решил, что вряд ли Робинзон вернется, чтобы убить меня. Значит, это было до известной степени мне на пользу.

Теперь весь пейзаж принадлежал мне одному. Вяло обойдя раз-другой вокруг моей хижины, я вернулся, свалился и замолчал. Солнце... Опять оно!.. Все молчит, все боится сгореть в этот полдень: травы, животные, люди — все перегреты. Полуденная апоплексия.

Моя единственная курица, наследство после Робинзона, тоже боялась

этого часа и возвращалась со мною. Эта курица целых три недели гуляла со мною, ходила за мной, как собака, кудахтала, везде напарывалась на змей. Как-то, когда мне было очень скучно, я ее съел. Она была совершенно безвкусна, мясо ее вылиняло на солнце, как коленкор. Может быть, это из-за нее я и заболел. Как бы то ни было, но на следующий день после этого обеда я не мог больше встать. В полдень, совсем обалдевший, я насилу добрался до аптечки. В ней остался йод и план парижского метро. Я еще не видел ни одного покупателя в моей лавке; приходили черные зеваки, они безостановочно размахивали руками и жевали какую-то жвачку, возбужденные и лихорадочные. Теперь они ввалились и стояли вокруг меня, как будто совещались относительно моего убийственного вида. Да, я был совсем болен, до того, что, казалось, ноги мои мне были не нужны и они просто свисали с кровати, как вещи ненужные и немножко смешные.

Из Фор-Гоно приходили письма от директора, вонявшие нагоняями и угрозами, и от моей матери из Франции. Она просила меня следить за моим здоровьем, точно так же, как она просила меня об этом во время войны. Если б я был под ножом, моя мать сделала бы мне выговор, что я без кашне. Она никогда не пропускала случая постараться доказать мне, что мир это вещь безвредная и что она прекрасно сделала, что зачала меня. Это один из трюков материнского легкомыслия. Мне было, кстати сказать, очень легко не отвечать на весь этот вздор и хозяину, и матери, и я никогда не отвечал. Но все это нисколько не улучшало моего положения.

Большие и маленькие негры приходили ко мне из деревни, как к себе домой. Они прислуживали мне, дрались вокруг оставшегося товара. Свобода! Если б не жар, я, может быть, стал бы даже изучать их язык. Как только мне становилось лучше, меня охватывал ужас при воспоминании об отчетах перед обществом. Я предпочитал лежать в сорокоградусном жару, чем воображать, что меня ожидает в Фор-Гоно. Я даже переставал принимать хинин, чтобы жар лучше загораживал меня от жизни.

Пока я так варился в собственном соку, днями и неделями, у нас вышли все спички. Я любовался на моего повара, когда он разжигал огонь между двумя камнями и сухой травой. Несмотря на мою прирожденную неловкость, через неделю я умел, как всякий негр, высекать огонь из двух острых камней.

Когда я не плесневел от жара на моей складной кровати и не высекал огня, я думал исключительно о том, как я буду отчитываться перед обществом. Странно, как трудно отделаться от страха перед обществом. Странно, как трудно отделаться от страха перед растратами. Несомненно, я этот страх унаследовал от матери, которая заразила меня своей традицией:

«Сначала крадешь яйцо, затем быка и кончаешь тем, что убиваешь собственную мать...» От этих вещей нам всем очень трудно отделаться. Мы научились им еще совсем маленькими, и потом они возвращаются и нагоняют на нас страх в ответственные минуты жизни. Какая слабость? Для того чтобы от них отделаться, можно рассчитывать только на ход вещей. К счастью, ход вещей обладает большой силой. Пока что моя лавка и я понемножку уходили в землю. Мы погружались в грязь, все более клейкую, более густую после каждого дождя. Это было во время сезона дождей. То, что вчера еще казалось скалой, сегодня превращалось в тряскую патоку. Теплая вода с обмякших веток катилась водопадами, разливаясь по хижине и повсюду кругом, как будто возвращаясь в покинутое когда-то русло. Все таяло и превращалось в кашу из всякой требухи, надежд и расчетов, в сырую жару. Дождь шел такой частый, что он наваливался на вас, затыкал вам рот теплым кляпом. Этот потоп не мешал животным лхнуть друг к другу. Соловьи подымали шум хуже шакалов. Полная анархия, и в ковчеге — я в качестве вполне обалдевшего Ноя. Я решил, что наступило время покончить со всем этим.

Мать моя знала поговорки на все случаи жизни. Она говорила — я вспомнил об этом очень кстати, — когда жгла старые бинты: «Огонь очистит все!» Момент настал. Мои камни были не очень хорошо выбраны, недостаточно остры, искры падали мне на руки. Но все-таки наконец какой-то товар загорелся, несмотря на сырость. Это была партия абсолютно промокших носков.

Солнце уже взошло. Пламя взвилось быстрое, неистовое. Туземцы из деревни собрались вокруг, бешено лопоча. Каучук, купленный Робинзоном, потрескивал в центре пламени, и запах его мне неудержимо напоминал знаменитый пожар Телефонного общества на набережной Гренель. Я ходил смотреть его с моим дядей Шарлем, который очень хорошо пел романсы. Это было за год до выставки, той — Большой, я был еще совсем маленький. Ничто так не вызывает воспоминаний, как запах и пламя. Моя хижина пахла совсем так же. Несмотря на то, что она насквозь промокла, она сгорела целиком, начисто, со всем товаром и всем прочим. Вот и все счета.

Лес на этот раз молчал. Полная тишина. Это, должно быть, произвело на них впечатление, на сов, на леопардов, на жаб и попугаев. Чтобы их удивить, надо что-нибудь совсем особенное. Вроде как для нас война.

После часового пожара почти ничего больше не осталось... Несколько огоньков под дождем и несколько негров, которые ковыряли пепел длинными палками, и запах, свойственный всякому бедствию, запах,



выделяемый при каждом поражении этого мира, — запах дымящегося пороха.

Теперь осталось только удирать. Вернуться в Фор-Гоно? Попробовать объяснить? Я колебался... Но недолго. Объяснить никогда ничего нельзя. Мир только и умеет давить вас, как спящего, когда он на вас переворачивается, как спящий, переворачиваясь, убивает блох на себе. Так умереть было бы глупо, сказал я себе, это значило бы умереть, как все. Доверять людям — это уже значит позволить немножко себя убить.

Я решил, несмотря на мое состояние, уйти в лес в том же направлении, что и Робинзон. Мы продвигались с трудом, тем более что негры несли меня на носилках, сшитых из мешков. Они с таким же успехом могли бы меня вытряхнуть в воду, когда мы переходили через лужу. Почему они этого не сделали? Это я узнал позже. Они также могли бы меня съесть, поскольку это в их обычаях.

Иногда, еле ворочая языком, я приставал к ним с вопросами. И всегда они мне отвечали: «Да, да». Хороший характер в общем.

Неплохие люди. Когда понос временно переставал меня мучить, у меня снова начиналась лихорадка. Просто невероятно, до чего я расхворался. У меня даже ослабло зрение, то есть я видел все в зеленом свете. Ночью, когда мы зажигали огонь, все звери мироздания окружали наш лагерь. Изредка под огромный, черный, не пропускающий воздуха навес над нами врывался крик: задушенный зверь, несмотря на свое отвращение к людям и огню, подползал совсем близко, чтобы пожаловаться им.

На четвертый день я даже больше не старался отличить правду от бреда, но все же, по всей вероятности, он существовал — так мне кажется сегодня, — этот бородатый белый, которого мы встретили утром на каменистом мысе, около слияния двух рек. Испанский сержант типа Альсида. Мы так долго шли по тропинкам, что наконец добрались до колонии Рио дель Рио: древнее владение кастильской короны. У этого бедного испанского вояки тоже была хижина. Мучением для него были красные муравьи. Они решили провести через его хижину путь своего ежегодного переселения и безостановочно шли уже второй месяц.

Я узнал от него, что столица Рио дель Рио называется Сан-Тапета, город и порт, знаменитый по всему побережью оборудованием галер дальнего плавания. Тропа, по которой мы шли, как раз туда и вела; надо было так вот и идти по этой дороге еще три дня и три ночи.

Я просил его, этого самого испанца, чтобы как-нибудь выправиться,

главным образом чего-нибудь, что помогает против бреда. Ужас, до чего меня мучила голова! Но он и слышать ничего не хотел. Для колонизатора-испанца он оказался до странности африканобом, до того, что отказывался пользоваться в уборной банановыми листьями и нарезал для этого случая целую кипу «Бюллетеня Астурии». Он так же, как и Альсид, не читал больше газет.

Он жил здесь со своими муравьями, мелкими причудами и старыми газетами уже третий год. Когда он кричал на своих негров, это была настоящая буря. Что касается крика, то Альсид рядом с ним совсем стушевался. Так он мне понравился, этот испанец, что я в конце концов отдал ему все мои консервы. В благодарность он сделал мне паспорт на прекрасной шероховатой бумаге с кастильским гербом и с такой витиеватой подписью, что у него ушло добрых десять минут на нее.

Не знаю, как мы добрались до Сан-Тапеты, но одно я помню твердо: по приезде меня немедленно сдали на руки патера, до того хилого, что его общество вернуло мне даже какую-то относительную бодрость.

Город Сан-Тапета лежал на скале у моря, до чего зеленого! Пышная картина, не сомневаюсь, если смотреть издалика, с моря, но вблизи то же, что и в Фор-Гоно. Негров моего каравана в минуту просветления я отослал. Они прошли такой огромный кусок леса и опасались, как говорили, за свою жизнь на обратном пути. Они заранее хныкали от этого, покидая меня, но у меня не было сил их жалеть. Я слишком много страдал и потел. Конца этому не было.

Насколько я помню, вокруг моей кровати днем и ночью собирались каркающие существа, живущие в этом городе. Патер поил меня настойкой из трав, длинный золотой крест качался на его животе, и в глубине его рясы, когда он подходил ко мне, громко звякали монеты.

Я думал, что это конец.

Люди, вещи и страны кончаются запахом. Каждая авантюра уходит через нос. Я закрыл глаза, потому что я действительно не мог их больше открыть. Едкий запах Африки мало-помалу уходил. Мне все труднее становилось вообразить эту тяжкую смесь гнилой земли и толченого шафрана.

Время, и еще время, потом какие-то удары, и потом толчки, равномерные, убаюкивающие.

Я еще лежал без сознания, но на чем-то, что двигалось. Я не сопротивлялся, меня рвало, и я опять просыпался и опять засыпал. Мы плыли по морю.

Редко случается, чтобы жизнь вернулась к вам, не поступив с вами тут

же по-свински. Свинья, которую мне подложили люди из Сан-Тапеты, была не маленькая: воспользовавшись тем, что я находился в таком состоянии, они продали меня на галеру. Прекрасная галера, спору нет, с красивыми пурпурными парусами, вся раззолоченная, во всех тех местах, где находились офицеры, это был мягко выстланный пароход с прекрасным рыбьим жиром писанным портретом «Инфанты Комбитты» на носу.

Прежде мне объяснили, что она сама была патронессой судна, что ее королевское высочество охраняло наш пароход своим именем, своими грудками и своей королевской честью. Это было лестно.

Что же, думал я, в конце концов если б я остался в Сан-Тапете, без сомнения, сдох бы у этого патера, к которому меня поместили негры. Я был еще очень болен. Кружилась голова... Вернуться в Фор-Гоно? Дадут мне пятнадцать лет неминуемо из-за этих отчетов... А здесь чувствовалось движение, в нем крылась какая-то надежда... Все-таки, если подумать, отчаянный человек был этот капитан, который купил меня, даже если и за бесценок. И это как раз в тот момент, когда пароход уже снимался с якоря. Сделка была весьма рискованная для капитана: он мог на ней все потерять... Он рассчитывал на то, что морской воздух подействует на меня благоприятно. И он, конечно, выиграет на этом деле, оттого что я чувствовал себя много лучше.

Я еще бредил, но гораздо логичнее... Как только я открыл глаза, капитан стал часто навещать меня в моем закутке. На нем была шляпа с перьями. Таким он являлся мне.

Его ужасно сместило, когда я делал попытки приподняться с соломенного тюфяка, несмотря на то, что меня трясет лихорадка. И рвало меня.

Скоро, скоро вы сможете грести с остальными, — предсказывал он мне.

Это было очень мило с его стороны. Покатываясь от смеха, он благодушно щелкал меня, и даже не по заду, а по затылку. Он хотел, чтобы я тоже веселился, чтобы я радовался вместе с ним, что он сделал такое выгодное дело.

Кормили на корабле неплохо. Скоро, как и предсказывал капитан, у меня было достаточно сил, чтобы время от времени грести с остальными товарищами. Но я все время заговаривался, и там, где их было десять, я видел сто: умопомрачение.

Путь был не утомительный, мы почти все время шли под парусами, но не хуже обыкновенного воскресного вагона третьего класса. Кроме того, на галере было гораздо безопаснее, чем на «Адмирале Брагетоне». Мы плыли

с востока на запад по Атлантическому океану. Все время выли ветры. Температура спала. Мы в трюме на это не жаловались. Только уж очень долго было плыть. Что касается меня, то я насмотрелся на моря и леса на целую вечность вперед.

Мне очень хотелось расспросить капитана о средствах и цели нашего путешествия, но с тех пор, как я стал лучше себя чувствовать, он перестал интересоваться мной. И потом я все-таки еще слишком заговаривался, чтобы вести настоящий разговор. Теперь я видел его только издали, как настоящего хозяина.

Я стал искать среди галерных невольников Робинзона, и часто по ночам в полной тишине я звал его громким голосом. Никто не отвечал мне, если не считать ругательств и угроз.

Между тем, чем больше я размышлял над всеми подробностями моего приключения, тем вероятнее мне казалось, что и с Робинзоном в Сан-Тапете поступили так же, как и со мной. Робинзон, должно быть, плыл теперь на какой-нибудь галере. Негры из леса, вероятно, были заодно с людьми из Сан-Тапеты, одна лавочка... Надо же как-нибудь жить! А для того, чтобы продавать вещи и людей, надо ж их где-нибудь раздобыть. Относительно ласковое обращение со мной туземцев объяснялось самым подлым образом.

«Инфанта Комбитта» еще много-много недель качалась на волнах Атлантики, перекатываясь от рвоты к припадку, и наконец в один прекрасный вечер все вокруг нас утихло. Бред прекратился. На следующее утро, открыв иллюминаторы, мы поняли, что прибыли. Какое зрелище!

Удивиться мы удивились на совесть. То, что открылось вдруг в тумане перед нами, было настолько странно, что сначала мы глазам своим верить не хотели, а потом, когда все это было у нас уже под самым носом, ну и смеху же было, несмотря на подневольное каторжное наше положение!

Представьте себе, что город стоял стоймя. Нью-Йорк — это город, который стоит совершенно прямо. Мы, конечно, уже видели города, и к тому же красивые, видели знаменитые гавани. Но, понимаете ли, у нас города лежат на берегу моря или реки, лежат, раскинувшись, и поджидают путешественника, в то время как этот америкашка и не думал ложиться, он стоял стоймя, вытянувшись в струнку, жесткий до ужаса.

Словом, мы животики надорвали. Ну, конечно, смешно же, что выстроили такой стоячий город. Но смеялись мы только верхней частью нашего тела, оттого что с моря сквозь розово-серый туман шел холод, резкий и колкий, и брал приступом наши штаны, щели этой стены и улицы

города, в которые ветер загонял облака. Наша галера оставляла за собой узкий след как раз под плотиной, куда стекала вода цвета навозной жижи, в которой возились длинные вереницы маленьких, жадных, крикливых паромов и буксирных баржей.

Для людей неимущих хлопотливо высаживаться на какой бы то ни было берег, но для галерного невольника это еще гораздо хуже, тем более что люди в Америке не любят людей с галер, которые идут из Европы. Они говорят, что «то анархисты». В общем, они согласны принимать у себя только приезжающих из любопытства людей с деньгами, потому что все разнообразные деньги Европы — родные дети доллара.

Может быть, я мог бы попробовать сделать то, что удавалось другим: переплыть гавань и, вылезая на берег, начать кричать: «Да здравствует Доллар! Да здравствует Доллар!» Это хороший трюк. Много народу высадилось таким образом и составило себе потом состояние. Но это не наверное, об этом только рассказывают. Во сне и хуже бывает. У меня, несмотря на температуру, в голове была другая комбинация.

Научившись за время моего пребывания на галере считать блох (не только ловить их, но складывать, вычитать, словом — составлять статистику), профессии деликатной, которая как будто ничего собой не представляет, но на самом деле требует настоящей специальной техники, я хотел найти этой технике применение. Что ни говорите, а в технике американцы толк знают. Моя манера считать блох должна была им безумно понравиться, я был в этом уверен. По моему мнению, успех был обеспечен.

Я как раз собрался предложить им мои услуги, как вдруг пришел приказ отправить нашу галеру в карантин, в какой-то соседний заливчик, недалеко от небольшого поселка в глубине спокойной бухты, в двух милях на восток от Нью-Йорка.

Мы оставались там под наблюдением много недель, так что в конце концов у нас даже выработались привычки. Так, каждый вечер после ужина в соседний поселок отправлялась бригада за водой. Чтоб исполнить задуманное мною, мне пришлось к ней присоединиться.

Братишки отлично знали, чего я добиваюсь, но сами они в авантюры пускаться не любили. «Сумасшедший, — говорили они про меня, — но безобидный». На «Инфанте Комбитте» харчи были неплохие, били не часто и не слишком, в общем, было сносно. Обыкновенный средний труд. И потом — высочайшее преимущество: их никогда не рассчитывали и даже обещали нечто вроде маленькой пенсии, когда им исполнится шестьдесят два года.

Эта перспектива их чрезвычайно радовала, было о чем помечтать; а по

воскресеньям они, кроме того, играли в выборы и чувствовали себя свободными людьми.

В течение многих недель карантина они рычали все вместе на палубе, дрались, а также целовались. Главное же, что мешало им бежать со мной, было то, что они и слышать не хотели ничего об Америке, которой я так увлекался. Каждый по-своему представлял себе чудовище, для них Америка была пугалом. Они даже пробовали отбить у меня охоту. Сколько я им ни твердил, что у меня в стране были знакомые, между прочим моя Лола, теперь, должно быть, уже богатая, и Робинзон, которому тоже, должно быть, уже удалось устроить свои дела, они упрямо стояли на своем и продолжали относиться к Соединенным Штатам с отвращением и ненавистью.

— Ты как был не в себе, таким и останешься, — говорили они мне.

В один прекрасный день я отправился с ними как будто к водопроводу поселка, а потом сказал им, что не вернусь с ними на галеру. Привет!

В сущности, они были хорошие парни и работяги. Они мне еще раз повторили, что со мной не согласны, и все-таки пожелали мне всего хорошего и приятного, но по-своему.

— Иди! — сказали они мне. — Что ж, иди! Но мы тебя еще раз предупреждаем: у тебя неподходящие вкусы для беспартошного. Это тебе жар в голову бросается! Вернешься ты из твоей Америки, и вид у тебя будет хуже нашего. Твои вкусы тебя погубят. Хочешь учиться? Ты уже и так знаешь слишком много для своего положения.

— Но я хочу посмотреть на американцев, — настаивал я. — И женщины у них, каких нигде не бывает...

Наступила ночь, и с галеры раздался свист: им надо было плыть. Они взялись за весла и начали дружно грести, все вместе, кроме одного — меня. Я подождал до тех пор, пока плеск весел совсем затих, затем просчитал до ста, а потом уж кинулся бегом к поселку.

Нарядный такой он был, этот поселок, хорошо освещенный. Деревянные домики по правую и левую сторону часовни ожидали, чтобы в них поселились, и стояли тихо, как часовня. Но меня трепали озноб, малярия, а также страх. Изредка мне встречался моряк местного гарнизона с беспечным видом, потом даже дети и еще девочка, крепкая, мускулистая.

Америка! Я прибыл. Вот что приятно увидеть после стольких авантур. Как сочный плод. Америка возвращает к жизни. Я попал в единственный поселок, который стоял без всякого употребления. Маленький гарнизон, состоящий из семейств моряков, содержал все эти помещения в порядке на случай, если корабль вроде нашего привезет с собой чуму и она станет

угрожать большому порту.

Тогда в этих помещениях постараются уморить возможно больше иностранцев, чтобы жители в городе ничего не подцепили. У них даже и кладбище уже было готово рядышком, и цветочки там были насажены. Ждали. Вот уже шестьдесят лет как ждали, ничего не делали, кроме как ждали.

Я нашел пустой шалаш, потихоньку влез в него и сейчас же заснул. А с утра матросы в короткой одежде, крепкие да — посмотрели бы — какие складные, играючи подметали и поливали улицы вокруг моего пристанища и на всех прочих перекрестках этого теоретического городка. Как я ни старался придать себе независимый вид, мне до того хотелось есть, что я невольно пошел в ту сторону, откуда пахло кухней.

Тут-то именно меня и сцапали и повели между двумя стражами, решившись выяснить, кто я. Сейчас же разговор зашел о том, чтобы кинуть меня в воду. Кратчайшими путями меня повели к директору карантина, и я почувствовал себя не особенно бодро. Хотя я и набрался нахальства во время моих непрерывных злоключений, меня еще настолько трясла лихорадка, что я не решался ни на какую блестящую импровизацию. В настоящий момент я был в полубредовом состоянии и у меня не было энергии на что бы то ни было.

Разумнее всего было потерять сознание, что со мной и случилось. Я пришел в себя в том же кабинете. Несколько дам в светлых платьях заменили мужчин, они учинили мне неопределенный и доброжелательный допрос, который меня бы вполне удовлетворил. Но снисходительность никогда не бывает долговечна в этом мире, и на следующий же день мужчины снова заговорили со мной о тюрьме. Я воспользовался этим случаем, чтобы заговорить с ними о блохах, так, как будто б мимоходом... Что я умею их ловить... Считать... Что это было моей профессией... И также сортировать этих паразитов, составлять настоящую статистику. Я отлично видел, что мои штучки их интересуют, что они наострили уши. Меня слушали. Но что касается того, чтобы мне поверить, это был уже совсем другой коленкор...

Наконец появился сам начальник карантинной станции. Его именовали «главным врачом». Человеком он оказался грубым, но более решительным, чем другие.

— Что, дружище, — сказал он мне, — вы говорите, что умеете считать блох? Гм, гм!..

Он рассчитывал смутить меня этими словами. Но я сейчас же сразил его, произнеся следующую речь в свою защиту:

— Я верю в вымирание блох. Оно является фактором цивилизации, так как вымирание стоит на статистической, чрезвычайно ценной базе... Страна, стоящая за прогресс, должна знать число своих блох, разделенных по половым признакам, рассортированных согласно возрасту, годам, сезонам...

— Довольно! Довольно разглагольствовать, молодой человек! — прервал меня «главный врач». — До вас приезжало много таких пареньков из Европы, которые нас тоже кормили баснями в этом роде и в конце концов оказывались обыкновенными анархистами, как все остальные. Они даже и в анархизм больше не верили... Будет хвастаться!.. Завтра же вас пошлют на испытание к эмигрантам напротив, на остров Эллис, в отделение душей. Старший врач Мисчиф, мой ассистент, скажет мне, наврали ли вы. Вот уже два месяца, как Мисчиф требует у меня счетовода для блох. Вы отправитесь к нему на пробу. Марш! И если вы нас обманули, вас выбросят в воду. Марш! И берегитесь!..

Я выполнил — налево, кругом, марш! — перед американской властью, как я это делал перед столькими другими властями, то есть повернувшись к нему сначала передом, потом посредством быстрого полуоборота задом, отдавая в то же время честь.

Подумав, я решил, что ведь и статистика может помочь мне попасть в Нью-Йорк. На следующий же день доктор Мисчиф вкратце объяснил мне, в чем состоит моя служба. Он был толст, и желт, и близорук по мере сил и возможности, и носил огромные дымчатые очки... Должно быть, он узнавал меня так, как дикие звери узнают свою добычу, — больше по общим манерам, чем по деталям: с такими очками это было бы невозможно.

Что касается работы, то мы с ним сейчас же сошлись, и мне даже кажется, что в конце моего стажа Мисчиф относился ко мне с большей симпатией. Не видеть друг друга само по себе уже достаточно, чтобы симпатизировать, и потом его очаровывал мой замечательный талант ловить блох.

К вечеру у меня болели большой и указательный пальцы, столько я их давил за день; а работа моя еще не была кончена; оставалось еще самое главное — заносить в столбцы каждодневное положение вещей: блохи Польши... Югославии... Испании... площади Крыма... Перу... Все, что кусается и тайно сопровождает впавшее в ничтожество человечество, проходило под моими ногтями. Как видите, это была монументальная, требующая тщательности работа. Вычисления наши проводились в Нью-Йорке в специальном отделении, оборудованном электрическими



блехосчетными машинами. Каждый день буксирный пароходик карантина пересекал гавань, чтобы отвозить вычисления, которые надо было сделать или проверить.

Так проходили дни за днями, я понемножку выздоравливал, но вместе с разумом и нормальной температурой в этой комфортабельной жизни вернулась ко мне охота к приключениям и новым опрометчивым поступкам.

При температуре в тридцать семь градусов все становится банальным.

В субботу двадцать третьей недели ход событий ускорился. Товарища армянина, на котором лежала обязанность отвозить статистику, вдруг перевели на Аляску считать блох на собаках золотоискателей.

Вот это было повышение! Он был в восторге. Собаки на Аляске очень ценятся, они всегда нужны, и за ними ухаживают. В то время как на эмигрантов всем наплевать: их всегда слишком много.

Таким образом никого больше не было под рукой, чтобы посылать в Нью-Йорк с вычислениями, и, поломавшись, контора согласилась назначить меня. Мой хозяин Мисчиф пожал мне руку перед отъездом и посоветовал хорошо вести себя в городе. Это был последний совет, который он мне дал: я его и так нечасто видел, но тут мы расстались навсегда. Как только мы подплыли к пристани, дождь хлынул на нас, как из ведра, мой тоненький пиджак сейчас же промок насквозь, а статистика постепенно размякала у меня в руках. Но я все-таки сохранил часть, и из кармана моего торчал толстый пук этих самых вычислений. Он должен был придать мне вид делового человека в Сити. Преисполненный робости и волнения, я кинулся навстречу новым авантюрам.

Задрав нос, смотрел я на эти сцены, и у меня делалось что-то вроде головокружения наизуток; окон было действительно очень много, и все такие одинаковые, что от них даже начинало тошнить.

Я был так легко одет, что поспешил, весь продрогший, спрятаться в самую темную из всех щелей этого гигантского фасада, надеясь, что прохожие не слишком будут обращать на меня внимание. Излишняя стыдливость. Не стоило этого опасаться. На улице, которую я выбрал, действительно самой узкой из всех, не шире нашего ручейка, грязной, сырой, полной мглы, шло уже столько всякого народу, маленьких и больших толп, что они увлекли меня за собой, как тень. Они, как и я, шли в город на работу, должно быть, опустивши голову. Это были те самые бедняки, что и везде.

Делая вид, что я знаю, куда иду, я повернул направо и пошел по улице,

лучше освещенной; она называлась Бродвей. Название я прочел на доске. Где-то над верхними этажами видны были день, и чайки, и кусочки неба. Мы двигались в нижнем освещении, нездоровом, как свет в лесу, я таком сером, что оно наполняло улицу как бы серыми кусками грязной ваты.

Бесконечная улица, рана, на дне которой мы копошились, от края до края, от муки до муки, в поисках конца ее, которого не было видно, конца всех улиц света...

Машин не было, только люди, люди...

Позже мне объяснили, что это был драгоценнейший квартал, квартал золота: Манхэттен. Туда можно попасть только пешком, как в церковь. Это и есть банковское сердце сегодняшнего мира. Тем не менее некоторые прохожие идут и плюют прямо на тротуар. Есть же все-таки смельчаки!..

Этот квартал доверху наполнен золотом, это настоящее чудо, и даже, если прислушаться, за дверями слышен шелест долларов, чего-то вроде святого духа, чего-то, что драгоценнее крови.

Я все-таки зашел посмотреть и поговорить с ними, со служащими, которые сторожат монеты. Они грустны, и им мало платят. Мне не пришлось долго на них любоваться. Нужно было идти вслед за людьми по улице между двумя гладкими стенами мрака.

Внезапно наша улица расширилась, будто лопнула, и вылилась в целое озеро света. Мы оказались перед огромной лужей серого дневного света, втиснувшегося между домами-чудовищами. В самой середине этой просеки стоял павильон деревенского типа, окруженный жалкими лужайками.

Я спрашивал у многих прохожих в толпе, что это за постройка, но большинство делало вид, что не слышит меня. Им было некогда. Один, совсем молоденький, все-таки согласился ответить мне, что это была мэрия, памятник старины, колониальной эпохи, который сохранили... Вокруг этого оазиса — нечто вроде сквера, стояли скамейки, на них можно было сидеть и смотреть на мэрию. Больше смотреть было не на что.

Я просидел на этом месте около часа, и вдруг из сумерек, из этой безостановочно движущейся мрачной толпы хлынул неожиданный поток абсолютно прекрасных женщин.

Какое открытие! Что за Америка! Восхищение. Воспоминание о Лоле. Ее пример меня не обманул. Это было правдой.

Я достиг апогея моего паломничества. И если бы я в это время не страдал от голода, я считал бы, что переживаю один из моментов сверхъестественного эстетического прозрения. Еще бы сандвич, и я имел бы право считать, что я переживаю чудо. Но сандвича не было.

Сколько грации и гибкости! Сколько невероятнейшей нежности! Сколько гармонии! Опаснейших оттенков! Сколько многообещающих телом и лицом блондинок! А брюнетки! А эти Тицианы! Сколько их, и еще идут другие! Может быть, думал я, это возрождается Греция? И я приехал как раз вовремя?

Они мне казались тем более божественными, что совсем не замечали, что я сижу тут на скамейке, весь раскисший, пуская слюни от восхищения, в эротико-мистическом состоянии, поддерживаемом, надо признаться, хинином и голодом. Если б в этот момент я мог расстаться с собственной шкуркой, я бы покинул ее раз и навсегда. Ничто меня в ней больше не задерживало.

Так прошел час и два, в полном остоленении. Я ни на что больше не надеялся.

Надо было начать думать о вещах серьезных, постараться как-нибудь сберечь маленькую сумму денег, которая у меня имелаась. Денег было так мало, что я даже не смел их считать. Кстати, я бы и не мог: у меня двоилось в глазах. Сквозь материю я прощупывал в кармане тоненькие бумажки рядом с моими несчастными статистическими таблицами.

Проходили мужчины, особенно много молодых, головы их были как будто сделаны из розового дерева, взгляды сухи и однообразны, к челюстям трудно было привыкнуть: такие они были широкие, грубые... Должно быть, их женщины любят такие челюсти, иначе зачем они?.. Казалось, что мужской и женский пол не имеют друг к другу никакого отношения. Женщины смотрели только на витрины магазинов, на выставленные там в небольшом количестве сумочки, шарфы, какие-то шелковые штучки. Люди старые встречались редко в этой толпе. Редко также встречались и парочки. Никому не казалось странным, что я сижу уже несколько часов на этой скамейке и смотрю на проходящих мимо. Но все-таки полисмен, поставленный на середине мостовой, как чернильница, начал, очевидно, подозревать меня в каких-то тайных замыслах. Это было ясно.

Никогда не стоит привлекать к себе внимание властей, лучше всего быстро исчезнуть. Без объяснений. «В пропасть!» — сказал я себе.

Направо от моей скамейки как раз зияла широкая дыра в самом тротуаре, вроде как у нас для метро. Эта дыра показалась мне благоприятной — широкая, с ведущей вниз лестницей из розового мрамора. Я заметил, что многие прохожие исчезали в ней и вновь появлялись. Они ходили в это подземелье за некоторыми надобностями. Я сейчас же это понял. Происходило все это в зале, тоже мраморном. Нечто вроде бассейна, из которого выпустили бы всю воду, смрадный бассейн,

наполненный, как сквозь фильтр пропущенным, дневным светом, тускнеющим среди расстегнутых мужчин, среди их вони, среди пунцовых от натуги мужчин, делавших свои дела перед всем честным народом, сопровождая все это варварскими звуками, под смех и поощрения всех остальных, как на футболе. Вновь пришедших приветствовали тысячами шуток, пока они спускались по ступенькам; и все как будто были в восторге.

Насколько там, наверху, они держали себя хорошо, строго и даже печально, настолько перспектива опорожнить кишечник в шумной компании придавала им развязности и радовала их. Такой контраст, конечно, действовал странно на иностранца. Эта интимная распоясанность, эта грандиозная кишечная фамильярность, а на улице — абсолютная корректность. Я положительно остолебенел.

Я поднялся обратно по тем же ступенькам, чтобы отдохнуть на той же скамейке. У меня не было силы ни для анализа, ни для синтеза. Спать мне хотелось — вот что главное.

Я опять присоединился к хвосту прохожих, и мы продвигались толчками из-за магазинов, каждая витрина которых отрывала кусок от толпы. Около двери гостиницы образовался водоворот. Люди брызгами вылетали на тротуар через большую вертящуюся дверь, она же захватила меня в обратном направлении, и я оказался посередине большого вестибюля.

Сначала все было как-то удивительно... Приходилось все угадывать и только представлять себе величие здания, мощь его пропорций, потому что все происходило в свете настолько завуалированных лампочек, что надо было сначала привыкнуть к темноте.

В этой полутьме — множество молодых женщин, утонувших в глубоких креслах, как в футлярах. Вокруг них на некотором расстоянии ходили взад и вперед внимательные мужчины, любопытные и робкие, поглядывая на ряды скрещенных ног. Мне казалось, что эти волшебницы ожидают здесь каких-то важных событий. Конечно, не обо мне же они думали. И я вместе с другими, крадучись, прошел мимо этого длинного осязаемого соблазна.

За пюпитром выложенный служащий гостиницы резко предложил мне комнату. Я выбрал самую маленькую из всей гостиницы. В этот момент у меня было не больше пятидесяти долларов, почти никаких мыслей и никакой уверенности.

Я надеялся, что это действительно будет самой маленькой комнатой во всей Америке, оттого что гостиница «Laugh Calvin», судя по афишам, была

лучшей из всех шикарных гостиниц континента.

Какая бесконечная масса мебелированных помещений надо мной! А рядом со мной, в этих креслах, сколько соблазнов! Какая пропасть! Какие опасности! Неужели эстетической пытке нищего нет предела? Неужели она еще настойчивее голода?

Но мне некогда было погибать: люди в бюро уже дали мне ключ, тяжело наполнивший руку; я не смел двинуться с места.

Развязный мальчишка, одетый, как очень молодой генерал, вынырнул из тьмы передо мной; гладкий служащий конторы три раза ударил по металлическому звонку, а мой мальчишка принялся свистеть. Меня отправляли. Мы отошли.

Сначала по коридору, развив значительную скорость, мы мчались, темные и решительные, как метро. Ребенок вел меня. Еще один угол, поворот, и еще один. Никаких задержек. Мы слегка закругляем наш бег. Мимо. Лифт. Он нас всасывает. Приехали? Нет. Еще один коридор. Еще темней. Мне кажется, что на всех стенах черное дерево. Мне некогда рассмотреть их поближе. Мальчишка свистит, он несет мой тощий чемодан. Я не смею расспрашивать его. Надо идти, я понимаю. В темноте по дороге то тут, то там вспыхивают красные и зеленые лампочки, отдавая какие-то приказания. Длинные золотые полосы отмечают двери. Мы давно уже прошли мимо номера 1800 и потом номера 3000, но мы продолжали идти, ведомые непреклонной судьбой. Этот маленький ливрейный лакей следовал чему-то безымянному, как собственному инстинкту. Казалось, что ничего в этой пещере не может застать его врасплох. Его свисток жалобно заливался, когда мы встречали негра или горничную, тоже черную. И это все.

Старательно подгоняя самого себя, я потерял, пока мы шли по этим однообразным коридорам, весь апломб, который у меня еще был, когда я бежал из карантина. Я измочалился, как измочалилась моя халупа под африканским ветром в потоках теплой воды. Здесь происходила схватка между мной и целым потоком незнакомых ощущений.

Вдруг мальчишка без предупреждения остановился и повернулся на каблуке. Мы пришли. Я ударился о дверь: это была моя комната, большая коробка со стенами из черного дерева. Лишь на столе немножко света опоясывало робкую зеленоватую лампу. «Директор гостиницы доводит до сведения гостя, что он может рассчитывать на полное к нему внимание со стороны директора, который будет лично заботиться о развлечениях гостя во время его пребывания в Нью-Йорке». Это объявление, положенное на самом виду, еще усугубило мою тоску.

Когда я остался один, я почувствовал себя еще хуже. Вся эта Америка навалилась на меня, задавала мне огромные вопросы и досаждала мне мерзкими предчувствиями в самой моей комнате.

Испуганный, я лежал на кровати и для начала старался привыкнуть к темноте. Стены периодически сотрясались от грохота. Здесь проходило надземное метро. Как снаряд, летел поезд между двумя улицами, наполненный трясущимся рубленным мясом, рвался от квартала к кварталу по призрачному городу. Я лежал в совершенной прострации. Прошел обеденный час, настало время ложиться спать.

Я ошалел главным образом от этого бешеного метро. По другую сторону двора-колодца в стене зажглось одно окно, потом два, потом десятки. От меня было видно, что происходит в некоторых из них. Супружеские пары ложились спать. Американцы как будто устают не меньше нашего. У женщин были очень полные и очень бледные бедра, по крайней мере у тех, которых мне было видно. Почти все мужчины, перед тем как лечь, брились, куря сигару.

В кровати они снимали сначала очки, потом вынимали фальшивые зубы, клали их в стакан, на виду. Казалось, что оба пола не имеют друг к другу никакого отношения, совсем как на улице. Нечто вроде крупных ручных животных, привыкших скучать.

Только всего две пары без особого увлечения занялись при свете тем, чего я ожидал. Остальные женщины ели в кровати конфеты, в то время как их мужья брились. Потом все потушили свет.

Грустное зрелище — люди, которые ложатся спать: видно, что им наплевать на все происходящее, хорошо видно, что они не стараются понять, как и почему. Им все равно. Ничто не мешает им спать, этим толсторожим, необидчивым устрицам, кто бы они ни были, американцы или еще кто. У них всегда спокойная совесть.

Я видел слишком много неясных дел, чтобы быть довольным. Я знал слишком много и недостаточно много. «Надо выйти на улицу, — говорил я себе, — выйти еще раз. Может быть, ты встретишь Робинзона». Конечно, это была совершенно идиотская мысль, лишь предлог, чтобы выйти на улицу еще раз, тем более что я вертелся на кровати и никак не мог заснуть. В таких случаях даже заниматься онанизмом не помогает, несколько не развлекает. И наступает настоящее отчаяние.

Хуже всего то, что начинаешь спрашивать себя, будут ли завтра силы, чтобы продолжать делать то, что делал накануне и уже столько времени до этого; где взять силы для всех идиотских хлопот, для тысячи безнадежных проектов, попыток выбраться из подавляющей нищеты, попыток

неизменно тщетных, и все это для этого, чтобы лишний раз убедиться, что судьба неприступна, что все равно опять сорвешься и будешь лежать под стеной в страхе перед завтрашним днем, все более ненадежным, все более мерзким.

Может быть, это возраст подстерегает нас, предатель, и грозит нам. Замолкла в нас музыка, под которую плясала жизнь, вот и все. Вся молодость умерла где-то там, в конце света, в тишине истины. И куда идти, спрашиваю я вас, когда уже нет при себе необходимой дозы безумия? Истина это бесконечная предсмертная агония. Истина этого мира — смерть. Нужно выбрать: умереть или врать. Я никогда не мог бы покончить с собой.

Значит, лучше всего было выйти на улицу: маленькое самоубийство. У каждого свои способы, свой метод, чтобы приобрести сон и жратву. Надо было выспаться и вернуть необходимые силы, чтобы на следующий день заработать свой насущный хлеб.

Я кое-как оделся и добрался в несколько обалдевшем состоянии до лифта. Мне пришлось еще раз пройти по вестибюлю мимо прелестных загадок с соблазнительными ногами и нежными, строгими лицами. В сущности, богини, вышедшие на промысел богини! Можно было бы попробовать сговориться. Но я боялся, что меня арестуют. Осложнение! Почти все желания бедняка наказываются тюрьмой.

И улица втянула меня. Толпа была теперь уже не та. Эта толпа была смелее, продолжая все так же стадно идти по тротуарам, как будто эта толпа пришла в менее суровую страну, в страну развлечений, страну вечернюю.

Люди шли в сторону висящих вдалеке, в ночи, огней, разноцветных змей. Они прибывали из всех примыкающих улиц. «Сколько эта толпа тратит, — думал я, — только на одни носовые платки, например, или на шелковые чулки! И даже на одни папиросы! И подумать только, что можно гулять посреди этих денег, и у вас от этого не прибавится в кармане ни одного су, даже для того, чтобы что-нибудь съесть. Отчаяние берет, когда подумаешь, до какой степени люди защищены друг от друга. Как дома...»

Я тоже потащился в сторону огней: кино, и рядом еще одно, и потом еще одно, и так по всей улице. Перед каждым из них от нас отваливался большой кусок толпы. Я выбрал кино, где на выставленных фотографиях были сняты женщины в рубашках, и — Боже мой, какие бедра! А выше — очаровательные головки!..

В кинематографе было приятно, тепло. Огромный орган, нежный, как в церкви, но в натопленной церкви, орган, как бедра. Будто окунаешься в

теплую воду. Стоило отдаться своему чувству, и можно было бы поверить, что свет подобрел и сам уже тоже почти начинаешь добреть.

Тогда в темноте рождаются сны, они зажигаются, как мираждвигающихся огней. То, что происходит на экране, никогда не бывает вполне живым, остается какое-то большое место для снов и мертвых. Нужно торопиться, чтобы набраться побольше снов, чтобы перейти через жизнь, ожидающую на улице, протянуть еще несколько дней среди зверств людей и вещей. Среди снов выбираешь те, которые лучше всего согревают душу. На меня лучше всего действуют сны скабрезные. Не надо зазнаваться, надо от чуда брать то, что можешь унести. Блондинка с незабываемой грудью и затылком прервала молчание экрана песней, в которой речь шла об одиночестве. Я готов был заплакать вместе с ней.

В «Laugh Calvin» портье, несмотря на то, что я ему поклонился, не пожелал мне спокойной ночи, как это делается у нас, но теперь мне было наплевать на презрение портье.

В моей комнате, едва я закрыл глаза, блондинка из кино снова запела, и на этот раз для меня одного, свою горестную песнь. Я как будто помогал ей уснуть, и мне как будто удавалось... Теперь я был не совсем один... Невозможно спать одному...

В Америке экономно питаться хлебом с сосиской; это недорого и удобно, оттого что продается на каждом углу. Питаться в бедном квартале меня вполне устраивало, но не видеть больше тех чудесных созданий для богатых было тяжело. Тогда не стоило и есть.

Между тем энергия все еще не возвращалась ко мне. В Африке я познакомился с довольно грубым родом одиночества, но чувство изолированности в американском муравейнике обещало дать еще более угнетающие результаты.

Я всегда боялся опустошения, отсутствия серьезной причины для того, чтобы продолжать существовать. В настоящий момент я находился перед несомненным фактом моего собственного небытия. В этом окружении, слишком отличном от того, в котором сложились мои мелкие привычки, я немедленно растворился. Я просто чувствовал, что перестаю существовать. Таким образом я открыл, что, как только со мной перестали говорить о привычных вещах, ничто уже не мешало мне погрузиться в неотразимую скуку, в какую-то сладковатую, ужасающую душевную катастрофу. Отвратительно.

Накануне полного безденежья я все еще продолжал скучать так глубоко, что никак не мог принять какое бы то ни было решение. По натуре своей мы так легкомысленны, что только развлечения могут на самом деле



помешать нам умереть. Что касается меня, то я цеплялся за кинематограф с отчаянной страстью.

Выходя из бредовых сумерек моей гостиницы, я продолжал ходить по городу. Я бродил по улочкам около реки, еще по другим улочкам. Измерения их становились вполне нормальными, то есть с тротуара, на котором я находился, можно было бы разбить все стекла здания напротив.

Кухонный чад висел над этими кварталами, магазины ничего не выставляли: так много там крали. Все это мне напоминало окрестности моего госпиталя в Вильжюиве, даже кривоногие дети на тротуарах и шарманки. Я бы охотно остался здесь, но бедняки тоже не могли меня накормить, а все время видеть их чрезмерную нужду — пугало меня. И потому в конце концов я опять угодил в верхний город. «Подлец, — говорил я себе тогда. — Истинно говорю, нет в тебе добродетели». Приходится мириться с тем, что с каждым днем узнаешь себя немного лучше, раз не хватает энергии покончить раз навсегда с хныканьем.

Я даже не решался проверить, сколько у меня оставалось денег. «Только бы Лола не была как раз сейчас в отъезде... — думал я. — И потом, захочет ли она меня принять? Сколько я у нее спрошу для начала, пятьдесят или сто долларов?» Я колебался, я чувствовал, что наберусь храбрости, только если еще раз хорошенько выплюсь и поем. А потом, если это первое предприятие удастся, я сейчас же пушусь на поиски Робинзона, то есть сейчас же, как только ко мне вернутся силы. Робинзон был настоящим человеком, не то что я! Человеком решительным, смелым. Уж он давно, небось, знает все ходы и выходы в Америке! Может быть, он знал также, каким образом приобретаются энергия и спокойствие, которых мне так не хватало...

Когда у меня в кармане осталось только три доллара, я выложил их на ладонь и смотрел, как они играют при свете реклам на Тайм-сквер, удивительной маленькой площади, где реклама брызжет над толпою, занятой выбором кинематографа. Я подыскал себе дешевый ресторан и зашел в одну из тех рационализированных столовых, где количество прислуги минимально, а пищевой ритуал упрощен до точной меры естественной потребности.

У входа вам дается поднос, и вы становитесь в очередь. Ожидание. Соседки, очень приятные кандидатки на обед, молчат...

«Странное должно быть чувство, — думал я, — когда можно себе позволить подойти к одной из этих барышень с точеным и кокетливым носиком. Мадемуазель, — можно было бы ей сказать, — я богат, очень богат... Скажите мне, что могло бы доставить вам удовольствие...»

Тогда все сейчас же становилось просто, божественно просто, все, что было еще так сложно за минуту до этого. Все преображается, и чудовищно враждебный мир сейчас же клубком сворачивается у ваших ног, послушный и бархатистый. Может быть, тогда же теряешь изнуряющую привычку мечтать об удачниках, раз у самого то же самое в руках. Жизнь людей неимущих — лишь сплошной отказ во всем, а хорошенько познать и отказаться можно только от того, что имеешь. Что касается меня, то я столько перепробовал, столько сменил мечтаний, что у меня в сознании дул сквозняк: до того оно все потрескалось и расстроилось самым отвратительным образом.

Пока что я не смел завести с молодыми девушками самый безобидный разговор. Я послушно и тихо держал поднос. Когда пришла моя очередь, я подошел к фаянсовым чашкам, наполненным колбасами и горохом, и взял все то, что мне выдали. Столовая была так опрятна, что я чувствовал себя на мозаике пола, как муха на молоке.

подавальщицы, вроде больничных сиделок, стояли за макаронами, рисом, компотом. У каждой была своя специальность. Я взял то, что раздавали самые милые. К сожалению, они не улыбались посетителям. Получив свою порцию, надо было идти садиться. Держа перед собой поднос, продвигаешься маленькими шажками, как по операционной зале.

Но если посетителей заливали таким ярким светом, если нас на минуту вырвали из обычной тьмы, свойственной нашему положению, то это входило в заранее обдуманый план. У владельца были свои соображения.

Мне никак не удавалось спрятать ноги под столик, который достался мне, они вылезали со всех сторон. Мне бы очень хотелось деть их куда-нибудь, оттого что по другую сторону окна стояли и смотрели на нас люди, которых мы только что покинули на улице. Они стояли в очереди и ждали, когда мы кончим жрать, чтобы занять наши места. Именно для того, чтобы у них разыгрался аппетит, нас так хорошо и выгодно освещали, мы служили живой рекламой. На клубнике моего пирожного играли такие световые блики, что я не решался проглотить его.

От американской коммерции некуда податься.

Сквозь ослепительный блеск этих огней и мое смущение я все-таки заметил, что мимо меня бежит взад и вперед хорошенькая подавальщица. Я решил не пропустить ни одного из ее очаровательных движений.

Когда она подошла ко мне, я начал делать ей знаки, как будто я ее узнаю. Она посмотрела на меня без всякого удовольствия, как на зверя, но все-таки с некоторым любопытством. «Вот первая американка, — подумал

я, — которой пришлось обратить на меня внимание».

Докончив мое лучезарное пирожное, я должен был уступить место другому. Тогда, немного спотыкаясь, вместо того, чтобы пойти по прямой дороге, которая вела к выходу, я расхрабрился и, не обращая внимания на человека у кассы, который ждал нас всех с нашими монетами, направился в сторону белокурой девы.

Все двадцать пять подавальщиц на своих постах за дымящейся едой одновременно сделали мне знак, что я ошибаюсь, что я заблудился. Я заметил сильное движение среди людей, стоящих в хвосте по другую сторону окна, и те, которые должны были сесть за мой столик, остановились в нерешительности. Я нарушил порядок вещей.

Все вокруг громко удивлялись. «Верно, опять какой-нибудь иностранец!» — говорили они.

Хороша ли, плоха ли, но у меня была своя идея: я не хотел лишиться красоты, которая мне подавала. Она посмотрела на меня, тем хуже для нее. Мне надоело быть одному. Довольно мечтать: симпатии! близости!

— Мадемуазель, вы меня мало знаете, но я вас уже люблю. Хотите выйти за меня замуж?..

Вот что сказал я ей, вполне прилично. Ответа ее я так и не услышал, потому что гигантский страж, тоже весь в белом, появился как раз в этот момент и выбросил меня на улицу, точно, просто, без ругательства, без грубости, выбросил в ночь, как собаку, которая нагадила.

Все произошло по всем правилам, мне нечего было возразить.

Я пошел по направлению к «Laugh Calvin».

В моей комнате все те же грохот и гром вдребезги разбивали эхо; ураганом издали несло на нас метро, унося с собой при каждом новом шквале акведуки и с ними целый город, а совсем снизу подымались бессвязные механические призывы и потом — мягкий рокот толпы в движении, колеблющейся, всегда скучной, всегда продолжающей свой путь, и снова колеблющейся, снова возвращающейся. Вся эта большая человеческая каша города.

Оттуда, где я был, сверху, можно было кричать им что угодно. Я пробовал. Они все были мне противны. У меня не хватало смелости сказать им это днем в лицо, но там, где я находился, я ничем не рисковал, и я крикнул им: «На помощь! На помощь!» Только чтобы посмотреть, какое это на них произведет впечатление. Никакого! И ночью, и днем люди толкают перед собой жизнь, как тачку. Жизнь заслоняет от людей все. В своем обычном шуме они ничего не слышат. Плевать им! И чем больше город и чем он выше, тем более им наплевать. Я вам говорю: я пробовал.

Не стоит!

Исключительно из-за денег, из-за острой необходимости в них я стал разыскивать Лолу. Не будь этой жалкой необходимости, я бы предоставил ей стареть и перестать существовать, не поинтересовавшись этой стервой. В общем, она поступила со мной — когда я вспоминал прошлое, это не оставляло сомнений — с довольно отвратительной бесцеремонностью.

С большими трудностями я разыскал ее на двадцать третьем этаже 77-й улицы. Совершенно поразительно, до чего люди, у которых вы собираетесь просить помощи, вам противны. У нее в квартире было богато, и именно в том роде, в котором я ожидал.

Я заблаговременно начал себя большими дозами кинематографа и морально чувствовал более или менее в порядке, кое-как выбравшись из того состояния упадка, против которого я бился с момента приезда в Нью-Йорк. Первый момент нашей встречи был менее невыносим, чем я думал. Она как будто даже не очень удивилась, увидев меня, ей это было только немножко неприятно.

В качестве предисловия я попробовал завести безобидный разговор на темы, взятые из нашего общего прошлого, конечно, в самых осторожных выражениях, упоминая совсем между прочим, и не настаивая, о войне в качестве одного из эпизодов. Тут я дал маху. Она слышать больше не хотела о войне. Это ее старило. Обиженная, она мне немедля ответила, что она не узнала бы меня на улице: до того я сморщился, распух, превратился в собственную карикатуру. Мы обменялись любезностями в этом роде. Эта дрянь, может быть, думала меня обидеть такого рода пустяковинами. Я даже не стал отвечать на ее гаденькие дерзости.

В ее обстановке не было никакой особенной прелести, но она была приятна, во всяком случае, выносима — так мне показалось после моего «Laugh Calvin».

Быстро составленное богатство всегда производит впечатление чего-то магического. Мне ужасно нравилось смотреть, как женщины меняют кожу, и я отдал бы мой последний доллар консьержке Лолы, только б она согласилась осведомить меня о том о сем.

Но в доме не было консьержки. Во всем городе вообще не было консьержек. Застав Лолу врасплох и в новом окружении, я почувствовал к ней отвращение, и мне хотелось бы поиздеваться над вульгарностью ее успеха, ее тщеславия, пошлого и отвратительного, но у меня не было данных... Эта зараза немедленно передалась памяти о Мюзин, и она стала мне так же враждебна и гадка. У меня тогда не было необходимых данных,

чтобы вовремя и окончательно освободиться от всякой снисходительности, настоящей и будущей, к Лоле. Жизнь заново не переделаешь.

Но продолжаю рассказывать. Лола, значит, двигалась по комнате, легко одетая, и тело ее мне все-таки казалось еще желанным. Роскошное тело — это всегда какая-то возможность насилия, драгоценного, непосредственного, интимного вторжения в самое сердце богатства, роскоши, и это окончательно, без отдачи.

Может быть, она только и ждала этого жеста, чтобы прогнать меня. Но голод внушал мне осторожность. Сначала поесть бы! И потом она бесконечно рассказывала разные разности из своей жизни. Я ей признался, что мне придется зарабатывать себе на пропитание, и что в этом отношении мне даже приходится очень спешить, и что я был бы очень признателен ей, если бы она могла рекомендовать меня какому-нибудь хозяину... между ее знакомыми... Но главное — поскорей... Я удовольствовался бы самым маленьким жалованьем... И я продолжал расточать перед ней много безобидных любезностей и вздора. Она отнеслась довольно холодно к этому, очевидно, недостаточно скромному предложению. Она сейчас же меня обескуражила: она абсолютно никого не знает, кто мог бы дать мне работу или помочь мне, ответила она. Поневоле мы опять заговорили о жизни вообще и о ее жизни, в частности.

Так сидели мы и шпионили друг за другом духовно и физически, когда раздался звонок. И почти сейчас же четыре намазанные, зрелые, дебелие женщины ввалились в комнату. Мясо, драгоценности, фамильярность. Лола довольно неотчетливо представила им меня и, заметно смущенная, старалась увести их, но они ничего не хотели понять, сразу же все вместе занялись мною и начали мне рассказывать все, что они знали о Европе. Европа — старый сад, переполненный ненужными эротическими, скучными безумцами! Они знали наизусть знаменитый публичный дом Шабане и Отель дез'Энвалид.

Что касается меня, то я ни разу не был ни тут, ни там. Первый стоил слишком дорого, второй находился слишком далеко от меня. Я ответил им автоматическим припадком патриотизма, еще более нелепым, чем это бывало обычно. Я с живостью заметил, что их город меня положительно приводит в отчаяние.

— Это что-то вроде неудавшейся ярмарки, — сказал я им, — от которой просто тошнит и от которой почему-то все-таки настойчиво стараются добиться толка....

Разглагольствуя таким деланным и условным образом, я попутно замечал, что не одна только малярия является причиной моего морального

и физического упадка. К ней прибавлялась перемена привычек: надо было научиться распознавать новые лица в новом кругу, изучать новую манеру говорить и врать.

Новая страна, новые люди вокруг, которые двигаются немножко иначе, исчезновение некоторой доли тщеславия, гордости, которая потеряла смысл, исчезновение привычного эха — этого достаточно для того, чтобы голова пошла кругом, чтоб начались сомнения и чтоб вечность разверзлась перед вами, несчастная маленькая вечность, в которую вы падаете...

Путешествовать — значит искать эту безделицу, это головокружение для болванов.

Лолины гости очень веселились, слушая мою бурную исповедь. Они наговорили мне, что я и такой, и этакий, но я не все понял: они говорили на непристойном и умильном американском наречии. Патетические кошки!

Когда вошел негр-лакей и подал чай, мы замолчали.

Одна из гостей все-таки оказалась наблюдательнее остальных, так как она очень громко заявила, что у меня озноб и что, должно быть, я страдаю от необычайной жажды. Меня всего трясло, но мне все-таки очень понравилось то, что подали к чаю. Можно сказать, что эти сандвичи буквально спасли мне жизнь.

Разговор перешел на сравнительные достоинства парижских публичных домов, но я не принимал в нем участия. Красавицы отведали еще разных сложных напитков, после чего, окончательно разгорячившись и разоткровенничавшись, они заговорили о «браках». Несмотря на то, что был очень занят сандвичами, краем уха я слышал, что дело шло о каких-то особенных браках, между существами весьма юными, браках, с которых дамы получали какие-то проценты.

Лола заметила, что этот разговор меня очень занимает и что я внимательно слушаю. Она довольно сурово на меня посмотрела. Она больше не пила. Мужчины, с которыми была знакома Лола, американцы, не были любопытны. Я с трудом удерживался от явного допроса, тысячи вопросов вертелись у меня на языке.

Наконец гости ушли, тяжело ступая, возбужденные алкоголем и подбодрившиеся сексуально...

Как только они вышли за дверь, Лола стала с раздражением ругать их. Эта интермедия ей очень не понравилась. Я ничего не отвечал.

— Настоящие ведьмы! — продолжала она ругаться.

— Откуда вы их знаете? — спросил я.

— Это давнишние подруги...

Она не собиралась откровенничать со мной.

По некоторой надменности в отношении к Лоле мне показалось, что эти женщины в каком-то кругу имеют преимущество перед Лолой и пользуются несомненно большим авторитетом.

Лоле нужно было съездить в город, но она предложила мне подождать ее и, если я еще голоден, что-нибудь съесть в ее отсутствие. Так как я покинул «Laugh Calvin», не заплатив по счету, и не собирался вернуться туда по понятной причине, то я очень обрадовался разрешению побыть в тепле еще несколько минут, перед тем как выйти на улицу — и на какую улицу, о боги!

Как только я остался один, я направился по коридору в ту сторону, откуда появлялся негр. По дороге в лакейскую мы встретились, и я пожал ему руку... Он доверчиво отвел меня на кухню, прекрасное помещение, гораздо более разумное и нарядное, чем гостиная.

Он сейчас же начал плевать на блестящие плитки пола, плевать, как это умеют только негры, далеко, обильно, безупречно. Я тоже плюнул из вежливости, как умел. Мы сразу же разоткровенничались. Я узнал, что у Лолы катер-салон на реке, два автомобиля на шоссе, погреб и в нем напитки со всего света. Она получала каталоги из больших магазинов Парижа. Он без конца повторял эти скудные сведения, и я перестал его слушать.

Я дремал около него, и давно прошедшие времена проходили передо мной, времена, когда Лола бросила меня в Париже, времена войны. Но негр вдруг опять засуетился. В припадке новой дружбы он начал пичкать меня пирожными, напиговывал мне карманы сигарами. Наконец он со всяческими предосторожностями вынул из ящика круглую запломбированную массу.

— Бомба! — провозгласил он в неистовстве.

Я отскочил.

— Либерта! Либерта! — радостно вопил он.

Он положил все на место и опять великолепно сплюнул. Какое волнение! Он ликовал. Его смех заразил меня.

Когда Лола вернулась наконец, она застала нас вместе в гостиной, очень веселыми, в облаках табачного дыма. Она сделала вид, что ничего не замечает. Негр немедленно смылся, а меня она увела к себе в комнату.

Она мне показалась бледной и печальной. Где она была? Становилось поздно. Настал тот час, когда американцы бродят как потерянные, потому что жизнь вокруг них замедляет ход. Это час полупризнаний. Им надо торопиться, если хочешь воспользоваться им. Лола старалась создать настроение, задавая мне вопросы, но тон, которым она расспрашивала о

моей жизни в Европе, ужасно меня раздражал.

Она не скрывала, что считает меня способным на какую угодно гадость. Это предположение не обижало меня, оно только меня стесняло. Она, конечно, предчувствовала, что я пришел к ней за деньгами, и вполне естественно, что одного этого факта было достаточно, чтобы вызвать в нас враждебное друг к другу чувство. Все эти ощущения бродят где-то неподалеку от убийства. Мы отделялись общими фразами, я делал все от меня зависящее, чтобы все это не завершилось окончательной ссорой. Она между прочим поинтересовалась моими любовными похождениями и не оставил ли я где-нибудь, бродяжничая, ребенка, которого она могла бы усыновить. Странная мысль! Мысль усыновить ребенка была ее последним увлечением.

Она довольно наивно воображала, что неудачник в моем роде, должно быть, разбросал своих незаконных отпрысков под всеми небесами. У нее было много денег, призналась она мне, и она чахла от невозможности посвятить свою жизнь воспитанию ребенка. Она прочла все сочинения на тему о деторождении, особенно те, которые говорят о материнстве восторженно лирически, которые, если усвоить их целиком, навсегда отнимают у вас охоту любить. У каждой добродетели есть своя омерзительная литература.

Ей хотелось пожертвовать собой для маленького существа. Я же мог предложить ей только свое крупное существо, которое внушало ей отвращение. В сущности, успехом пользуются только хорошо поданные неудачи, те, которые действуют на воображение. Наш разговор не клеился.

— Вот что, Фердинанд, — предложила она мне наконец, — довольно разговаривать, поедem на другой конец Нью-Йорка; я хочу навестить одного мальчика, которым я занялась. Мне это доставляет удовольствие, только мать меня раздражает...

Странная это была минута. По дороге, в машине, мы разговорились о ее негре.

— Он показывал вам свои бомбы? — спросила она.

Я признался, что он подвергнул меня этому испытанию.

— Знаете, Фердинанд, этот маньяк совсем не опасен. Он заряжает бомбы моими старыми счетами... Когда-то, в Чикаго, было другое дело... Тогда он был членом страшного тайного общества освобождения черной расы. Мне говорили, что это были ужасные люди... Власти ликвидировали эту банду, но у моего негра осталось пристрастие к бомбам... Он никогда не кладет в них порох... С него довольно одного сознания... В сущности, он артист... Он никогда не перестанет заниматься революцией. Но я держу



его оттого, что он мне прекрасно служит. И, в общем, он, может быть, честнее тех, которые не делают революции...

После чего она снова вернулась к своей мании усыновления.

Хлестал дождь, сгущая ночь вокруг нашей машины, скользящей по длинной полосе гладкого цемента. Все было враждебно и холодно, даже ее рука, которую я все-таки крепко держал в своей.

Ничто нас не соединяло. Мы подъехали к дому, не имеющему ничего общего с домом Лолы. В квартире второго этажа нас поджидал мальчик лет десяти и его мать. В обстановке с претензией на стиль Людовика XV пахло кухней. Ребенок сел на колени к Лоле и нежно ее поцеловал. Мне показалось, что и мать очень нежна с Лолой, и пока Лола разговаривала с мальчиком, я постарался увести мать в соседнюю комнату.

Когда мы вернулись, мальчик репетировал с Лолой какое-то па, которое он разучивал в консерватории.

— Надо было бы, чтобы он брал частные уроки, — решила Лола. — Я смогу, может быть, показать его моей подруге Вере из театра «Глобус». Из этого ребенка может что-нибудь выйти.

После этих ласковых слов мать разразилась слезливой благодарностью. В то же время она получила маленькую пачку зеленых долларов, которые она спрятала за вырез платья, как любовную записку.

— Мальчик мне нравится, — объяснила мне в заключение Лола, когда мы очутились снова на улице, — но приходится терпеть мать, а я не люблю слишком хитрых матерей... И потом мальчишка все-таки слишком испорчен... Мне бы хотелось найти привязанность другого рода... Я хотела бы ощутить чисто материнское чувство... Вы меня понимаете, Фердинанд?

Ради жратвы я пойму все что угодно, тогда у меня не разум, а резина...

Ужас, до чего она привязалась к этой мысли о чистоте! Когда мы проехали еще несколько улиц, она меня спросила, где я буду ночевать. Я ей ответил, что если я не разживусь сейчас несколькими долларами, то я нигде не буду ночевать.

— Хорошо, — сказала она, — проводите меня до дому, я дам немного денег, потом вы можете идти, куда хотите.

Она очень хотела отделаться от меня сейчас же ночью, поскорее. Это было логично. «Если все будут продолжать толкать меня вперед, в ночь, я, может быть, куда-нибудь и докачусь, — говорил я себе. — Это утешение. Не унывай, Фердинанд, — подбадривал я себя, — тебя так долго будут отовсюду выгонять, что ты наконец найдешь какой-нибудь трюк, которого эти подлецы очень испугаются, трюк этот находится, должно быть, где-нибудь на краю ночи. Оттого-то они туда и не ходят, на край ночи!»

После этого мы совсем охладели друг к другу. Наконец машина замедлила ход. Лола пошла вперед, к дверям.

— Входите, — сказала она, — идите за мной!

Опять гостиная. Мне было интересно, сколько она мне даст, чтобы отделаться от меня. Она рылась в сумочке, оставленной на каком-то стуле. Я услышал оглушительный шорох бумажек. Какая минута! Во всем городе не было ничего, кроме этого шума. Я был так смущен, что спросил ее, сам не знаю почему и совсем некстати, как поживает ее мать, про которую я забыл.

— Моя мать больна, — заметила она и обернулась; чтобы посмотреть мне в лицо.

— Где она сейчас?

— В Чикаго.

— Чем больна ваша мать?

— У нее рак печени... Я позвала к ней лучших специалистов в городе... Ее лечение обходится мне очень дорого, но они ее спасут. Они мне обещали.

Она поспешно сообщила мне еще другие детали касательно состояния ее матери в Чикаго. Она стала вдруг нежной и близкой, она почувствовала потребность в моей поддержке. Она была в моих руках...

— А вы что по этому поводу думаете, Фердинанд? Они ее спасут?

— Нет, — ответил я отчетливо и категорически, — рак печени совершенно неизлечим.

— Но как же это, Фердинанд? Ведь специалисты уверяют, что они ее вылечат? Они мне положительно обещали... Они мне писали... Это великие ученые, знаете?..

— За деньги, Лола, к счастью, всегда найдутся великие ученые... Я бы сделал то же самое, если б я был на их месте... И вы, Лола, сделали бы то же самое.

То, что я говорил, показалось ей вдруг таким очевидным, что она не смогла больше протестовать.

На этот раз, может быть, первый раз в ее жизни, ее покинула самоуверенность.

— Послушайте, Фердинанд, вы меня страшно огорчаете. Вы отдаете себе в этом отчет?.. Я очень люблю свою мать. Вы ведь знаете, что я ее ужасно люблю?..

Вот так раз! Какое, к чертям собачьим, кому дело до того, что она любит свою мать?

Лола рыдала, одинокая Лола.

— Фердинанд, вы отвратительный ублюдок, вы просто мерзостная злюка, и больше ничего! Вы подло мстите мне за то, что вы на мели, и говорите мне всякие гадости... Я даже уверена, что это очень вредно для моей матери, что вы так о ней говорите...

Ее возбуждение пугало меня гораздо меньше, чем возбуждение офицеров с «Адмирала Брагетона», которые собирались меня уничтожить для развлечения праздных дам.

Я внимательно наблюдал за Лолой в то время, как она осыпала меня ругательствами, я чувствовал даже некоторую гордость, констатируя, что мое равнодушие растет, даже не равнодушие, а радость, по мере того как ее ярость увеличивалась.

Симпатичная порода — человек!

«Чтобы отделаться от меня, — рассчитывал я мысленно, — она даст мне теперь по крайней мере долларов двадцать... Может быть, даже больше...»

Я перешел в наступление.

— Лола, одолжите мне, пожалуйста, денег, или я останусь ночевать у вас и буду повторять вам все, что я знаю относительно рака, его осложнений, наследственности, так как рак наследственен, Лола. Не забывайте!

По мере того как я разрабатывал отдельные подробности болезни, я видел, как Лола бледнеет, обмякает. «Ага, стерва! — говорил я себе. — Держи крепче, Фердинанд! Когда-то еще удастся в другой раз так ее зацепить. Не отпускай!..»

— Нате! Берите! — крикнула она, доведенная до исступления. — Вот вам сто долларов, и убирайтесь и не смейте возвращаться никогда, слышите, никогда! Вон! Вон! Вон! Свинья паршивая!..

— Поцелуйте меня все-таки, Лола! Пожалуйста!.. Ведь мы не в ссоре, — предложил я ей. Мне интересно было знать, до чего может дойти ее отвращение ко мне.

Тогда она вынула из стола револьвер, и вовсе не в шутку. Я удовольствовался лестницей, даже не вызвал лифта.

Эта перепалка вернула мне энергию и желание работать. На следующий же день я сел в поезд и поехал в Детройт, где, я слышал, легко можно будет найти какую-нибудь работу, которая будет отнимать мало времени и хорошо оплачиваться.

Прохожие говорили со мной, как сержант в лесу.

— Вот! — сказали они мне. — Идите все прямо, ошибки быть не

может.

И я действительно увидел застекленные приземистые здания вроде бесконечных лестничных клеток для мух; в них двигались люди, еле-еле двигались, как будто они из последних сил отбиваются от чего-то невозможного. Это и есть Форд? А вокруг и до самого неба — тяжелый, многообразный, глухой шум целого потока всяческих аппаратов, упрямой механики, которая хочет вертеться, катиться, стонать, всегда готовая сломаться, никогда не ломаясь.

«Значит, это здесь, — сказал я себе. — Хорошего мало...» Это даже было значительно хуже всего остального. Я подошел ближе к самой двери, где на грифельной доске было написано, что требуются служащие.

Кроме меня, ждали и другие. Один из них сообщил мне, что ждет на этом самом месте уже два дня. Овца эта приплелась из Югославии специально для того, чтобы наняться к Форду. Другой оборванец уверял меня, что стоит в хвосте ради удовольствия, маньяк!..

Почти никто в этой толпе не говорил по-английски. Они следили друг за другом, как недоверчивые животные, которых часто бьют. От всей этой массы пахло мочой, как в госпитале. Когда они заговаривали, приходилось отворачиваться, оттого что нутро бедняков заранее пахнет смертью.

Дождь поливал нас. Хвосты жались к стенам, под карнизы. Люди, ищущие работу, очень легко спрессовываются. Старик русский откровенно объяснил мне, что у Форда хорошо то, что там принимают на работу всех без разбора.

— Только берегись, — прибавил он в виде совета, — характер у них показывать нельзя: выкинут в два счета и в два счета заменят машиной — они у них всегда наготове, а тебе скажут: до свиданья!..

Русский говорил совсем по-парижски — он был много лет шофером такси в Париже. После какого-то дела с кокаином он потерял место, а в конце концов и машину свою проиграл в кости одному клиенту в Биаррице.

У Форда действительно принимали всех без разбора. Это он мне верно сказал. Я немножко сомневался, оттого что у бедняков всегда богатое воображение. Иногда нищета доводит до такого состояния, что дух временами начинает покидать тело. Уж очень ему там плохо. С вами говорит уж почти что только одна душа. А душа ни за что не отвечает.

Сначала нас раздели догола. Осмотр медленно происходил в чем-то вроде лаборатории. Мы медленно дефилировали.

— Неважное сложение, — констатировал фельдшер, осмотрев меня, — но это ничего не значит.

А я-то боялся, что меня не возьмут на работу, если, пощупав мою

печень, выяснят, что у меня африканская малярия. Оказалось, наоборот, они даже будто бы были довольны, что в нашей партии так много уродцев и инвалидов.

— Для работы здесь сложение совершенно неважно, — сейчас же успокоил меня осматривающий врач.

— Тем лучше, — ответил я, — но знаете, мосье, я человек с образованием, я даже изучал медицину...

Доктор сейчас же окинул меня подозрительным взглядом. Я почувствовал, что опять сел в калошу. — Образование вам здесь не пригодится, братец мой! Вы пришли сюда не для того, чтобы думать, а для того, чтобы проделывать те движения, которым вас научат... Нам не нужны на заводе люди с воображением. Нам нужны шимпанзе. Еще один совет. Никогда не говорите здесь о своих способностях. Думать на заводе будут за вас другие, мой друг! Советую вам это запомнить.

Он хорошо сделал, что предупредил меня. Гораздо лучше было заранее познакомиться со здешними порядками. Глупостей я и так наделал на десять лет вперед. Мне хотелось бы теперь производить впечатление труженика. Когда мы оделись, нас снова выстроили рядами и медленными, неуверенными группами повели туда, откуда шел механический грохот. Все дрожало в огромном здании, дрожали и мы, с ног до ушей охваченные тряской, которая шла отовсюду: от стекол, от пола, от металла; отовсюду — сверху донизу — толчки и вибрации. От этого и сам превращаешься в машину всем своим трясущимся мясом, в этом неизъяснимом бешеном грохоте, который хватает вас изнутри, зажимает голову, вытряхивает кишки и поднимается к глазам маленькими, поспешными, безостановочными, неустанными толчками. По дороге мы постепенно теряли своих спутников. Расставаясь с ними, мы улыбались, как будто все это было очень мило. Говорить друг с другом было невозможно: ничего не было слышно. Мы оставляли по четыре, по пять человек около каждой машины.

Стараешься сопротивляться: ведь все-таки трудно потерять всякий интерес к собственной субстанции; хотелось бы остановить все это, чтобы можно было подумать, как легко бьется собственное сердце... Но это невозможно. Этому нет конца. Бесконечная коробка со сталью словно сорвалась с места, и мы вертимся в ней вместе с машинами и с самой землей! Тысячи колесиков и молотов, никогда не опускаясь одновременно, с шумом налетают друг на друга с такой иногда силой, что вокруг них даже разрежается какая-то тишина, дающая на минуту успокоение.

Узкоколейный вагончик, нагруженный каким-то железом, беспокойно

старается пробраться между машинами так, чтобы не задеть их. Дорогу ему! Посторонитесь, дайте возможность этому истерику рвануться еще раз! Гоп! Дребезжащий безумец, вертя задом, бежит дальше между приводами и маховиками, развозя людям их порции рабства.

Тошно смотреть на рабочих, которые нагибаются над машинами, всячески стараясь им угодить, скрепляя их болтами разных калибров, вместо того чтобы разом со всем этим покончить — с этим запахом масла, с этим паром, выжигающим через горло барабанные перепонки и внутренность ушей. Не стыд заставляет их опускать голову. Шуму уступаешь, как уступаешь войне, так же отдаешься машинам с теми тремя мыслишками, которые трепыхаются там, за лбом. Конец! Куда ни взглянешь, за что ни схватишься, теперь все твердо и жестко. И все, что еще где-то копошится в памяти, тоже твердеет, как железо, и теряет вкус.

Сразу чувствуешь себя стариком.

Нужно уничтожить жизнь, которая осталась снаружи, сделать из нее сталь, что-нибудь полезное. Мы ее недостаточно любили такой, какая она есть.

Я попробовал говорить с мастером, крича ему на ухо, он заворчал в ответ, как свинья, и без слов терпеливо начал показывать мне те несложные движения, которые я должен буду теперь бесконечно повторять. Все минуты, часы, все будущее время уйдет на то, чтобы передавать моему слепому соседу гайки, а он будет проверять их диаметр, как он это делает уже много лет. Сразу же выяснилось, что я этого делать не умею. Меня не ругали, но через три дня после этой работы приставили меня к маленькой тачке, которая ковыляла от одной машины к другой. Я перевозил на ней какие-то кругляшки. У одной машины я оставлял их три, у другой двенадцать, у третьей только пять. Никто со мной не разговаривал. Жизнь продолжалась только потому, что трудно было выбирать между отупением и бредом. Все было неважно, кроме бесконечно длящегося грохота и тысяч-тысяч инструментов, которые властвовали над людьми.

Когда в шесть часов все останавливается, то уносишь с собой этот шум; мне хватало его на целую ночь, ночь шума и запаха масла, как будто мне навсегда подменили обоняние и мозг.

Так постепенно отказываясь от того, от другого, я стал как-то совсем иным человеком... Новым Фердинандом. И мне захотелось повидать людей с воли. Конечно, не людей из цеха, они, как и я, были только запахами и отзвуками машин, бесконечно вибрирующим мясом. Мне уже хотелось дотронуться до настоящего тела, до розового тела из настоящей, тихой и мягкой жизни.

Я никого не знал в этом городе, и главное — ни одной женщины. С большим трудом мне удалось узнать неточный адрес «дома», тайной бордели в северной части города. Несколько вечеров подряд я ходил в эту сторону после работы на разведку. Эта улица была — как и все прочие улицы, может, немножко чище, чем та, на которой я жил.

Я нашел тот самый павильончик, в котором это происходило; он стоял в саду. В дверь надо было юркнуть так, чтобы фараон, стоящий на посту напротив двери, мог сделать вид, что он ничего не видел. Это было первым местом в Америке, где меня за мои пять долларов встретили не грубо, даже любезно. Красивые молодые женщины, в теле, налитые здоровьем и грациозной силой, почти такие же прекрасные, как те, в «Laugh Calvin».

Кроме того, их по крайней мере можно было совсем просто трогать. Я не мог не превратиться в завсегдатая этого учреждения, все мое жалование я оставлял там. К вечеру, чтоб освежить душу, мне была необходима близость этих великолепных и гостеприимных дев; мне уже мало было кинематографа: это противоядие больше не действовало против реальных ужасов завода. Для того чтобы как-нибудь протянуть, пришлось прибегнуть к героическим, укрепляющим средствам, сильно действующим на жизненные процессы. С меня в этом доме брали недорого, потому что я из Франции привез этим дамам всякие трюки и штучки. Только по субботам вечером трюки хождения не имели, и мне приходилось уступать место бейсбольным командам, великолепным силачам, здоровякам, которым счастье давалось так же легко, как нам дыхание.

Пока команды наслаждались, на меня также находило вдохновение, и я, сидя на кухне, сочинял рассказы для моего собственного удовольствия. Энтузиазм этих спортивных юношей по отношению к местным дамам, конечно, не принимал размеров моего несколько бессильного рвения. Эти автономные в своей силе атлеты были пресыщены физическими совершенствами. Красота — как алкоголь или комфорт: к ним привыкаешь и перестаешь их ощущать.

Они приходили в бордель главным образом для того, чтобы повеселиться и похулиганить. Часто под конец они ужасно дрались. Тогда ураганом налетала полиция и увозила их вместе на грузовичках.

Скоро я почувствовал к одной из женщин, Молли, исключительное чувство доверия, которое людям перепуганным заменяет любовь. Я помню, как будто это было вчера, какая она была милая, какие у нее были длинные, покрытые светлым пушком ноги, тонкие, мускулистые, аристократические ноги. Что ни говорите, а настоящая человеческая аристократичность, она, несомненно, в ногах проявляется.

Мы стали близки друг другу телом и духом. Часами гуляли мы вместе по городу. У нее было много денег, у моей подруги: ведь она зарабатывала в «доме» около ста долларов в день, в то время как я у Форда зарабатывал едва-едва шесть. Любовь, которой она занималась как средством существования, ее не утомляла. Американцы делают это, как птицы.

К вечеру, протаскавши целый день свою тачку, я все-таки, заходя к ней после обеда, старался быть ей приятным. С женщинами нужно быть веселым, хотя бы в первое время. Смутное, большое желание терзало меня. Мне очень много хотелось ей предложить, но у меня уже не было сил. Молли хорошо понимала это индустриальное отупение, она привыкла к рабочим.

Как-то вечером без всякого повода она предложила мне пятьдесят долларов. Я сначала только нерешительно посмотрел на нее. Я не смел. Я думал о том, что бы сказала мать по этому поводу. И потом еще я подумал, что моя мать, бедняжка, никогда не предлагала мне такой суммы. Чтобы доставить удовольствие Молли, я сейчас же пошел и купил себе на ее доллары красивый бежевый костюм. Весной того года этот цвет был в моде. Никогда еще я не приходил таким разодетым. Хозяйка завела большой граммофон единственно для того, чтобы научить меня танцевать.

После этого мы пошли с Молли в кино. По дороге она меня спросила, не ревную ли я, потому что в новом костюме я казался печальным. Мне не хотелось работать на заводе. Новый костюм может совсем выбить из колеи. Она его весь исцеловала, этот костюм, когда на нас не смотрели. Я старался думать о чем-нибудь другом.

Какая это была женщина, Молли! Какой цвет лица! Сколько молодости! Какой праздник желаний! И я снова начал беспокоиться. «Альфонс?» — думал я про себя.

— Да не ходи ты больше к Форду, — отнимала Молли у меня последнее мужество. — Поищи лучше какую-нибудь легкую службу в конторе — например, переводчиком; это тебе очень подойдет... Ты же любишь книги...

Так советовала она мне от полного сердца, она хотела, чтобы я был счастлив. В первый раз в жизни человек интересовался мной исходя, так сказать, из моего эгоизма, ставил себя на мое место, а не только судил обо мне со своей точки зрения, как все остальные.

Она так мило старалась меня уговорить не уезжать, разубедить меня.

— Знаете, Фердинанд, жизнь проходит здесь так же, как в Европе. Нам вместе будет неплохо. (И до некоторой степени она была права.) Мы накопим денег, купим магазин... Все будет, как у людей...



Она говорила это, чтобы успокоить мою совесть. Планы. Я соглашался с ней. Мне было даже стыдно, что она старается меня удержать. Я, конечно, ее очень любил, но я еще больше любил свой собственный порок: желание бежать отовсюду, где бы я ни был, в погоне неизвестно за чем, по гордости, несомненно, глупой, уверенный в каком-то своем превосходстве.

Мне очень не хотелось ее обижать — она понимала это. До того она была мила, что я кончил тем, что признался ей в мучившей меня мании — бежать отовсюду, где бы я ни был. Она старалась помочь мне победить это глупое и тщетное томление.

Я привык к ее доброте, она почти что перешла ко мне. Но тогда мне начало казаться, что я надуваю свою судьбу, то, что я называл смыслом своего существования, и я сейчас же перестал рассказывать ей то, о чем я думаю. Я снова замыкался в себе, очень довольный тем, что стал еще несчастнее, оттого что принес с собой в мое одиночество отчаяние на новый лад, напоминавшее настоящее чувство.

Все это очень банально. Но у Молли было ангельское терпение, она нерушимо верила в существование призваний. Например, ее младшая сестра в университете Аризоны приобрела манию фотографирования птиц в их гнездах и хищных зверей в их норах. И вот для того, чтобы она могла продолжать изучение этой своеобразной техники, Молли посылала своей сестре-фотографу пятьдесят долларов в неделю.

У нее было поистине бесконечное сердце, действительно возвышенное, настоящая звонкая монета, а не подделка, как у меня и у других людей. Последняя вспышка деликатности помешала мне спекулировать на этой мягкой, слишком духовной натуре. Вот каким образом я окончательно испортил свои отношения с судьбой.

Пристыженный, я даже попробовал тогда вернуться к Форду. Небольшой припадок героизма, не имевший последствий. Я только и сделал, что дошел до дверей завода, и остановился, как вкопанный. Перспектива увидеть машины, которые ожидали меня, продолжая вертеться, уничтожила во мне безвозвратно последние покушения на трудолюбие.

И я снова пошел по направлению к Сити. По дороге я зашел в консульство, так себе, для того, чтобы проверить, не слыхали ли они часом чего-нибудь об одном французе — Робинзоне.

— Как же! Конечно, — ответили мне у консула. — Он даже приходил к нам сюда два раза, и даже с фальшивыми бумагами... Кстати, полиция его разыскивает. Вы его знаете?

Я не стал настаивать.

С этих пор я каждую минуту надеялся встретить Робинзона. Я чувствовал, что это должно случиться. Молли по-прежнему была мила и нежна. Она даже стала еще добрее с тех пор, как убедилась, что я не останусь с ней. Она была слишком искренна, чтобы много говорить о своем горе. С нее довольно было того, что у нее осталось на сердце. Мы целовались. Но я целовал ее не так, как должен был бы: на коленях...

Возвращаясь с прогулок, я прощался с ней у дверей ее дома, потому что всю ночь и до утра она была занята гостями. Пока она занималась с ними, мне все-таки было больно, и эта боль так говорила о ней, что я ее чувствовал рядом с собой еще сильнее, чем когда мы были вместе. Чтобы провести время, я заходил в кино. По окончании я садился в трамвай и ехал куда-нибудь. Путешествовал в ночи.

После двух часов начинали появляться пассажиры, которых никогда нигде не встречаешь ни до, ни после этого часа, — бледные, заспанные, молчаливые свертки, едущие на окраину. С ними можно было ехать далеко, еще дальше заводов, в сторону каких-то пустырей, переулков с неясными домами. На липкой от предрассветного дождичка мостовой голубел наступающий день. Мои трамвайные спутники уходили одновременно со своими тенями. Они закрывали глаза от света. Заставить говорить эти тени было трудно: слишком они устали. Они не жаловались, нет. Это они по ночам убирали магазины и еще магазины и конторы всего города. Казалось, что в них меньше беспокойства, чем в нас, в людях дня. Может быть, оттого, что они дошли до самых низов.

В одну из таких ночей, когда, доехав до конца и пересаживаясь на другой трамвай, я осторожно выходил со всеми остальными, мне показалось, что меня зовут: «Фердинанд! Эй! Фердинанд!» Мне это не понравилось. Над головами уже возвращалось небо холодными клочками. Нет сомнения, что меня кто-то звал. Обернувшись, я сразу узнал его, Леона. Он шепотом подозвал меня, и мы объяснились.

Он тоже возвращался с уборки конторы, как все другие. Это все, что он сумел придумать. Он величественно выступал, как будто только что исполнил какое-то опасное и сакраментальное дело. Кстати, у всех ночных уборщиков была такая манера — я уже заметил это. В ночи и одиночестве божественное вылезает из людей. У него и глаза были полны им, он открывал их в голубоватой тьме, в которой мы находились, гораздо шире, чем обычно. Он уже убрал неизмеримые пространства уборных и начистил до блеска горы и горы многочисленных этажей. Он прибавил:

— Я тебя сразу узнал, Фердинанд. По тому, как ты влез в трамвай... Представь себе — по одному тому, как ты загрузил, когда в трамвае не

оказалось ни одной женщины. Ведь правда? Ведь это на тебя же похоже?

Это действительно было на меня похоже. Это верное наблюдение меня не удивило. Что меня действительно удивило, так это то, что и он ничего не добился в Америке. Этого я никак не ожидал.

Я заговорил с ним о том, какую шутку со мной сыграли в Сан-Тапете с галерой. Но он не понимал, что это значит.

— У тебя жар! — ответил он мне просто.

Он прибыл на грузовом пароходе. Он бы тоже попробовал поступить к Форду, но не смел, бумаги у него были слишком уж фальшивые.

— Они годятся только на то, чтобы их в кармане носить, — заметил он.

Что касается уборщиков, то насчет документов строгостей не было. Платили немного, но зато смотрели сквозь пальцы на такие вещи. Что-то вроде ночного иностранного легиона.

— А ты что делаешь? — спросил он меня. — Все еще не все дома? Еще не надоели штуки и фокусы? Тебе все еще мало путешествий?

— Хочу ехать во Францию, — говорю я ему, — довольно с меня, насмотрелся, твоя правда...

— Хорошо делаешь, — ответил он мне. — Чего нам здесь дожидаться... Постарели мы как-то совсем незаметно для себя. Я бы тоже поехал, да вот бумаги проклятые... Подожду еще немножко, может, получу хорошие... Работа наша не Бог вещь какая. Но бывает хуже. По-английски я не выучился... Есть такие, которые за тридцать лет уборки научились только слову «Exit»<sup>[4]</sup>, потому что они чистят двери, и потом — «Lavatory»<sup>[5]</sup>. Понимаешь?

Я понимал. Если только Молли от меня откажется, то и мне придется заниматься этим ночным трудом.

Надежды, чтобы это все когда-нибудь кончилось, не было никакой.

В общем, во время войны думаешь, что в мирное время будет лучше, а потом эту надежду съедаешь, как конфету, и оказывается, что это просто одно дерьмо. Сначала не решаешься это сказать, чтобы другим не было противно. А потом в один прекрасный день кончается тем, что все-таки громогласно об этом заявляешь перед всем честным народом. И тогда все вдруг находят, что вы плохо воспитаны. И все тут.

После этого мы еще встречались с Робинзоном раза два-три. У него был плохой вид. Французский дезертир, выделяющийся контрабандой ликеры для этих каналов из Детройта, уступил ему кусочек своего «бизнеса». Робинзона это прельщало.

— Я бы согласился. Отчего же не гнать самогон для этих паршивцев, — сознался он мне, — да не хватает духу... Чувствую, что на первом же допросе размякну... Слишком я всего натерпелся... И потом мне все время хочется спать... Конечно, спать днем — это как бы и вовсе не спать... Не говоря о пыли в конторах; она набивается в легкие... Ты себе представляешь... До ручки добился...

Мы назначили друг другу свидание на одну из ближайших ночей. Я вернулся к Молли и все ей рассказал про отъезд. Она очень старалась не показать, до чего ей больно, но нетрудно было об этом догадаться. Я теперь еще чаще целовал ее, но горе ее было глубоко, оно было искренней, чем наше, европейское, потому что мы привыкли говорить больше, чем есть на самом деле. Американцы как раз наоборот. Это немножко унижительно для нас, но все-таки это и есть настоящее горе, не гордость, не ревность, не сцены, только настоящая сердечная боль.

И нужно признаться, что у нас всего этого не хватает и что из удовольствия огорчаться мы становимся сухи. Стыдно скудости своего сердца и того, что считал человечество более подлым, чем оно есть на самом деле.

— Ты очень милый, Фердинанд, — утешила меня Молли, — не плачь из-за меня... Это у тебя как болезнь — гнаться все время за новым... Вот и все... Что ж, это, должно быть, твоя дорога... Одиноким путешественник едет дальше других... Значит, ты скоро уезжаешь?

— Да, поеду кончать ученье во Францию, а потом я вернусь, — уверял я ее нахально.

— Нет, Фердинанд, не вернешься... И потом и меня больше тут не будет.

Она не обманывала себя.

Подошел день отъезда. Днем я пошел попрощаться с Робинзоном. Он тоже был смущен тем, что я его покидаю. Конца не было расставаниям. На перроне вокзала, где мы с Молли ждали поезда, мимо нас прошли мужчины, которые сделали вид, что не узнали ее.

— Ну вот, Фердинанд, ты уже далеко. Не правда ли, Фердинанд, что ты поступаешь в точности так, как тебе хочется? Только это и важно... Только с этим и надо считаться...

Подошел поезд. Вид паровоза слегка поколебал ее уверенность. Я поцеловал Молли со всем мужеством, которое мог в себе наскрести. На этот раз мне по-настоящему было больно за нее, за себя, за всех людей.

Может быть, это и есть то самое, чего мы ищем в жизни, — наибольшая боль, для того, чтобы перед тем, как умереть, найти самих

себя.

Годы и годы прошли после этого расставанья. Я часто писал в Детройт и другие места по всем адресам, которые мог вспомнить и где могли знать, куда Молли девалась. Я ни разу не получил ответа. Хорошая, удивительная Молли. Я хочу — если она, может быть, прочтет эти строки, — чтоб она знала, что я не изменился, что я ее по-своему люблю и сейчас, что она может поехать ко мне, когда захочет, и делить со мной хлеб и мою участь. Если она больше уже не хороша, ну что ж! Как-нибудь устроимся. Сколько ее красоты осталось во мне, такой живучей, горячей, что хватит ее на двоих и еще по крайней мере лет на двадцать, которые нужны для того, чтобы закончить это дело.

Чтобы расстаться с ней, много надо было безумия, скверного, холодного безумия. Но все-таки я защищал до сих пор свою душу, и если завтра придет за мной смерть, я не буду — я в этом уверен — таким уж гадким, холодным, тяжелым, как другие: столько милого мне подарила Молли за эти несколько месяцев в Америке!

Вернуться из Нового света — это еще только полдела: здесь тебя поджидает дней черед такой же, как ты его оставил. Пока что он где-то валялся, липкий, хрупкий, и ждал тебя.

Шли недели, месяцы, а я все бродил по площади Клиши (откуда я начал свое путешествие) и в окрестностях, зарабатывая себе на хлеб чем придется. Этого не рассказать. Работа под дождем или в июньской жаре автомобилей, которая выжигает вам горло и носоглотку почти что как у Форда. Для развлечения я смотрел на проходящих мимо людей, идущих вечером в театры или Булонский лес.

В свободное время я почти всегда был один и копался в книгах, газетах и во всем том, что мне приходилось видеть. Я начал снова заниматься и сдал экзамены, продолжая зарабатывать. Поверьте, что науку хорошо стерегут, факультет — это хорошо запертый шкаф. Банок много, а варенья мало. Через пять-шесть лет академических мучений я все же получил свое пышное звание. Тогда я повесил вывеску на окраине — это в моем духе, — в Гаренн-Ранси, на самом краю Парижа, сейчас же после заставы Брансион.

У меня не было никаких претензий, не было тщеславия; мне просто хотелось, чтобы мне дали на минуту вздохнуть и чтоб я мог немножко лучше питаться. Я прибил к двери дощечку и стал ждать.

Люди со всего околотка приходили и подозрительно оглядывали мою дощечку. Они даже справлялись в комиссариате полиции, на самом ли деле я настоящий врач. «Да, — ответили им, — у него диплом, это настоящий

врач». Тогда во всем Ранси начали говорить о том, что у них ко всем докторам прибавился еще один. «Здесь он себе на хлеб не заработает! — сейчас же предсказала моя консьержка. — И так слишком много врачей!» И ее наблюдения были вполне правильными.

На окраине жизнь по утрам прибывает главным образом на трамваях. Они приходили целыми пачками, развозя чуть свет уже ошалевших людей на работу.

Молодые даже как будто были довольны тем, что едут на работу. Они цеплялись за подножки, даже веселились, голубчики. Посмотрели бы вы на них! Но когда вы, например, уже двадцать лет знакомы с телефонной будкой в трактире, такой грязной, что каждый раз принимаете ее за уборную, у вас пройдет охота шутить с серьезными вещами, в частности, с Ранси. Тогда понимаешь, куда тебя загнали. Дома завладели тобой, у них плоские опаршивевшие фасады, а сердце их принадлежит хозяину. Его никогда не видно. Он не смеет показаться. Он посылает вместо себя суку-управляющего. Впрочем, в околотке говорят, что когда встречаешь его хозяина, то он всегда очень любезен. Это ни к чему не обязывает.

В Ранси с неба падает тот же свет, что и в Детройте, — разжиженный дым, в котором мокнет равнина, начиная от Леваллуа. Трубы, низкие и высокие, издали одинаково похожи на толстые колья, воткнутые в тину на берегу моря.

Ну и мужественным же надо быть в Ранси, как крабы, особенно когда начинаешь стареть и когда уже наверное знаешь, что оттуда не выбраться. После конечной остановки трамвая вот липкий мост, переброшенный через Сену, через эту толстую сточную трубу, в которой все всплывает на поверхность. На берегу в воскресенье и по ночам мужчины взбираются на кучи, чтобы помочиться. Мужчины становятся задумчивыми, когда мимо них протекает вода. Они мочатся, ощущая вечность, как моряки. Женщины никогда не задумываются, им все равно, есть ли Сена, нет ли...

Значит, утром трамвай увозит толпу к метро, где ее будут уминать. Посмотришь на них, как они все бегут в одну сторону, и можно подумать, что их дома горят. После каждой зари с ними точно припадок делается. Они виснут гроздьями на подножках, в дверях. Настоящее бегство. Между тем в Париже их ждет только хозяин, тот, который спасает их от голодной смерти, и они ужасно боятся лишиться хозяина, эти трусы. А ведь он эту порцию пищи потом из них же выгоняет. Провоняешь потом на десять, двадцать лет и больше. Не даром эта пища дается.

А в трамвае уже стоит ругань, для разгона. Особенно сварливы женщины. Из-за какого-нибудь несчастного билета они готовы остановить

всю линию. Правда, что они бывают пьяны уже с утра, особенно те, которые едут на рынок в Сент-Уан, полубуржуйки. «Почем морковь?» — спрашивают они, чтобы показать, что они могут себе позволить ее купить.

Сваленные, как мусор, — мы и есть мусор, — в этот железный ящик, мы переезжаем через весь Ранси, воняя понемножку, особенно летом. У Земляных валов мы еще разок доругиваемся и потом теряем друг друга из виду, метро проглатывает все; вымокшие пиджаки, обвисшие платья, шелковые чулки, воспаления маток и грязные, как носки, ноги, вечные воротнички, жесткие, как срок квартирной платы, начатые аборт, герои войны — все это стекает по лестнице до самого ее темного конца. В кармане у них обратный билет, который один уже дороже двух маленьких хлебцев.

Постоянный ужас перед сокращением без всякой помпы с выдачей короткого аттестата, что всегда поджидает запоздавших, когда хозяин хочет сократить свои деловые издержки. Свежие воспоминания о «кризисе», о последней безработице, об объявлениях «Энтрансижана», которые приходилось читать... поиски работы... Эти воспоминания душат человека, как бы он ни был закутан в свое «всесезонное» пальто.

Город прячет, как только может, толпы грязных ног в этих электрических сточных трубах. Они выплывут на поверхность только в воскресенье. Тогда, когда все они выйдут на улицы, лучше не показываться. Стоит посмотреть на них, на то, как они развлекаются, хотя бы только в течение одного воскресенья, и у вас навсегда может пропасть охота веселиться. Вокруг метро, возле бастионов, — отрывка наполовину сгоревших, плохо дожаренных деревень, неудавшихся революций, обанкротившихся торговых домов. Тряпичники «зоны»<sup>[6]</sup> продолжают жечь из сезона в сезон все те же сырые кучи в канавах, защищенных от ветра. Неудавшиеся варвары, до краев налитые литрами вина и усталостью, вместо того чтобы пустить под откос трамваи и с удовольствием помочиться в будке чиновника у заставы, они отправляются кашлять рядом в лечебницу. Никакого кровопролития. Все тихо-мирно. Когда придет следующая война, они еще раз составят себе состояние продажей крысиных шкур, кокаина и масок из ребристого железа. Я нашел себе маленькую квартирку на краю «зоны», откуда мне видны были откос и вечно стоящий на нем и ничего не видящий вокруг себя рабочий, раненный на производстве, с рукой, забинтованной толстой белой ватой; он знает, о чем ему думать и что ему делать, и ему не на что выпить, чтобы чем-нибудь наполнить себе сознание.

Молли была права: я начинаю ее понимать. Учеба очень многое

меняет, она делает человека гордым. Надо пройти через нее, чтобы проникнуть в самую глубь вещей. Без этого только ходишь вокруг да около. Считаешь себя человеком, от всего освободившимся, а на самом деле спотыкаешься о всякую мелочь. Слишком много мечтаешь. На каждом слове можешь поскользнуться. Все это не то. Все только намерения, нечто кажущееся. Решительному человеку нужно другое. Все-таки, изучив медицину, хоть я человек не очень способный, я подошел гораздо ближе к человеку, к животным, ко всему. Теперь оставалось только прямо врезаться в самую гущу. Смерть бежит за нами по пятам, надо торопиться, надо ведь и есть, пока занимаешься изысканиями, и ко всему этому увиливать от войны.

В общем, нагрузка порядочная. Не всякий и управится.

Пока больных было что-то не видно. Практика приходит не сразу, говорили мне, чтоб меня успокоить. Пока что хворал главным образом я сам.

Когда нет практики, ничего не может быть грустнее Гаренн-Ранси, находил я. Безусловно. В таких местах главное — не думать, а я-то как раз туда ехал с другого конца света, чтобы спокойно жить и немного думать. Удачно, нечего сказать! Больно много гордости! Навалилось на меня черное, тяжелое... И никогда уже больше не покидало. Нет тирана хуже, чем мозг.

Внизу в моем доме жил Безен, старьевщик, который всегда мне говорил, когда я останавливался у его лавки:

— Надо выбирать, доктор! Либо играть на бегах, либо пить аперитив, что-нибудь одно... Нельзя хвататься за все... Я предпочитаю апери! Я не игрок...

В нормальном состоянии он был парень тихий, а как напьется, становился очень злым... Когда он ходил на «Блошиный рынок» возобновлять свои запасы, он пропадал дня на три. Он называл это — отправляться в экспедицию. Обрато его приводили.

Вся моя улица кашляла. Это тоже развлечение. Для того чтобы увидеть солнце, нужно было дойти по крайней мере до Сакре-Кер: такой стоит дым.

Когда живешь в Ранси, даже перестаешь отдавать себе отчет в том, какой ты стал грустный. Просто ничего больше не хочется делать, вот и все. Уж так на всем и из-за всего экономишь, что все желания пропадают.

В течение многих месяцев я занимал деньги то тут, то там. Люди в моем квартале были до того бедны и подозрительны, что раньше, чем спустится ночь, они не решались вызвать даже меня, доктора совсем недорогого. Сколько я избегал по ночам безлунных дворигов в погоне за



десятью, за пятнадцатью франками.

Утром вся улица выбивала половики и превращалась в большой барабан.

В это утро я встретил Бебера на тротуаре; он сторожил швейцарскую: тетка его ушла за покупками. Он тоже поднимал своей метлой облако пыли на тротуаре.

Кто не занимается в семь утра пылью, считается настоящей свиньей на своей улице. Вытряхивать половики — признак чистоплотности, порядка в хозяйстве. Этого достаточно. Потом пускай от тебя воняет как угодно, можете быть вполне спокойны. Бебер глотал всю пыль, которую поднимал сам, и ту, которая падала на него с верхних этажей. На мостовую ложились солнечные пятна, как в церкви, бледные, смягченные, мистические.

Бебер заметил меня. Я был тот самый доктор, который живет на углу, где останавливается автобус. У Бебера слишком зеленый цвет лица; яблоко это никогда не созреет.

Он чесался, и, глядя на него, я тоже начинал чесаться. Дело в том, что и у меня были блохи, я приносил их с моих ночных посещений больных. Они охотно прыгают на пальто, потому что это самое теплое, самое сырое место, которое им попадается. Об этом я узнал на медицинском факультете.

Бебер бросил свой коврик, чтобы поздороваться со мной. Из всех окон наблюдали за тем, как мы разговариваем.

Уж если обязательно надо любить кого-нибудь, лучше любить детей, с ними меньше риску, чем со взрослыми, по крайней мере находишь извинение в надежде, что они в будущем будут не такие хамы, как мы. Еще ничего не известно.

На его синевато-бледном лице дергалась постоянная усмешечка чистой доброжелательности, которой я никогда не забуду. Радость для целого мира.

Мало у кого после двадцати лет еще найдется непосредственная доброжелательность, какая бывает у животных.

— Эй! — позвал меня Бебер. — Доктор! Правда, что подобрали какого-то мужчину ночью на площади Праздников? У него голова бритвой отрезана? Кто дежурный был? Не вы? А это правда?

— Нет, дежурил не я, Бебер, не я, а доктор Фролишон.

— Жалко. Тетка сказала, что хорошо бы, если бы вы... Вы бы ей все рассказали.

— Ну, в следующий раз Бебер.

— Часто здесь людей убивают, а? — заметил еще Бебер.

Я как раз переступал через пыль, когда подъехала муниципальная машина, подметающая улицы; налетел настоящий тайфун, наполняя улицу

новыми облаками пыли, более плотными, наперченными. Ничего не было видно.

Бебер прыгал, чихая, крича, он ужасно веселился. Его голова, жирные волосы, ноги чахоточной обезьянки — все это плясало, повиснув на метле.

Тетка Бебера вернулась с покупками. Она уже опрокинула рюмочку; нужно сказать, что она также немножко нюхала эфир, привычка, которую она приобрела, когда служила у доктора и когда у нее болели зубы мудрости. У нее осталось только два передних зуба, но она никогда не забывала их чистить: «Кто служил, как я, у врача, знает, что такое гигиена». Она давала медицинские советы не только соседям в округе, но даже вплоть до Безона.

Мне было бы интересно узнать, думала ли она когда-нибудь о чем-нибудь, тетка Бебера. Нет, она ни о чем не думала. Когда мы оставались с ней вдвоем, без любопытных слушателей, она спешно просила у меня даровой консультации. В известном отношении это было даже лестно.

— Вы знаете, доктор, вам могу это сказать как врачу, Бебер паршивый мальчишка... Он балуется. Я заметила это уже месяца два тому назад. И понять не могу, кто мог научить его такой гадости! Ведь я его прекрасно воспитала... Я ему запретила это делать. Не слушается...

— Скажите ему, что он от этого сойдет с ума, — подал я классический совет.

Бебер, который слышал, о чем мы говорим, был недоволен.

— Я не балуюсь, это Гага мне предложил...

— Ну, вот видите, я так и знала, — сказала тетка. — Эта семья Гага, знаете, на пятом этаже. Они все развратники. Говорят, что дедушка бегал за укротительницами. Скажите, пожалуйста, на что это похоже — за укротительницами!.. Скажите, доктор, вы не могли бы, пока вы здесь, прописать ему какую-нибудь микстуру против этого баловства...

Я шел за ней в швейцарскую, чтобы прописать Беберу антипорочную микстуру. Я был очень ласков со всеми, я сам это знал. Никто мне не платил. Я давал даровые консультации, в особенности из любопытства. И напрасно. Люди мстят за услуги, которые им оказываешь. Тетка Бебера пользовалась, как все, моей гордой бескорыстностью. Я распускался, врал. Я шел за ними. Мои клиенты ныли, с каждым днем овладевая мной все больше, делали со мной что хотели. В это же время мне показывали одно уродство за другим, все, что они прятали в лавочке своей души и не показывали никому другому, кроме меня. За эту мерзость нельзя заплатить достаточно дорого. Но они скользили у меня меж пальцев, как гладкие змеи.

Когда-нибудь, если я проживу достаточно долго, я расскажу про все.

Погодите, сопляки! Позвольте мне только быть с вами любезным в течение еще нескольких лет. Не убивайте меня еще. С подобострастным и безоружным видом я расскажу про все. И уверяю вас, что вы тогда начнете отступать, как те слюнявые улитки, которые в Африке приходили гадить в мою лачугу. Я сделаю вас еще более утонченно трусливыми, до того гнусными, что вы, может быть, от этого наконец подохнете!

— Она сладкая? — спрашивал Бебер про микстуру.

— Не надо сладкой, — давала мне наставления тетка, — для такой дряни. Он не заслужил, чтобы она была сладкой, и потом он и так уже достаточно у меня сахара ворует! У этого нахала все пороки. Он кончит тем, что зарежет собственную мать!

— У меня нет матери, — возразил Бебер сухо и не теряясь.

— Дерьмо! — сказала тогда тетка. — Я тебя выдеру, если ты будешь мне возражать.

И она пошла за кнутом. Но он уже удрал на улицу. «Развратница!» — кричал он ей из коридора.

Тетка краснеет и возвращается ко мне. Молчание. Мы переводим разговор на другую тему.

— Может быть, стоило бы вам, доктор, зайти к даме в бельэтаже на улице Шахтеров... Это бывший служащий нотариуса, ему о вас говорили... Я ему сказала, что вы очень ласковый с больными, доктор.

Я сейчас же понимаю, что она врет, тетка. Ее любимый доктор — Фролишон. Она его рекомендует, где только может, а меня ругает при каждом удобном случае. Моя гуманность вызывает в ней животную ненависть. Ведь она сама животное — не следует этого забывать. Но Фролишон, которым она восхищается, заставляет ее платить наличными, тогда она обращается ко мне за консультациями так, мимоходом. Значит, раз она меня рекомендовала, это, должно быть, что-нибудь бесплатное или же за этим кроется какое-нибудь грязное дело.

Уходя, я все-таки вспоминаю о Бебере.

— Надо гулять с ним, — говорю я ей, — он недостаточно гуляет, этот ребенок...

— Куда же мы пойдем? Мне ведь далеко от дому отойти нельзя...

— Хоть до парка гуляйте с ним, по воскресеньям.

— Ну, а в парке еще больше народу и пыли, чем здесь. Все друг на друге сидят.

Ее замечание правильно. Я думаю, какое бы другое место ей предложить.

Робко предлагаю кладбище.

Кладбище Гаренн-Ранси — это единственное место в нашем районе, где на сравнительно большом пространстве растут деревья.

— Верно! Я совсем об этом не подумала, можно будет туда сходить. Будешь ходить со мной гулять на кладбище, Бебер?.. Приходится его спрашивать, доктор, потому что насчет прогулок тоже упрям, как осел.

Бебер как раз ничего не думает по этому поводу. Но мысль понравилась тетке, и этого достаточно. Кладбище — ее слабое место, как у всех парижан. Кажется, что по этому поводу она даже начинает мыслить. Она взвешивает все «за» и «против». На Земляных валах очень много хулиганья... В парке, несомненно, слишком много пыли. В то время как на кладбище положительно недурно. И потом публика, которая бывает там по воскресеньям, обыкновенно публика вполне приличная и умеющая себя вести... К тому же очень удобно то, что на обратном пути, если идти по бульвару Свободы, магазины открыты по воскресеньям и можно купить все, что надо.

И в заключение:

— Бебер, поди проводи доктора к мадам Анруй на улицу Шахтеров. Ты знаешь ведь, где живет мадам Анруй, Бебер?

Бебер найдет что угодно, лишь бы пошататься.

Между улицей Вантрю и площадью Ленина стоят одни доходные дома. Подрядчики завладели всем, что еще оставалось от полей и лесов. За последним газовым фонарем начинались пустыри.

Между доходными домами плесневеют еще кой-какие уцелевшие домишки в четыре комнаты с большой печкой в коридоре внизу. Правда, ее редко топят из экономии. Сыро, печка дымит. Это домишки рантье.

Рантье, которые здесь сохранились, люди небогатые, особенно эти Анруйи, к которым меня послали. Но все-таки кой-какое состояньице у них есть.

Когда заходишь к Анруйям, то в нос ударяет запах дыма, уборной и кухни. Они только что выплатили последнюю сумму за свой домик. Это значило, что позади пятьдесят лет экономии. Зайдешь к ним — и сразу чувствуешь, что с ними что-то неладно. А неладно с ними, оказывается, то, что они за пятьдесят лет ни разу не истратили ни одного су, о котором не пожалели бы. Они приобрели свой дом за счет тела и духа своего, как улитка. Но улитка это делает, не зная того.

Анруйи не могли прийти в себя от удивления, что они прожили всю свою жизнь только для того, чтобы нажить себе дом, они были как люди,

которые были замурованы и которых только что освободили. У людей, которые вытаскивают из тюремного подземелья, должно быть, довольно чудной вид.

Анруйи думали о том, чтобы купить себе дом, еще до свадьбы. Сначала по отдельности, а потом вместе. Они отказывались думать о чем-нибудь другом в течение полувека, и когда жизнь заставляла их думать о другом, например, о войне, и в особенности о сыне, они от этого просто хворали.

Когда они молодоженами приехали в свой домик, у каждого из них были уже десятилетние сбережения. Домик был не достроен. Он находился еще среди полей. Над кроватью и в первом этаже висела фотография, снятая в день свадьбы. За мебель в их спальне тоже было заплачено, и даже уже давным-давно. Все счета, оплаченные за десять, двадцать, сорок лет, сколотые вместе, лежали в верхнем ящике комода, а приходно-расходная книжка в полном порядке — внизу, в столовой, в которой никто никогда не ел. Анруй может вам все это показать, если вы хотите. Он проверяет счета по субботам в столовой. Обедают они всегда на кухне.

Все это я узнал постепенно от них, от других и от тетки Бебера. Когда с ними ближе познакомился, они мне сами рассказали, что они больше всего на свете боятся, как бы их единственный сын, который занимается коммерцией, не обанкротился.

В течение тридцати лет эта мысль мешала им спать, будила по ночам. Подумайте только, сколько в этой отрасли было кризисов за двадцать лет! Может быть, просто нет другой такой плохой, ненадежной отрасли.

Они раз навсегда отказались от мысли давать кому бы то ни было займы. Из принципа и чтобы сыну осталось наследство и дом. Вот как они рассуждали: сын их — парень серьезный, но давать ему деньги нельзя — он может запутаться в делах...

Когда у меня спрашивали мое мнение, я со всем соглашался. Моя мать тоже занималась коммерцией: мы зарабатывали много горя и немножко хлеба. Словом, я тоже не любил коммерции. Что дать деньги займы этому неосторожному сыну в случае какой-нибудь срочной оплаты опасно, мне сразу было понятно. Мне не надо было это объяснять. Отец Анруй служил письмоводителем у нотариуса на Севастопольском бульваре в течение пятидесяти лет. Вот почему он знал столько рассказов о том, как растрачиваются состояния. Он мне рассказал несколько очень интересных историй, прежде всего как разорился его собственный отец и он оттого не мог стать учителем, а после окончания гимназии был принужден сразу поступить письмоводителем. Такие вещи не забываются.

Наконец они выплатили всю сумму за дом, и им нечего было больше беспокоиться о своем обеспечении: им шел тогда шестьдесят шестой год.

И как раз тогда Анруй вдруг начал чувствовать какое-то недомогание, то есть он его чувствовал уже давно, но ему некогда было об этом думать, потому что он был занят мыслью о выплате денег за дом. Когда с этой стороны дело было закончено, решено и подписано, он начал задумываться над своим странным недомоганием. Что-то вроде головокружения, и в ушах какие-то паровозные свистки.

Тогда он начал покупать газету: теперь ведь он мог себе это позволить. В газете как раз было описано все, что Анруй чувствовал в своих ушах. Тогда он купил лекарство, которое рекламировалось в газете, но недомогание его продолжалось, даже как будто усилилось. Ухудшилось, может быть, только оттого, что он о нем думал. Все-таки они пошли вместе на консультацию в лечебницу. Доктор сказал им, что это «давление крови».

Это определение их испугало. Но, в сущности, эта навязчивая мысль пришла как раз вовремя. Сколько он себе крови испортил за эти годы из-за дома и сроков платежей по счетам сына, что вдруг освободилось какое-то место. Теперь, когда врач заговорил с ним о «давлении», он стал прислушиваться, как кровь пульсирует у него в ушах. Он даже вставал по ночам и щупал свой пульс, неподвижно стоя в темноте около кровати, чувствуя, как все тело его мягко содрогается при каждом ударе сердца. Он думал, что это смерть; он всегда боялся жизни, но теперь он всегда связывал свой страх со смертью, с «давлением», как он раньше связывал его с мыслью о том, что он не сможет заплатить за дом.

Он всегда был несчастлив, не меньше, чем теперь, но все-таки он должен был спешно найти какую-нибудь новую причину, чтобы быть несчастным. Это вовсе не так легко, как кажется. Просто сказать «я несчастлив» — этого еще недостаточно. Нужно еще себе доказать, бесповоротно в этом убедиться. Он хотел только одного: найти вескую, уважительную причину для своего страха. Доктор говорил, что его давление равняется двадцати двум. Двадцать два — это не пустяк! Доктор показал ему дорогу к смерти.

Знаменитого сына почти никогда не было видно. Раз-другой, под Новый год. Да теперь, кстати, он мог приходить или не приходить — одалживать все равно было больше нечего. Оттого он больше почти никогда не приходил, сынок.

Мадам Анруй я узнал гораздо позже. Она ничем не страдала, она не боялась смерти, даже своей собственной, которую она не могла себе представить. Она жаловалась только на свой возраст, на самом деле не

очень над ним задумываясь, а только лишь оттого, что все так делают, а также на то, что жизнь «дорожает». Главная работа была исполнена: за дом заплачено. Для того чтобы быстрее заплатить по последним векселям, она даже начала пришивать пуговицы к жилетам для какого-то большого магазина. А когда надо было сдавать работу по субботам, в автобусе, во втором классе, всегда бывали скандалы, и как-то раз вечером ее даже ударили. Ударил иностранка, первая иностранка, с которой она за всю жизнь говорила и на которую наорала.

Раньше, когда воздух еще гулял вокруг дома, стены его были более или менее сухи, но теперь он был окружен высокими доходными домами и все в нем пахло сыростью, даже на занавесках выступали пятна плесени.

Когда дом был приобретен, мадам Анруй в течение целого месяца расплывалась в улыбке, была приятна, просветлена, как монашенка после причастия. Она даже сама предложила Анруйю:

— Ты знаешь, Жан, начиная с сегодняшнего дня мы будем покупать газету каждый день, теперь это можно себе позволить...

Она вспомнила о нем, о своем муже, потом она оглянулась вокруг себя и вспомнила наконец и о его матери, о своей свекрови. И тогда она снова стала серьезной, как до выплаты. Все начиналось сначала, потому что за счет матери Анруйя можно было еще кое-что сэкономить, за счет этой старухи, о которой супруги почти никогда не говорили ни между собой, ни с другими.

Она жила в конце сада, в закутке, где собирались старые веники, старые клетки для кур и все тени от соседних домов. Она жила в чем-то низком, из чего она почти никогда не выходила. Даже просто передать ей еду — и то было сложно. Она никого не впускала в свое жилье, даже сына. Она говорила, что боится, как бы ее не убили.

Когда ее невестке пришла в голову мысль отложить еще немножко денег, она сначала намекнула мужу, чтобы посмотреть, как он к этому отнесется, что можно было бы поместить старуху к монашкам св. Винсента, которые принимают в свою богадельню ненормальных старух. Сын ее не ответил ни да, ни нет. В этот момент он был занят другим — шумом в ушах, который не прекращался. Он столько о нем думал, так к нему прислушивался, что наконец решил, что этот ужасный шум, конечно, будет мешать ему спать. И на самом деле, вместо того чтобы спать, он прислушивался к свисткам, барабанам, мурлыканью... Это была новая попытка. Он занимался этим весь день и всю ночь. Он стал каким-то средоточием шумов.

Но все-таки постепенно, через несколько месяцев, страх износился,

его стало недостаточно, чтобы заниматься только им. Тогда он стал ходить на рынок Сент-Уан с женой. Говорят, что рынок Сент-Уан самый дешевый в районе. Они уходили с утра на весь день, потому что надо было обо всем поговорить — и о ценах, и о том, на чем бы еще сэкономить. К одиннадцати часам вечера у себя дома на них нападал страх, что их убьют. Страх вполне естественный. Он боялся меньше, чем жена. Он больше думал о шуме в ушах, когда наступал тот час, в который улица затихает.

— Этак мне никогда не заснуть, — повторял он громко, чтобы еще больше себя напугать. — Ты не можешь себе представить, что это такое!

Но она никогда и не пробовала ни понять, что это значило, ни представить себе, что его так изводит.

— Ведь слышишь ты хорошо? — спрашивала она его.

— Да, — отвечал он.

— Что ж, тогда все прекрасно! Тогда ты лучше подумал бы о своей матери, которая нам так дорого стоит, и о том, что жизнь дорожает с каждым днем. И что ее комната — это сплошной навоз!..

К ним приходила прислуга на три часа в неделю, она стирала на них; это была единственная их посетительница за несколько лет. Она также помогала мадам Анруй стелить постель, и, надеясь на то, что служанка будет повторять это всем и каждому, мадам Анруй, переворачивая с ней тюфяки, неизменно в течение десяти лет говорила ей возможно громче:

— Мы никогда дома денег не держим.

Это должно было служить указанием и предостережением для предполагаемых воров и убийц.

Перед тем как подняться к себе в комнату, они тщательно запирали все двери, проверяя друг друга. Потом они шли в сад, чтобы посмотреть, горит ли у свекрови лампа. Это было признаком того, что она еще жива. Ну и изводила же она масла! Никогда не тушила лампы! Она также боялась убийц, боялась своих детей. За двадцать лет, которые она там провела, она ни разу не открыла окна, ни зимой, ни летом, и никогда не тушила лампы.

Сын распоряжался ее деньгами, маленькой пенсией. Еду ставили около ее двери. Все шло хорошо. Но она была недовольна таким положением вещей, она вообще всем была недовольна. Не открывая двери, она орала на всех, кто только приближался к ее берлоге.

— Ведь это же не моя вина, что вы стареете, бабушка, — пробовала объясниться с ней невестка. — У вас бывают боли, как у всех пожилых людей...

— Сама пожилая! Негодяйка! Подлая! Ты хочешь меня на тот свет отправить!



Старуха Анруй бешено отрицала свой возраст.

Она даже защищалась против всего, что происходило вне ее лачуги, против всех попыток примирения и сближения. Она была уверена, что, если она откроет дверь, все злые силы ворвутся к ней, завладеют ею и что тогда все будет кончено раз и навсегда.

— В нынешнее время они все стали хитрить, — кричала она. — У них глаза на макушке, а рты только для того, чтобы врать!.. Вот они какие нынче!..

Разговор у нее был грубый; она научилась ему на рынке Тампль, она ходила туда с матерью-старьевщицей, когда была совсем молоденькой... Она принадлежала к тому поколению людей, которые еще не научились прислушиваться к приближению собственной старости.

— Я буду работать, если ты не отдашь мне моих денег! — кричала она невестке. — Слышишь, воровка? Я буду работать!

— Да ведь вы не можете, бабушка.

— Ах, вот как! Не могу! Ну-ка попробуй зайди-ка ко мне! Я тебе покажу, как я не могу!

И ее опять оставляли на некоторое время в ее закутке, в котором она отсиживалась. Но они все-таки во что бы то ни стало хотели мне ее показать; для этого меня и позвали. Чтобы она приняла нас, надо было пустить в ход целую сложную махинацию. И потом, по правде сказать, я не совсем понимал, что им от меня нужно. Консьержка, тетка Бебера, сказала, что я такой ласковый, такой любезный, такой снисходительный доктор. Они хотели узнать, могу ли я успокоить старуху одними лекарствами. Но чего они на самом деле еще больше хотели, особенно невестка, — это чтобы я раз и навсегда засадил старуху в сумасшедший дом. Мы стучались к ней добрых полчаса, наконец она внезапно открыла и предстала перед нами, глядя на нас воспаленными глазами. Но взгляд ее бодро плясал над смуглыми щеками, взгляд, который овладевал вниманием и заставлял забыть остальное, доставляя какое-то невольное удовольствие, которое потом инстинктивно стараешься в себе удержать: молодость...

Старость покрыла ее веселыми побегами: так бывает со старыми деревьями.

Она была весела, старуха Анруй. Недовольна, грязна, но весела. Лишения, которые она терпела в течение двадцати лет, не отразились на ней. Наоборот, она защищалась от всего, что могло прийти извне, как будто холод, все страшное и смерть могли прийти только оттуда, а не изнутри. Казалось, что внутри себя она ничего не боится, что она абсолютно уверена в своем разуме, как в вещи неоспоримой, раз и навсегда решенной.

А я-то бегал за своим разумом, да еще вокруг света.

«Сумасшедшая», — говорили про старуху; это легко сказать: «Сумасшедшая!». За двенадцать лет она вышла из своего уголка не больше трех раз, вот и все! Может быть, у нее на то были свои причины...

Невестка все возвращалась к своему плану о сумасшедшем доме:

— Как вы думаете, доктор, ведь она сумасшедшая? Совершенно невозможно заставить ее выйти отсюда. Ведь это было бы очень полезно для нее, выходить изредка... Конечно, бабушка, это было бы полезно для вас. Не спорьте!.. Это было бы полезно, я вас уверяю!

Старуха, пока ее так уговаривали, качала головой, упрямая, скрытная, дикая.

— Она не хочет, чтобы ею занимались... Она предпочитает делать свои дела по углам... Холодно у нее, и негде развести огонь... Ведь невозможно, чтобы это так продолжалось! Не правда ли, доктор, это невозможно?

Я делал вид, что не понимаю. Анруй остался дома около печки, он предпочитал не знать, что мы там замысливаем, его жена, мать и я.

Тогда старуха рассердилась:

— Отдайте мне мое имущество, и я уйду от вас... У меня есть на что жить... И вы никогда больше ничего не услышите обо мне... Раз навсегда!

— У вас есть на что жить? Бабушка, разве можете вы жить на три тысячи франков в год, подумайте!.. Жизнь подорожала с того раза, как вы отсюда выходили... Не правда ли, доктор, было бы гораздо лучше, если бы она поселилась у монашек, как ей советуют? Монашки о ней заботились бы. Они очень милые...

Но перспектива отправиться к монашкам была ей отвратительна.

— К монашкам?! К монашкам?! — сразу запротестовала она. — Я никогда не была у монашек! Может, мне заодно уж и к попу сходить, а? Если у меня не хватит денег, то я буду работать...

— Работать? Бабушка, где же вам? Доктор, вы только послушайте! Работать! В ее возрасте! Скоро восемьдесят лет! Это сумасшествие, доктор! Кому же она нужна? Да вы с ума сошли, бабушка!

— С ума сошла?! Дрянь паршивая!..

— Послушайте, доктор, она уже начинает бредить, оскорблять меня! Ну как же можно держать ее у себя?

Старуха круто повернулась в мою сторону, почуяв новую опасность.

— Откуда он может знать, сошла ли я с ума или нет? Что, он мне в голову влезет? Или в твою? Убирайтесь вы оба! Уходите от меня!.. Вы хуже любой заразы! Сыну моему врач нужен больше, чем мне. У него и зубов-то

больше нет, а какие были хорошие, когда за ним ухаживала я! Идите, идите! Убирайтесь ко все чертям оба! — И она захлопнула за нами дверь.

Она подглядывала за нами, пока мы шли через двор. Когда мы были достаточно далеко, она опять начала смеяться. Она была довольна, что так хорошо защищалась.

Вернувшись с неудачного набега, мы застали Анруйя все еще около печки, спиной к нам. Жена его продолжала приставать ко мне с вопросами все о том же. У нее была хитрая, маленькая, бурого цвета головка. Когда она говорила, локти ее не отделялись от тела. Она никогда не жестикулировала. Она все-таки обязательно хотела, чтобы этот медицинский визит не прошел зря, чтобы он послужил на чему-нибудь...

Жизнь все дорожала. Пенсии свекрови не хватало. Невозможно вечно беспокоиться о том, что старуха умрет из-за недостатка ухода. Или что она устроит пожар. Подожжет своих блох и свои нечистоты... Вместо того чтобы отправиться в приличную богадельню, где за ней будет уход.

Так как я делал вид, что согласен с ними, они стали еще любезнее со мною, они обещали хвалить меня во всем околотке. Если бы я только согласился им помочь... пожалеть их... освободить от старухи!.. Бедная старуха, живет в таких условиях и почему-то не хочет отказаться от такой жизни!..

— Ведь павильончик ее можно было бы сдать, — внес предложение муж, совсем очнувшийся.

Об этом он не должен был говорить при мне. Жена наступила ему под столом на ногу. Он не понимал — почему.

В то время как они ругались между собой, я себе представлял ту тысячу франков, которую мог бы получить за одно только свидетельство о том, что старуха — сумасшедшая. Им как будто этого очень хотелось... Тетка Бебера, очевидно, внушила им доверие ко мне, она им, должно быть, рассказала, что во всем Ранси нет доктора, который нуждался бы больше моего. Что со мной ничего не стоит сговориться... Конечно, Фролишону такого дела не предложили бы. Он был человеком порядочным!

Я совсем ушел в свои размышления, как вдруг в комнату, в которой происходил заговор, ворвалась старуха. Можно было подумать, что она что-то подозревает. Ну и сюрприз! Она собрала лохмотья своей юбки на животе и давай нас крыть, так вот, с задранной юбкой. Она нарочно пришла для этого из сада.

— Жулик, — кричала она мне прямо в лицо. — Можешь убираться к чертям, я уже раз тебе сказала!.. Зря сидишь!.. Не пойду к сумасшедшим! И к монашкам тоже не пойду, говорю тебе! Говори и ври сколько влезет!..

Тебе со мной не справиться, продажная душа!.. Эти подлюги раньше меня туда попадут! Грабят старую женщину... И ты тоже, каналья, скоро в тюрьму попадешь, недолго жить придется!

Мне решительно не везло. В кои веки можно было бы разом заработать тысячу франков. Я не стал просить за визит.

Она высунулась на улицу и кричала в темноту, в которую я скрылся.

— Каналья!.. Каналья! — орала она.

Крик гулко раздавался в темноте. Ну и дождь! Я трусцой шел от одного фонаря к другому, до писсуара на площади Праздников. Первое убежище.

Там я встретил, на высоте своих колен, Бебера. Он тоже зашел туда, чтобы укрыться от дождя. Он видел, как я бежал от Анруйев.

— Вы от них? — спросил он меня. — Теперь идите к жильцам пятого этажа в нашем доме, к дочке...

Я хорошо знал больную, о которой он говорил. Ее широкий зад, ее крепкие бархатистые бедра. Что-то нежно-решительное и точно-грациозное в движениях, что бывает у женщин, половая жизнь которых хорошо налажена. Она несколько раз приходила ко мне на консультацию с тех пор, как у нее болел живот. В двадцать пять лет, после третьего аборта, у нее начались осложнения, и ее семья называла это малокровием.

Надо было видеть, как она крепко и хорошо была сложена, и любовь к самцам у нее была такая, какую редко можно встретить у самок. Скромная в жизни, сдержанная в словах и манере держаться. Ничего истеричного. Просто способная, упитанная, уравновешенная чемпионка своего рода, вот и все. Прекрасный атлет для наслаждения. В этом нет ничего дурного. Она зналась только с женатыми. И только со знатоками, с мужчинами, которые не удовольствуются первой попавшейся испорченной девчонкой. Ее матовая кожа, милая улыбка, походка и благородные движения широких бедер вызывали глубокий, заслуженный энтузиазм со стороны некоторых чиновников, знающих толк в любовных делах.

Но, конечно, не разводиться же им было из-за нее, этим чиновникам. Наоборот, это способствовало благополучию их браков. Оттого на третий месяц беременности она обязательно шла к акушерке. Нелегко иметь темперамент и не иметь собственного рогоносца на дому.

Ее мать открыла мне дверь с предосторожностями убийцы. Она говорила шепотом, но с такой силой, с таким ударением, что это было хуже воплей.

— Чем я провинилась перед Господом Богом, доктор? За что он

покарал меня такой дочерью! Ах, Боже мой, вы никому не расскажете об этом в квартале, доктор? Я надеюсь на вас!..

Она дала мне время привыкнуть к темноте, к запаху супа, к глупым разводам на обоях, к своему приглушенному голосу. Наконец, сопровождаемый бормотанием и возгласами, я подошел к кровати больной дочери. Она лежала в полной прострации... Я хотел ее осмотреть, но она теряла столько крови, во влагище была такая каша, что ничего нельзя было разобрать.

Сгустки. Между ее ногами слышно было бульканье, которое я слышал в перерезанной шее кавалериста на войне.

Я нерешительно предложил немедленно перевезти ее в больницу, чтобы спешно оперировать.

Но горе мне! Я дал матери возможность сделать свою лучшую реплику, для которой она давно уже ждала случая.

— Какой позор! Больница! Какой позор, доктор, для нас! Еще только этого не доставало!

Мне нечего было больше сказать. Меня самого так давно преследовала неудача, я так плохо спал, что я отдался на произвол судьбы и не интересовался больше тем, что происходит. Я думал только о том, что лучше бы слушать эту вопящую мать сидя, чем стоя. Если смириться раз навсегда, то всякий пустяк может доставить удовольствие. И потом, какая сила потребовалась бы для того, чтобы остановить эту трагическую мать как раз в тот момент, когда «честь семьи» была в опасности!.. Какая роль! И как она это выкрикивала! После каждого аборта, я знал это по опыту, она вот так развертывалась, с каждым разом вся лучше набивая себе руку. Нечего было и думать о том, чтобы удалить ее отсюда. Тем не менее я должен был попробовать это сделать... Сделать что-нибудь... Это было моим долгом, как говорят. Но сидеть было гораздо лучше, чем стоять.

У них было немножко веселей, чем у Анруйев, так же уродливо, но комфортабельней. Не так мрачно, а просто и спокойно некрасиво.

Обалдевший от усталости, я оглядывал комнату. Какие-то безделушки, которые давно уже находятся в семье, особенно эта дорожка с розовыми помпонами на камине, каких в магазинах уже больше нет, и фарфоровый неаполитанец, и рабочий столик из граненого зеркала, двойник которого, наверное, находится у тетки в провинции. Я не предупредил мать о том, что под кроватью образуется лужа крови и что капли продолжают равномерно падать, — мать стала бы кричать еще громче и по-прежнему не слушала бы меня. Она никогда не перестанет жаловаться и возмущаться. Это было ее призванием.

Все равно можно помолчать и смотреть, как серый бархат вечера покрывает дом за домом, сначала маленькие, потом большие, идвигающихся между ними людей, все слабее, подозрительней, мутней покачивающихся на тротуаре, перед тем как исчезнуть в темноте.

Дальше, гораздо дальше, чем Земляные валы, нити и ряды огней, рассыпанные по сумеркам, как гвозди, натягивают забытие на город, и другие огоньки моргают; между красными и зелеными огнями все корабли и корабли, целая эскадра, которая собралась сюда отовсюду и, дрожа, ожидает, когда за башней откроются высокие двери ночи.

Если бы мать хоть на минуту остановилась или замолчала надолго, можно было бы по крайней мере отказаться от всего, попробовать забыть, что надо жить. Но она меня преследовала.

— Может быть, сделать ей клизму? Доктор, как вы думаете?

Я не ответил ни да, ни нет, но я еще раз посоветовал, раз мне дали слово, немедленно отправить ее в больницу. Последовали вопли еще более резкие, решительные и раздирающие. Ничего не поделаешь.

Я медленно пошел к дверям.

Сумерки легли между нами и кроватью.

Я почти что не различал больше рук дочери, которые лежали на простынях, оттого что были почти так же белы.

Я вернулся, чтобы послушать пульс, еще более слабый, еще менее ощутимый, чем раньше. Дыхание вырывалось толчками. Я-то хорошо слышал, как кровь падает на паркет, тикая, как часы, все медленнее и медленнее, все слабее и слабее. Ничего не поделаешь.

Мать шла впереди меня к дверям.

— Доктор, — просила она меня проникновенно, — только никому не рассказывайте. — Она умоляла меня: — Поклянитесь мне!

Я обещал все что угодно. Я протянул руку. Двадцать франков. Она потихоньку закрыла за мной дверь.

Внизу поджидала меня тетка Бебера с приличествующим случаю выражением лица.

— Плохо дело? — спросила она.

Я понял, что она меня ждала внизу уже верных полчаса, чтобы получить свою обычную комиссию: два франка. Чтобы я не увильнул.

— А у Анруйев все устроилось? — хотела она знать. Она надеялась получить на чай и за них тоже.

— Они мне не заплатили, — ответил я.

Так ведь оно и было.

Ее улыбка превратилась в гримасу — она не доверяла мне:

— Что же это такое, доктор, совсем вы не умеете заставить людей платить! Ведь люди не будут вас уважать... По нынешним временам надо, чтобы людям платили наличными, или они совсем не заплатят.

Это было совершенно верно. Я убежал. Я поставил бобы на плиту перед уходом. Теперь как раз надо было идти за молоком: ночь спускалась. Днем люди улыбались, когда встречали меня с бутылкой. Понятно: без прислуги!

Потом потянулась зима, растянулась на недели и месяцы. Конца не было туманам и дождю.

В больных недостатка не было, но не многие могли или хотели платить. Медицина — неблагоприятная профессия. Когда вас уважают богатые, вы похожи на лакея; когда вас уважают бедные, вы ничем не отличаетесь от вора. Брать за визиты? У них не хватает денег на то, чтобы поехать или сходить в кино; неужели отнимать еще деньги за докторский визит? Да еще в тот момент, когда они теряют сознание. Неудобно. Отпускаешь их, становишься добрым — и тонешь!

Чтобы в январе заплатить за квартиру, я сначала продал буфет. Хочу очистить место, объяснил я соседям, и переделал мою столовую в залу для физкультуры. Поверили? В феврале, чтобы заплатить налог, я спустил велосипед и граммофон, который мне подарила Молли перед отъездом. Он играл «Печаль прошла!». Я помню даже мотив. Это все, что у меня было. Граммофонные пластинки долго лежали в лавке Безена, наконец он их все-таки продал.

Для шику я рассказывал, что с первыми теплыми днями собираюсь купить автомобиль и потому заблаговременно коплю деньги.

Чтобы серьезно заняться медициной, мне главным образом не хватало нахальства. Когда меня провожали до дверей, после того как я дал семье необходимые советы и написал рецепт, я начинал разглагольствовать только для того, чтобы отдалить момент оплаты на несколько минут. Я чувствовал себя проституткой. Клиенты мои были по большей части такие несчастные, такие вонючие, что я всегда спрашивал себя, откуда они возьмут двадцать франков, которые они мне должны, и не убьют ли они меня. Но двадцать франков мне все-таки были очень нужны. Какой стыд! Я никогда не перестану краснеть от этого.

Не то чтобы я кутил или роскошествовал на их пять или десять франков, нет! Ведь большую часть отбирал у них хозяин дома; но это причина неуважительная. Хотелось бы, чтоб это было причиной достаточно уважительной, но это не так. Хозяин дома хуже дерьма. И все тут.

Сколько я себе крови испортил со всем этим, столько бегал под

ледяным ливнем, что я сам стал похож на чахоточного! Это было неизбежно. Это именно то, что случается, когда приходится отказываться почти от всяких удовольствий. Иногда я покупал яйца, но главным образом питался сушеной зеленью. Ее надо долго варить. Часами я следил за тем, как она кипит, сидя на кухне после приемных часов. Отсюда передо мной открывалась прекрасная панорама на двор.

Сюда обрушивались, скрипя и отлетая рикошетом, все крики из двадцати домов вокруг, вплоть до писка птичек консьержки, с отчаянием поджидающих весны, которой они никогда не дождутся в клетках, висящих рядом с уборными, со всеми уборными, собранными вместе в глубине полумрака и размахивающими своими разболтанными дверями. Сотни пьяных самцов и самок населяют эти кирпичи и начинают эхо своими хвастливыми ссорами, неуверенной, разливающейся руганью, особенно после завтраков в субботу. Это наиболее интересный момент семейной жизни. Сначала треплют языком, издеваются друг над другом, потом, налившись, папаша замахивается стулом, как топором, а мамаша — кочергой, как саблей. Слабые, берегитесь!.. Удары приплюсывают к стене все, что не может защититься и отвечать тем же: детей, собак, кошек. После третьего стакана вина начинает страдать собака: ей со всего маху наступили на лапу. Как она смеет быть голодной в одно время с людьми? Есть чему посмеяться, когда она заползает под кровать и визжит, как будто ей распороли живот! С этого начинается. Ничто так не стимулирует взлохмаченных женщин, как страдания животных, но не всегда ведь под рукой бык. Спор продолжается озлобленный, властный, как бред; ведет его супруга, она бросает самцу серию резких вызовов к борьбе. После — свалка, разбиваемые вещи разваливаются на куски. Грохот падает во двор, эхо кружится в темноте. Дети в ужасе кричат. Они открывают все, что скрыто в папе и маме, криком навлекают на себя громы и молнии.

Я проводил целые дни в ожидании того, что случалось время от времени в конце этих семейных сеансов.

Это происходило в третьем этаже, против моего окна, в доме напротив.

Мне ничего не было видно, но все было слышно.

Всему есть конец. Это не всегда смерть, это часто другое, худшее, особенно для детей.

Эти жильцы как раз жили в том этаже, где полутьма двора начинает светлеть. Когда они были вдвоем, в те дни, когда это случалось, они сначала долго спорили, потом наставало длительное молчание. Надвигалось. Сначала они начинали приставать к девочке, звали ее. Она знала, что будет. Она сейчас же начинала плакать. Судя по голосу, ей могло



быть лет десять. После нескольких раз я понял, что они с ней делают.

Сначала они ее привязывали, долго привязывали, как для операции. Это их возбуждало.

— Падаль! — ругался он.

— Ах ты дрянная такая, — прибавляла мать.

— Мы тебя научим уму-разуму! — кричали они вместе и начинали ее упрекать и в том, и в этом, выдумывая.

Должно быть, они ее привязывали к решетке кровати. В это время ребенок попискивал, как мышь, попавшая в мышеловку.

— Нет уж, паршивая, тебе не отвертеться, как ни крутись! — начинала опять мать, и целый поток ругани следовал за этим, как будто она кричала на лошадь. Она была очень возбуждена.

— Мама, молчи, — тихонько отвечала девочка. — Мама, молчи! Бей меня мама, но молчи! Мама!

Ей действительно не удавалось отвертеться, и она получала здоровую взбучку. Я слушал до конца, чтобы убедиться, что происходит именно это, что я не ошибаюсь. Я не мог начать есть бобы, пока это происходило. Я не мог также закрыть окна. Я ни на что не годился. Я ничего не мог сделать. Я сидел и слушал. Тем не менее мне кажется, что у меня прибавлялись силы, чтобы слушать такие вещи, силы, чтобы идти еще дальше, странные силы; в следующий раз я смогу спуститься еще ниже, слушать другие стоны, которых я не слышал или которые раньше мне было трудно понять, потому что за ними есть еще другие стоны, которых еще не слышали и не поняли.

Они избивали дочь до того, что она больше не могла кричать, она только всхлипывала каждый раз, как вздыхала.

Тогда, в этот момент, я слышал, как мужчина счастливым голосом говорил:

— Поди сюда! Скорее! Иди сюда!

Это он обращался так к матери, и потом дверь с шумом захлопывалась за ними.

Так между ними происходила любовь, объяснила мне консьержка. В кухне, прислонившись к раковине. По-другому у них ничего не выходило.

Я узнал об этом постепенно. Когда я их встречал всех вместе, втроем, все это было незаметно. Они гуляли, как настоящая семья. Отца я часто видел, когда он проходил мимо витрины магазина на углу бульвара Пуанкаре «Обувь для чувствительных ног», где он служил главным приказчиком.

Но по большей части на нашем дворе были одни самые неинтересные гнусности, особенно летом. Летом все очень сильно пахло. Во дворе совсем

не было воздуха, только одни запахи. Сильнее всего пахнет цветная капуста. Одна цветная капуста стоит десяти уборных, даже если они полны до краев. Это само собой понятно. Уборная на втором этаже часто портилась. Консьержка из номера 8, тетка Сезанн, приходила тогда со своей длинной ковырялкой. Я следил за тем, как она изворачивалась.

— Если бы я была на вашем месте, я бы шито-крыто помогала женщинам отделяться от беременности. Сколько в этом квартале гуляющих женщин, вы просто не поверите! И они бы с удовольствием дали вам заработать, поверьте мне! Это выгоднее, чем лечить каких-то приказчиков от грыжи!.. И потом за это платят наличными.

У тетки Сезанн было страшное, неизвестно откуда взявшееся презрение ко всем людям, которые работают.

— Жильцы всегда недовольны, будто они в тюрьме живут. Пристают и мучают всех... То у них уборная засорилась, то утечка газа... То письма их будто бы читают. Вечные придирки!.. Уж и надоели!.. Мне даже один жилец плюнул в конверт с квартирной платой. Хорошо это?..

Я вполне уверен, что у меня опять это началось главным образом из-за Робинзона. Сначала я не обращал внимания на недомогание. Ходил по больным, только стал еще беспокойнее, как в Нью-Йорке, и плохо спал, еще хуже, чем обычно.

Я так был потрясен встречей с Робинзоном, что вроде как бы опять заболел. Со своей перемазанной горем мордой он как будто напомнил мне дурной сон, от которого мне никак не удавалось отделаться столько лет. У меня опять отнялся язык от ужаса. Я не смел выйти из дому: так я боялся его встретить.

За мной приходили по два, по три раза, прежде чем я решился навестить больного. Поэтому, когда я приходил, то обычно уже вызывали другого. В голове моей была полная путаница, как и в жизни. Как-то меня вызвали на улицу св. Винсента, где я был до этого только один раз, в номер 12, на третий этаж. Даже на машине приехали за мной. Я сразу его узнал, дедушку; говорил он шепотом и долго вытирал ноги перед тем, как войти. Вкрадчивый, седой и сгорбленный, он спешно вел меня к внуку.

Я хорошо помнил также его дочь, крепкую девку, но уже поблекшую и молчаливую; она несколько раз возвращалась к родителям для того, чтобы делать себе аборт. Ее ни в чем не упрекали. Только хотели, чтобы она вышла замуж в конце концов, тем более что у нее был уже двухлетний мальчик, который жил у дедушки с бабушкой.

Этот ребенок постоянно болел, и тогда дедушка, бабушка и мать все

вместе ужасно плакали, особенно оттого, что у него не было законного отца. Дедушка и бабушка, не совсем себе в этом признаваясь, думали, что незаконные дети более хрупкие и чаще болеют, чем другие.

До этого тайного появления на свет младенца семья жила много лет в квартале «Filles du Calvaire». Ранси было для них местом изгнания, они переехали не потому, что им этого хотелось, а чтобы спрятаться, чтобы заставить позабыть о себе, исчезнуть.

Как только стало невозможно скрывать беременность от соседей, они решили, чтобы избежать разговоров, покинуть свой квартал. Переменить квартиру было делом чести.

В Ранси уважение соседей не было необходимо, в Ранси их никто не знал, и потом здешний муниципалитет вел ужасную политику, по правде сказать — политику анархистов, политику хулиганов. Об этом говорила вся Франция. В подобной, преданной анафеме среде не приходилось считаться с общественным мнением.

Семья сама наложила на себя наказание: они порвали со всеми родственниками и прежними друзьями. Полная драма. Терять больше нечего — считали они. Деклассированы. Когда решаешь потерять к себе уважение, то идешь к народу.

В столовой, куда мы зашли, из экономии была полутьма, а в ней лица, как бледные пятна, бормочущие слова; они повисали во мгле, тяжелой от запаха лежалого перца, которым всегда пахнет семейная мебель.

Посреди комнаты на столе лежал на спине ребенок в пеленках. Я осторожно начал ощупывать его живот, постепенно, сверху донизу, потом я внимательно его осмотрел.

Сердце его билось, как у котенка, сухо и бешено. Потом ребенку надоели мои щупающие пальцы и все мои фокусы, и он начал орать, как орут в этом возрасте, — невообразимо. Это уже было слишком. С тех пор как вернулся Робинзон, я стал чувствовать себя как-то странно телесно и духовно, и крики этого невинного маленького существа произвели на меня ужасное впечатление. Боже мой, какие крики! Какие крики! Сил моих больше не было.

Я думаю, что еще другая мысль вызвала мое глупое поведение. Выведенный из себя, я не сумел удержаться и высказал вслух все отвращение и обиду, которые слишком долго держал про себя.

— Эй! — ответил я маленькому горлану. — Не торопись так, у тебя еще есть время впереди, чтобы орать, не беспокойся, осел ты этакий! Пощади себя. Если ты не будешь осторожен, то горя впереди тебе хватит, чтобы растопить глаза твои, мозги и все остальное!

— Что вы такое говорите, доктор? — подскочила бабушка.

Я просто повторял:

— Хватит!

— Что? Чего хватит? — спрашивала она в ужасе.

— Постарайтесь понять, — отвечаю я ей. — Постарайтесь понять. Вам и так слишком многое объясняют! Вот в чем несчастье! Попробуйте понять! Постарайтесь!

— Чего хватит? Что он говорит? — спрашивали все трое друг у друга.

И дочка странно косилась на меня, а потом начала тоже зычно кричать. Ей представился хороший случай для истерики. Не пропустить же его! Война объявлена. И ногами топала, и задыхалась, и ужасно скашивала глаза. Надо было это видеть!

— Он сумасшедший, мама! — кричала она, задыхаясь от собственного рыдания. — Доктор сошел с ума!.. Отними у него ребенка, мама! — Она спасала свое дитя.

Они вырвали у меня ребенка, как если бы спасали его от пламени. Дедушка, такой робкий сначала, снял со стены большой градусник красного дерева, огромный, как дубина. Он проводил меня, держась на расстоянии, до двери и захлопнул ее за мной изо всех сил ударом ноги.

Конечно, этим воспользовались, чтобы не заплатить мне за визит.

Когда я очутился на улице, я вспомнил без особенного удовольствия то, что со мной только что случилось. Хвастать было нечем.

Не столько из-за моей репутации, которая и так никуда не годилась и без моей помощи, по-прежнему из-за Робинзона, от которого я надеялся избавиться, найдя в нарочно вызванном скандале решение не встречаться с ним больше, сделав самому себе нечто вроде грубой сцены.

Вот на что я рассчитывал.

После этой позорной интермедии я уехал бы из Ранси всерьез и надолго, если бы только мог.

Чем дольше остаешься в каком-нибудь одном месте, тем больше вещи и люди распоясываются, гниют и начинают вонять специально для вас...

Но я все-таки хорошо сделал, что вернулся в Ранси на следующий день, оттого что заболел Бебер. Мой коллега Фролишон уехал на каникулы; тетка колебалась некоторое время и потом все-таки обратилась ко мне, должно быть, потому, что я брал дешевле, чем все остальные знакомые доктора.

Это случилось после Пасхи. Становилось тепло. Первые южные ветры пронесли над Ранси, те самые, что гонят со всех заводов сажу, которая

оседает на оконных рамах.

Болезнь Бебера продолжалась много недель. Я приходил два раза в день. Жильцы поджидали меня у дверей консьержки, делая вид, что они тут случайно; так же и соседи. Это было для них развлечением. Приходили издалека, чтобы справиться, как дела — хуже или лучше. Много мне надавали советов относительно Бебера. В сущности, весь квартал был заинтересован этим случаем. Одни были за меня — другие против. Когда я появлялся в швейцарской, наступало недоверчивое, довольно недружелюбное молчание, подавляющее своим тупоумием.

Бебер еще не бредил, ему только совсем не хотелось двигаться. С каждым днем он терял в весе. С каждым биением сердца желтая и морщинистая кожа его вздрагивала. Казалось, что сердце Бебера находится под самой кожей: такой он стал худой за один месяц болезни. Когда я приходил, он встречал меня разумной улыбкой. Так он очень вежливо перевалил за 39, потом 40 градусов и задумчиво задержался на этой температуре в течение многих дней и недель.

Тетка Бебера наконец замолчала и отстала от нас. Она высказала все, что знала, и теперь хныкала и, как потерянная, ходила из угла в угол швейцарской. После слов наступило горе; казалось, что она знает, что с ним делать, с горем, она пробовала высморкать его, но оно опять подступало к горлу вместе со слезами, и все начиналось сначала. Перепачкавшись в слезах, она становилась грязнее, чем обычно, она даже сама удивлялась: «Боже мой! Боже мой!» — говорила она. И все. Она столько плакала, что выбилась из сил и растерянно смотрела на меня.

Можно было заранее знать, что эта болезнь кончится плохо. Нечто вроде злокачественного тифа, о которой разбивалось все, что я предпринимал: ванны, сыворотка, сухая диета, прививки. Ничто не помогало. Как я ни трудился, все было напрасно. Бебер, улыбаясь, отходил, его неудержимо уносило. Он старался удержать равновесие на самом верху температуры, а я где-то там, внизу, продолжал свой путь. Конечно, тетке везде и всюду авторитетно советовали рассчитать меня без обиняков и немедленно вызвать другого врача, более опытного и серьезного.

Но так как остальные врачи, проведав, какого рода болезнь у Бебера, все отвернулись, то остался все-таки я. Так как Бебер выпал на мою долю, то отчего же мне не продолжать им заниматься? — рассуждали совершенно правильно мои коллеги.

Все, что мне оставалось, — это ходить в соседний трактир звонить по телефону то одному, то другому врачу, которых я более или менее знал в Париже, в больницы, чтобы спросить у них, у этих умников, у этих

маститых, как бы они поступили в случае такого вот тифа, который меня мучил. Они давали мне в ответ хорошие советы, хорошие недействительные советы, но мне все-таки было приятно заставлять их потрудиться, и даром, для маленького незнакомца, ради которого я старался. В конце концов радуешься всякому пустяку, тому малому, что жизнь оставляет нам в утешение.

В то время как я занимался всеми этими тонкостями, тетка Бебера опускалась на все стулья и лестницы, которые ей подвертывались, она выходила из оцепенения только во время еды. Но нужно сказать, что она ни разу не пропустила ни обеда, ни ужина. Да, кстати, ей бы не позволили об этом забыть. Соседи следили за ней. Они откармливали ее, несмотря на рыдания, как на убой. «Для поддержания сил!» — говорили они. Она даже начала толстеть.

Впрочем, чтобы не очень крепко спать и просыпаться при первом же звонке, она напивалась кофе, чтобы жильцы не будили Бебера, не звонили два-три раза подряд. Проходя поздно вечером мимо дома, я заходил, чтобы проверить, не настал ли всему конец.

— Вы не думаете, что он подцепил это в день велосипедных гонок, у зеленщицы он выпил ромашки с ромом? — делала она громкое предположение.

Эта мысль мучила ее с самого начала. Идиотка!

— Ромашка! — слабо бормотал Бебер, в жару откликаясь, как эхо.

Зачем ее было разубеждать?.. Я еще раз проделывал несколько профессиональных жестов, которых ждали от меня, и снова, униженный, уходил в ночь, ибо я, как моя мать, никогда не мог не чувствовать за собой какой-то вины за несчастья, которые случались.

Примерно на семнадцатый день я решил, что все-таки хорошо бы сходить узнать, что они думают, в институте Биодюре Жозефа, о подобной разновидности тифа, и спросить в то же время совета или даже, может быть, достать какую-нибудь сыворотку, которую они рекомендуют. Таким образом, я сделаю все, я испробую все даже странные вещи, и если Бебер умрет, то, наверное, мне ни в чем нельзя будет себя упрекнуть. Я явился в институт, туда, на окраину Парижа, как-то раз утром, часов в одиннадцать.

Мне пришлось довольно долго ждать в садах института — соединение тюрьмы и публичного сквера.

Наконец первыми появились, шаркая ногами, несколько человек из мелких служащих, многие из них несли уже в сумках провизию с ближайшего рынка. Потом в воротах, в свою очередь, стали появляться ученые, еще более вялые, еще более сдержанные, чем их скромные

подчиненные; они проходили небольшими группами, небритые и бормочущие, и исчезали в коридорах, обдирая краску со стен. Старые, седеющие школьники с зонтами, ошалелые от мелочной рутины, донельзя противных опытов, прикованные нищенским жалованьем в течение всего своего зрелого возраста к кухонкам с микробами, где они бесконечно подогревают навар из очисток зелени, задохшихся кроликов и другой неопределенной гнили.

В конце концов они сами были только чудовищными старыми домашними грызунами в пальто. Слава сегодня улыбается только богатым, кто бы они ни были, ученые или еще кто-нибудь. Плебеи науки могли рассчитывать только на свой собственный страх потерять место в этом знаменитом, разгороженном на отделения ящике с теплыми помоями. Им был особенно важен официальный титул ученого. Титул, благодаря которому фармацевты всего города относились с известным доверием к анализу (за который, кстати, платили гроши) мочи и плевков своих клиентов. Нечистоплотные доходы ученого!..

Как только ученый искатель приходит, он первым долгом, по ритуалу, нагибается над желчными, гниющими с прошлой недели кишками кролика, того самого кролика, который бессменно и классически выставлен в углу комнаты. Когда запах от кролика становился действительно невыносимым, приносили в жертву другого кролика, но не раньше, так как профессор Жониссе, в то время главный секретарь института, фанатически наводил экономию.

Настоящему ученому нужно лет двадцать в среднем, чтобы сделать безумное открытие, то самое, которое доказывает, что безумие одних не дает счастья другим и что всякое пристрастие в этом мире мешает соседу.

Научное безумие — более рассудительное и более холодное, чем всякое другое, в то же время самое невыносимое. Но когда удалось добиться возможности существовать в каком-нибудь месте при помощи определенных кривляний, хотя бы существование это было мизерно, приходится продолжать или подохнуть, как кролик. Привычки приживаются быстрее, чем мужество, и в особенности привычка жрать.

Так вот, стал я в институте искать моего Парапина, раз я пришел сюда из Ранси, чтобы его найти. Теперь уже надо было настоять на своем. Далось мне это нелегко. По несколько раз я в нерешительности путался в коридорах и дверях.

Этот старый холостяк никогда не завтракал и обедал только раза два-три в неделю, ужасно обильно, с неистовством, присущим русским студентам, все фантастические привычки которых он сохранил.

В этой специализированной среде Парапин считался наиболее компетентным во всем, что касается тифа животных и людей. Он вошел в славу лет двадцать тому назад, в эпоху, когда несколько немецких ученых в один прекрасный день начали утверждать, что им удалось найти живые вибрионы Эбертина в выделениях влагилица девочки восемнадцати месяцев от роду. Это произвело сенсацию. Счастливцев Парапин ответил в наикратчайший срок от имени Национального института и сразу превзошел тевтонского фанфарона, сделав культуру того же вибриона, но в чистом виде, из семени семидесятидвухлетнего инвалида. Он сразу прославился и теперь до самой смерти мог ограничиваться для поддержания этой славы статьями в специальных толстых журналах, статьями, которые никто не в силах был прочесть.

Серьезная ученая публика относилась теперь к нему с доверием. Это позволяло серьезной публике не читать того, что он пишет. Если бы он начал критиковать эту публику, то всякий прогресс оказался бы невозможным. Над каждой страницей пришлось бы провести год.

Когда я подошел к дверям его кельи, Серж Парапин как раз плевал во все четыре угла лаборатории; слюна его была обильна, а лицо выражало такое отвращение, что это наводило на размышления. Изредка Парапин брился, но, несмотря на это, у него на скулах оставалось всегда достаточно щетины, чтобы он мог сойти за беглого каторжника. Он постоянно дрожал, или, может быть, это только казалось, хотя он никогда не снимал пальто с полным набором пятен и главное — перхоти, которую он ногтем скидывал на все, что придется, встряхивая одновременно волосами, падающими на зелено-розовый нос.

Когда я был практикантом на факультете, Парапин научил меня пользоваться микроскопом и был по отношению ко мне по-настоящему доброжелателен. Я надеялся, что он не совсем забыл меня за этот долгий срок и что он сумеет, может быть, дать мне блестящий теоретический совет для Бебера. Бебер, по правде сказать, неотступно меня преследовал.

Меня, несомненно, гораздо больше интересовало отстоять Бебера, чем взрослого. Кончина взрослого всегда доставляет некоторое удовольствие: все же одним гадом меньше на земле; с ребенком — другое дело, у него есть будущее.

Парапин, когда я рассказал ему обо всех моих затруднениях, охотно согласился помочь мне и направить мою рискованную терапию. Но за двадцать лет он столькому научился касательно тифа, стольким разнообразным, часто противоречащим друг другу вещам, что теперь ему было очень трудно, так сказать, невозможно назначить для этой столь



банальной болезни какое бы то ни было четкое и категорическое лечение.

— Во-первых, дорогой коллега, верите ли вы лично в сыворотки? Что вы по этому поводу думаете?.. А в прививки?.. В общем, какое ваше впечатление?.. Сегодня есть выдающиеся люди, которые слышать больше не хотят о прививках... Это, коллега, несомненно смело... Я тоже считаю... Но в конце концов? А? Все-таки? Не находите ли вы, что в этом отрицании есть доля правды? Что вы думаете?

Фразы вырывались у него изо рта скачками, сопровождаемые грохочущими обвалами буквы р.

Случилось так, что в то время, когда он, подобно льву, боролся с бешеными и отчаянными гипотезами, Жониссе, который тогда еще был в живых, прошел под нашими окнами.

Увидав его, Парапин, если это вообще было возможно, побледнел еще больше и нервно переменял тему разговора, спеша немедленно доказать мне отвращение, которое в нем вызывает один вид этого Жониссе с его всемирной славой. Он характеризовал мне знаменитого Жониссе, обозвав его фальшивомонетчиком, опасным маньяком, приписав ему, кроме того, чудовищные, небывалые еще тайные преступления, которых хватило бы, чтобы населять каторгу в течение ста лет.

Все это он говорил очень громко. Такая откровенность меня удивляла. Служащий при лаборатории слышал весь разговор. Он закончил все свои приготовления и уже только для виду возился с печами и пробирками; он настолько привык слышать ежедневные проклятия Парапина, что они казались ему, как бы чудовищны они ни были, вполне академическими и незначительными. Этот парень чрезвычайно серьезно занимался какими-то своими личными изысканиями. Гнев Парапина не отвлекал его от занятий. Перед тем как уйти, он нежно, тщательно, как дарохранительницу, закрывал печь со своими личными микробами.

— Вы обратили внимание на моего уборщика, коллега? Обратите внимание на этого старого кретина, — обратился ко мне Парапин, как только тот вышел. — Вот уже скоро тридцать лет, как, подметая за мною сор, он слышит разговоры о науке, в изобилии и откровенно, и, несмотря на это, он не чувствует к ней отвращения, и, наоборот, в конце концов теперь только он, один он здесь и верит в науку! Он столько возился с моими опытными пробирками, что они кажутся ему замечательными. Пальчики себе облизывает!.. Он пьянеет от восторга при всякой моей выходке... Кстати, во всякой религии происходит то же самое. Когда священник давно уже бросил думать о Господе Боге, церковный сторож еще верит в него. Нерушимо верит! Противно до тошноты!.. Мой олух дошел до того, что

стал подражать мне в костюме, а в манере стричь бороду, великому Биодюре! Вы заметили это?.. Кстати, между нами, Биодюре отличается от моего уборщика главным образом своей всемирной славой и интенсивностью своих маний...

Парапин тоже медленно собирался уходить. Я помог ему обернуть шею чем-то вроде шарфа и поверх перхоти накинуть нечто вроде мантильи. Тогда он вдруг вспомнил, что я пришел к нему за чем-то определенным и срочным.

— За всеми моими делишками, — воскликнул он, — я забыл о вашем больном! Простите меня, коллега, и скорее вернемся к нашему предмету! Но что я могу сказать такое, что бы вам не было уже известно? Среди всех этих приблизительных теорий и спорных опытов было бы разумнее всего не выбирать! Поступайте, коллега, по собственному разумению, уверяю вас. Раз необходимо действовать, поступайте именно так!

Не успели мы выйти на улицу, как нам пришлось сейчас же вернуться за калошами. Таким образом, мы куда-то опаздывали. Потом мы спешно направились в это место, которого он мне не называл.

По длинной улице Вожирар, между зеленщицами, подошли мы к площади, окруженной каштанами и полицейскими. Мы пробрались в заднюю комнату маленького кафе, где Парапин уселся у окна, защищенного занавеской.

— Опоздали! — сказал он с досадой. — Они уже вышли.

— Кто?

— Школьницы... Между ними есть прелестные... Я знаю их ноги наизусть. Больше ничего мне от жизни не нужно. Пойдем! Придется отложить до другого раза...

Мы расстались друзьями.

Как хотелось бы мне больше никогда не возвращаться в Ранси! Я ушел оттуда с утра и уже успел забыть мои обычные заботы: они так просто пустили корни в Ранси, что не шли за мной. Может быть, покинутые заботы умерли бы там, как Бебер, если бы я не вернулся. Это были заботы окраины.

Я пошел бродить. Я никак не мог решиться перейти Сену. Не каждому дано быть Цезарем! По другую сторону, на том берегу начинались мои неприятности. Я решил подождать ночи на левом берегу. Хоть несколько солнечных часов выиграть — решил я про себя. Вода плескалась у ног рыболовов, и я присел, чтобы поглазеть на них. Я, правда, совсем не спешил. Рыба не клевала. Но казалось, что это им неважно. Должно быть,

рыба уже знала, кто они такие. И рыболовы сидели и делали вид. Красивые последние лучи еще немного грели, играя на воде голубыми и золотыми бликами. И ветер, совсем свежий, дул со стороны больших деревьев, улыбающийся ветер, мягкими шквалами наклонялся он к нам сквозь тысячи листьев. Хорошо! Целых два часа просидели мы, так ничего и не поймав, ничего не делая.

Ночь вышла из-под арок моста, поползла вдоль дворца, заняла фасад, пылающие окна — одно за другим. Окна тоже погасли. Оставалось только одно — уйти. Еще раз. Букинисты на набережных запирали ящики.

— Ты идешь? — кричала женщина с парапета мужу, который собирал рядом со мной складной стул, червяков.

Он что-то проворчал, и все остальные рыболовы заворчали вслед за ним, и мы поднялись наверх, я вместе с ними, продолжая ворчать. Я заговорил с его женой просто так, чтобы сказать ей что-нибудь любезное, перед тем как ночь наступит повсюду. И сейчас же она постаралась продать мне книгу. Она забыла запереть ее в ящик — утверждала она.

— Я оттого так дешево отдаю, почти задаром... — прибавляла она.

Старенький томик Монтеня, настоящий, за франк. Мне очень хотелось доставить этой женщине такое дешевое удовольствие. Я купил томик Монтеня.

Вода под мостом отяжелела. Мне больше не хотелось идти дальше. На бульваре я выпил кофе и развернул книжку, которую она мне продала. Я открыл ее как раз на той странице, где этот самый Монтень пишет своей жене по случаю смерти их сына. Меня это сразу заинтересовало, должно быть, из-за того, что я видел в этом связь с Бебером. «Ах (или что-то вроде этого), — писал Монтень своей супружнице. — Не горюй, моя дорогая жена! Утешься... Все устроится... Все в жизни устраивается... Кстати, — писал он ей еще, — я нашел вчера среди старых бумаг одного приятеля письмо Плутарха, которое он писал своей жене при таких же обстоятельствах. И так оно мне понравилось, письмо это, дорогая моя жена, что я его тебе посылаю... Это прекрасное письмо! Прочти и перечти его хорошенько! Теперь я спокоен. Я уверен, что оно поставит вас на ноги. Ваш добрый муж Мишель». Вот что, сказал я сам себе, чисто сработано. Жена его, должно быть, гордилась таким добрым мужем, таким Мишелем, которого ничто не берет. Словом, это их личное дело. Может быть, когда судишь чужое сердце, то всегда ошибаешься? Может быть, они действительно горевали? Так, как горевали в ту эпоху.

Что же касается Бебера, то это был проклятый день. Мне не везло с Бебером, живым ли, мертвым ли. Мне казалось, что на всей земле для него

нет ничего, даже у Монтеня. Может быть, это для всех так: стоит покопаться — и сейчас же пустота. Спорить не приходится, я ушел из Ранси утром и вернусь я туда ни с чем. Мне нечего было ему предложить, ни ему, ни тетке.

Дома у меня было тихо и холодно. Как будто в каком-то уголке большой ночи нарочно для меня одного выкроили маленькую ночь.

Иногда снизу вползал шум шагов, эхо сильнее откликалось у меня в комнате, жужжало, утихало. Тишина. Я еще раз выглянул, не происходит ли чего-нибудь напротив. Только во мне самом что-то происходило: там неотступно стоял передо мной все тот же вопрос.

Я так и заснул с этим вопросом в моей собственной ночи, в этом гробу: до того я устал без конца бродить и ничего не находить.

Лучше не обманываться, а признать, что людям не о чем говорить друг с другом, если не считать разговоров о самих себе, о своих горестях. Каждый — о себе, земля — обо всех. Приходит любовь, и они стараются свалить свое горе на другого, но это им не удается: горе остается при них. Тогда они начинают все сначала, еще раз пробуют сбить свое горе. «Как вы хороши, мадемуазель», — говорят они. И жизнь волочит их для следующего раза, когда они опять пробуют тот же трюк: «Вы очень хороши, мадемуазель».

Пока что всякий хвастает, что ему удалось его сбить, это горе, но, конечно, все знают, что это неправда. А пока так возишься, становишься все уродливей и отвратительней, а там смотришь — и постарел, и даже нет сил скрывать свое горе, свою несостоятельность; в конце концов всю морду сворачивает на сторону гнусная гримаса, которая целых двадцать — тридцать лет ползла от живота к физиономии. Вот и все, на что может пригодиться человек, — единственно на то, чтобы скорчить гримасу; и даже на это ему бывает иной раз мало целой жизни, и он не успевает ее закончить; гримаса эта так тяжела и сложна, что для того, чтобы ее выразить, нужно отдать всю свою настоящую душу, без остатка.

Мою гримасу как раз подготавливали неоплаченные (несмотря на то, что были они очень незначительны) счета: моя невозможная квартирная плата, мое не по сезону легкое пальто и лавочник, который исподтишка издевался надо мной, когда я пересчитывал мои гроши, перед тем как спросить сыра, когда я краснел при виде начинающего дорожать винограда. А также подготавливали ее мои постоянно недовольные больные. Смерть Бебера не улучшила моей репутации, хотя тетка на меня не сердилась. Она мне ничего дурного не сделала. Неприятности скорее пошли со стороны

Анруйев, из их дома; вот кого я начал опасаться.

В один прекрасный день старуха Анруй покинула свой флигелек, сына, невестку и решила нанести мне визит собственной персоной. Потом стала часто меня навещать, стараясь узнать, думаю ли я действительно, что она сумасшедшая. Казалось, это стало для старухи развлечением — нарочно ходить ко мне и задавать такие вопросы. Она ждала меня в комнате, которая служила мне приемной. Три стула и этажерка на трех ногах.

В этот вечер я застал ее в приемной с теткой Бебера, как раз она ее утешала рассказами о том, кого из родственников она сама, старуха Анруй, потеряла по дороге к теперешнему ее возрасту.

Потом пришел Робинзон. Они познакомились. Дружба, да и только.

Позднее я вспоминал, что именно с этого дня он завел привычку встречаться у меня в приемной со старухой Анруй. Они разговаривали. На следующий день хоронили Бебера.

— Вы придете? — спрашивала тетка всех, кого бы она ни встретила. — Я была бы рада видеть вас...

— Конечно, приду, — ответила старуха.

В такие минуты приятно видеть вокруг себя людей. Теперь она уже не желала сидеть у себя в лачуге, она стала положительно непоседой.

Робинзон лишний раз принялся нам рассказывать, что кислоты выжигают ему желудок и легкие, что он от них задыхается и плюется черной слюной. Но старуха Анруй не плевала, не работала с кислотами, и потому то, что рассказывал Робинзон, не могло ее интересовать. Она пришла только для того, чтобы составить себе определенное мнение обо мне. Она искоса следила за мной во время разговора своими бегающими голубенькими глазками. Робинзон не на секунду не терял из виду этого беспокойства. В моей приемной было темно, большой дом напротив широко белел, перед тем как уступить ночи. После этого между нами остались только наши голоса и все то, что они всегда как будто готовы сказать и никогда не говорят.

Когда мы остались одни, я постарался объяснить Робинзону, что мне совсем не хочется с ним встречаться. Но он все-таки пришел в конце месяца, а потом стал ходить почти каждый вечер. Правда, у него болела грудь.

— Мосье Робинзон опять приходил, спрашивал вас... — говорила мне моя консьержка, которая им интересовалась. — Не жилец он, а?.. — прибавляла она. — Он опять кашлял...

Она отлично знала, что меня раздражает то, что она об этом говорит. Он действительно кашлял.

— Ничего не сделаешь, — предсказывал он сам, — я никогда не перестану кашлять.

— Подожди до лета. Терпенье! Вот увидишь... Кашель пройдет сам собой...

Словом, все, что говорят в таких случаях. Я не мог его вылечить, пока он продолжал работать с кислотами. Но я старался его поддерживать.

— Сам собой?! — отвечал он. — Тебе легко говорить... Можно подумать, что дышать, как я дышу, — это пустяк... Посмотрел бы я на тебя, что бы ты запел, если бы у тебя такая штука была в груди! С такой штукой ноги протянешь... Вот я тебе что скажу!..

— Ты в плохом настроении, времена сейчас для тебя трудные, но когда ты поправишься... Вот увидишь, даже если только немножко поправишься...

— Поправлюсь?! В могиле я, что ли, поправлюсь? Лучше мне было на войне погибнуть. Ты, конечно, доволен, что вернулся... Тебе жаловаться не на что.

Я не отвечал. Тогда он обижался:

— Вот видишь, ты не споришь! Значит, ты согласен.

Глядя на него, я сам потерял последнее мужество. Я изо всех сил боролся против моего собственного невезения, против желания запереть двери раз и навсегда, двадцать раз на день говорил себе: «К чему? И слушать его постоянные жалобы! Это уж слишком!»

— У тебя нет никакой энергии, Робинзон, — сказал я ему наконец. — Ты бы женился: может быть, это тебе вернуло бы желание жить...

Если б у него была жена, он бы отстал от меня. Ему не нравились мои советы, особенно такие. Он мне даже ничего не отвечал относительно женитьбы. Надо сказать, что совет был глуповатый.

Как-то в воскресенье, когда у меня не было дежурства, мы вышли вместе погулять. На углу бульвара Маньяним мы сели на террасу какого-то кафе. Говорили мы мало, нам, в сущности, не о чем было больше говорить. Во-первых, когда уже знаешь, в чем дело, на что слова? Они служат только для того, чтобы ссориться.

В воскресенье автобусы ходят редко. С террасы было почти приятно смотреть на аккуратный, отдохнувший бульвар. За нами в трактире играл граммофон.

Робинзон проводил меня до маленького городского парка. Мы разговорились о том о сем.

— Плохо то, понимаешь ли, что я не могу больше пить. (Такая ему пришла мысль в голову). Когда я не пью, у меня такие схватки делаются,

что мочи нет.

И он сейчас же рыгнул, чтобы доказать мне, что даже тот стаканчик, который он только что выпил, не прошел ему даром. Видишь?..

Мы расстались у его дверей. «Замок сквозняков!» — объявил он. Он исчез. Я думал, что увижу его не скоро.

Дела мои как будто стали немножко поправляться, и как раз начиная с этой ночи.

В один дом меня срочно вызывали два раза. В воскресенье вечером все вздохи, волнения, нетерпение распоясываются. Самолюбие, распустившись, стоит на воскресном посту. После целого дня алкогольной свободы рабы вздрагивают, трудно сдерживать их, они фыркают, храпят и со звоном трясут свои цепи.

В одном только доме комиссариата одновременно происходило две драмы. Во втором этаже кончался больной раком, в то время как на четвертом этаже происходили роды, с которыми акушерка никак не могла справиться. Эта матрона давала всем нелепые советы, продолжая полоскать несчетное количество полотенец. Между двумя промываниями больной она улучала минутку, чтобы сбегать вниз и сделать укол больному раком по десяти франков за ампулу камфарного масла — не как-нибудь! День для нее был выгодный.

Все семьи этого дома провели воскресенье в капотах и без пиджаков, бодро смотря в лицо событиям и поддерживая себя острыми кушаньями. В коридорах и на лестнице несло чесноком и какими-то еще более странными запахами. Собака резвилась, взбираясь на седьмой этаж. Консьержка старалась иметь представление обо всем происходящем в целом. Ее можно было встретить повсюду.

Постановкой драм ведала акушерка, огромная, вся в фартуке. Во втором этаже, в четвертом она прыгала, как мяч, и потела от упоения и злобы. Когда я появился, она сразу обернулась колючим ежом.

Ведь с утра у нее по струнке ходили, она чувствовала себя главным персонажем.

Как я ни старался завоевать ее расположение, держаться в тени, находить, что все, что она делает, прекрасно (несмотря на то что она наделала одни только ужасающие глупости), самый факт моего появления, само мое присутствие было ей отвратительно. Бороться с этим было невозможно. Акушерка, за которой наблюдаешь, обычно приятна, как нарыв. Не знаешь, как с ней поступить, чтобы она возможно меньше причиняла боли. Семьи выходили из берегов кухни и заливали первые ступеньки лестницы и квартиру, смешиваясь с другими родственниками в

доме. Сколько их! Толстых и тонких, заспанных и гроздьями скученных под висячими лампами. Время шло, их становилось все больше; являлись родственники из провинции, где ложатся спать раньше, чем в Париже. Им вся эта волянка ужасно надоела. Что бы я ни говорил, родственникам верхней драмы и нижней драмы, все было не так.

Агония второго этажа продолжалась недолго. Тем лучше и тем хуже. В тот самый момент, как он испускает последний вздох, появляется его постоянный доктор, по фамилии Оманон, который зашел просто так, чтобы справиться, не умер ли его пациент, и он тоже начинает на меня почти что кричать за то, что встретил меня тут. Тогда я объяснил Оманону, что воскресенье — день моего муниципального дежурства, что поэтому мое присутствие здесь вполне естественно, и я с достоинством удалился на четвертый этаж.

Женщина там, наверху, продолжала истекать кровью. Еще немного, и она в свою очередь начнет помирать без разговоров. В одну минуту я сделал впрыскивание и опять спустился к оманоновскому пациенту. Там все было кончено. Оманон только что ушел. Но эта сука успел все-таки перехватить мои двадцать франков. Я остался при пиковом интересе. Тут уже я ни за что больше не хотел уступить свое место там, у выкидыша. Я бегом пустился наверх.

Перед истекающей кровью маткой я еще раз давал объяснения семье. Акушерка, конечно, со мной не соглашалась. Можно было подумать, что она зарабатывает на том, чтобы мне противоречить. Но раз уж я нахожусь тут, приходится плевать на то, что ей нравится и что — нет. Никаких фантазий! С выдержкой и умением я мог на этом деле заработать сто франков. Спокойно! И побольше науки, черт возьми! Не поддаваться на замечания и вопросы, пропитанные вином, витающие над вашей невинной головой, — это тяжелый хлеб. Семья выражает свое мнение вздохами и отрыжкой. Акушерка со своей стороны ждет, чтобы я окончательно запутался, сбежал и оставил ей эти сто франков. Только этого ей не дожидаться! А квартирная плата? Кто же за меня будет платить? Роды эти тянутся с утра, это правда. Правда, что кровотечение не останавливается, в таком случае надо уметь выждать. Плод не появляется, проход сух и продолжает кровоточить. Это был бы ее шестой ребенок.

Где же муж? Я требую его. Надо было бы его найти, чтобы отправить жену в больницу. Какая-то родственница предложила мне отправить ее в больницу. Мать семейства, которой хотелось уложить спать детей. Но когда мы предложили больницу, каждый начал говорить свое. Одни были за больницу, другие — против, считая, что больница — это неприлично.



Слышать они об этом не хотели. На этом основании родственники обменялись резкостями, которые не забудутся. Они вошли в историю семьи.

Акушерка презирала всех. Я же хотел, чтобы нашли мужа, чтобы посоветоваться с ним и решиться на что-нибудь. Он неожиданно отделился от одной из групп, еще более нерешительный. Между тем решать должен был ведь именно он. Больница или нет? Как он хочет поступить? Он не знает. Он хочет посмотреть. И он смотрит. Я показываю ему дыру жены, откуда просачиваются сгустки крови и слышно бульканье, потом всю его жену целиком, и он смотрит. Она воет, как большая собака, попавшая под автомобиль. В общем, он не знает, чего хочет. Ему подают стакан белого вина для поддержки сил. Он садится. Но его все-таки не осеняет.

День он проводит на тяжелой работе. Его все знают на рынке и особенно на вокзале, где вот уже пятнадцать лет он грузит мешки зеленщиков, и не какие-нибудь мелкие, а большие и тяжелые. На нем широкие штаны и куртка. Они не сваливаются, но вид у него такой, будто ему не важно, даже если он их и потеряет. Кажется, что ему важно только крепко стоять на земле, и он стоит раскорякой, как будто ожидая, что вот-вот земля под ним затрясется. Зовут его Пьером.

Все ждут.

— Как ты думаешь, Пьер? — спрашивают его все окружающие.

Пьер почесывается и садится у изголовья жены, точно он ее больше не узнает, жену, которая производит на свет столько страдания, и Пьер пускает что-то вроде слез и опять встает. Тогда ему задают опять тот же вопрос. Я уже приготовил пропуск для больницы.

— Думай же, Пьер! — умоляют его все.

Он старается, но ничего не выходит. Он встает и, пошатываясь, идет в кухню, унося с собой стакан. Ждать больше не стоит. Сомнения мужа могут продолжаться целую ночь — это было ясно для всех. В таком случае лучше уйти.

Сто франков мои плакали, вот и все!

Очень я был разочарован всем случившимся в это воскресенье, и к тому же я устал!

На улице я не прошел и ста метров, как замечаю Робинзона, который идет мне навстречу, нагруженный какими-то досками, большими и маленькими. Несмотря на темноту, я его сразу узнал. Он был очень смущен встречей со мной и хотел увильнуть, но я его остановил.

— Ты ведь собирался спать лечь? — говорю я ему.

— Тише!.. — отвечает он. — Я со стройки...

— Что ты собираешься делать со всем этим деревом? Тоже строить?.. Гроб?.. Верно, украл доски?

— Нет, клетку для кроликов.

— С каких пор ты разводишь кроликов?

— Нет, это для Анруйев.

— Для Анруйев? У них кролики?

— Да, три штуки. Они хотят поселить их во дворике, знаешь, там, где живет старуха.

— И ты по ночам строишь клетку для кроликов! Странное же ты выбираешь время.

— Это жена его придумала.

— Странная мысль! Зачем ей кролики? Она будет их продавать? Цилиндры из них делать?

— Это уж ты у нее спроси, а мне только б она заплатила сто франков — и ладно...

Все-таки история с кроличьей клеткой среди ночи казалась мне странной.

Я стал настаивать.

Тогда он замял разговор.

— Каким образом ты вообще попал к ним? — спросил я еще. — Ты ведь не знаком с Анруйями?

— Говорю тебе, старуха меня привела к ним в тот самый день, когда я встретился с ней у тебя в приемной... Болтливая эта старуха, представить себе не можешь!.. Так и сыплет. Ну вот мы и подружились, и с ними тоже... Понимаешь, есть люди, которые находят, что я интересный человек...

— Ты мне никогда ничего об этом не рассказывал. Но раз ты у них бываешь, ты, должно быть, знаешь, удастся ли им упрятать старуху в сумасшедший дом?

— Нет, не вышло... Так они говорят.

Этот разговор был ему очень неприятен — я это чувствовал, — он не знал, как от меня отделаться. Но чем больше он отвиливал, тем больше мне хотелось знать.

— Трудно жить на свете, ты не находишь? Чего только не приходится делать! — повторял он туманно.

Но я возвращался к прежнему разговору. Я твердо решил не упускать его.

— Говорят, что они богаче, чем кажутся, эти Анруйи? Как ты думаешь? Ведь ты у них бываешь.

— Может, и правда, но, во всяком случае, им очень хочется отделаться

от старухи.

Он никогда ничего не умел скрыть, Робинзон.

— Понимаешь, им хочется от нее отделаться, оттого что жизнь очень дорожает. Они говорят, что ты не хочешь объявить ее сумасшедшей. Это правда?..

И, не ожидая ответа, он быстро спросил меня, в какую сторону я иду. Тут же он закашлялся.

— Ты промочил ноги, наживешь еще плеврит, шляешься по ночам... Иди домой! — посоветовал я. — Ложись спать!..

Его раздражали приступы кашля.

— Старуха Анруй, вот увидишь, подцепит хорошенький грипп! — прокашлял он посмеиваясь.

— Отчего это?

— Вот увидишь! — говорит он.

— Что они придумали?

— Ничего не могу тебе сказать. Сам увидишь...

— Расскажи, Робинзон, расскажи, гад ты этакий! Ты ведь знаешь, что я никогда ничего никому не рассказываю.

Теперь ему вдруг ужасно захотелось все рассказать и, может быть, в то же время доказать мне, что он вовсе не так уже выдохся и смирился, как это могло казаться.

— Валяй! — подгонял я его потихоньку. — Ты ведь знаешь, что я никому не расскажу.

Ему необходимо было это оправдание, чтобы все мне выложить.

— Это правда, — признал он, — ты умеешь молчать.

И пошел подробно все рассказывать. В этот час мы были одни на бульваре Кутюманс.

— Ты помнишь случай с торговцем морковью?

Сначала я не мог припомнить случай с торговцем морковью.

— Да знаешь, — настаивал он. — Ты сам мне рассказал!

— Ах да, да... — И я вдруг вспомнил: — Железнодорожник с улицы Брюмер?.. Тот самый, которому в живот попал целый заряд дроби, когда он воровал кроликов?.. Теперь знаю. Ну и что же?..

Я еще не видел связи между этим давнишним случаем и старухой Анруй. Но он сейчас поставил точку над i.

— Ты не понимаешь?

— Нет, — говорю. (Но я вскоре не смел больше не понимать.)

— Ну, знаешь ли, соображаешь ты медленно.

— Оттого что, по-моему, ты задумал дело неподходящее, — не

удержался я. — Как-никак нельзя же убить старуху Анруй, чтобы доставить удовольствие ее невестке?

— Ну, мое дело — сторона. Мне заказывают клетку, я ее делаю. Насчет заряда, они этим займутся сами... если захотят.

— Сколько они тебе за это дали?

— Сто франков за доски, двести пятьдесят за работу и еще тысячу франков за самый факт... И потом, сам понимаешь... это только начало. Это такой факт, что если сумеешь за него взяться, то он может приносить постоянный доход. Ну что, миляга, понимаешь, какое это дело?

Нужно сказать, что я понимал, какое это дело, и не очень был удивлен. Мне стало еще немного грустней, и только. Все, что можно сказать в таких случаях, чтобы разубедить людей, ничего не стоит. Разве жизнь с ними ласкова? Почему и кого же они станут жалеть? Зачем? Жалеть других? Видано ли, чтобы кто-нибудь спустился в ад, чтоб заменить собой другого? Нет. Бывает, что один толкает в ад другого. И это все.

Призвание к убийству, которое внезапно проявилось в Робинзоне, показалось мне даже в некотором роде шагом вперед по сравнению с другими людьми, всегда наполовину злобными, наполовину доброжелательными, всегда скучными благодаря неопределенности своих стремлений. Несомненно, что, углубляясь в ночь вслед за Робинзоном, я все-таки кой-чему научился.

Но есть опасность: закон.

— Закон, — обращаю я его внимание, — вещь опасная. Если поймают, то ты при твоём плохом здоровье пропадёшь...

— Плевать! — отвечает он мне. — Все эти законные трюки застряли у меня в горле... Состаришься, дожидаясь своей очереди побаловаться. Да еще дождёшься ли? До тех пор двадцать раз успеешь сдохнуть... Эти делишки хороши для добродетельных, честных тружеников, как говорится... И тебе так же хорошо известно, как и мне...

— Возможно... Конечно, если б не риск, все бы занялись такими делами... Полиция, она по головке не гладит — это ты запомни... В этих делах есть обратная сторона... Мы обсуждаем положение.

— Не спорю, конечно, но, понимаешь, работать так, как я работаю, в моем состоянии, не спать, кашлять, делать работу, от которой и вол бы отказался!.. Хуже не будет... Так, я считаю... Теперь уже хуже не будет...

Я не смел соглашаться с ним, потому что впоследствии он стал бы меня упрекать, если б эта комбинация не удалась.

Чтобы вернуть мне бодрость, он начал меня уговаривать не жалеть старуху, потому что, во-первых, ей все равно недолго осталось жить, она и

так уже слишком стара. В общем, он только займется ее кончиной, и это все.

Но как бы то ни было, дело было грустное, что там ни говори. Все подробности были уже изучены им: раз старуха взяла привычку выходить из дому, в один прекрасный вечер можно будет послать ее кормить кроликов. Заряд будет прилажен как следует. Выстрел придется в лицо, как только она дотронется до дверки... В точности так, как это случилось с торговцем морковью... Ее и так уже считали сумасшедшей в квартале, и этот несчастный случай никого не удивит. Можно будет сказать, что много раз ее предупреждали, чтоб она не ходила к кроликам! Что она не послушалась... И в ее возрасте ей, конечно, не пережить такого удара, который ей готовился... прямо в физию...

Нечего сказать, удачный случай я когда-то рассказал Робинзону.

Вспоминаю еще один вечер, приблизительно тогда же, из-за некоторых обстоятельств. Началось с того, что я услышал вечером, после обеда, грохот помойных ведер. Случалось это часто на моей лестнице, что люди натыкались на помойные ведра. Потом женские стоны, жалобы. Я приоткрыл входную дверь, но не двинулся.

Если выйти на лестницу как раз в тот момент, когда нужна первая помощь, то меня будут рассматривать просто как соседа и помощь моя окажется бесплатной. Если я им нужен, они могут меня вызвать по всем правилам, за двадцать франков. Как бы то ни было, я почти что перестал уже ждать, когда в дверях появилась девочка, которая старалась прочесть фамилию над звонком. Она пришла именно за мной от мадам Анруй.

— Кто у них заболел? — спросил я ее.

— Один господин, который ранил себя у них.

— Господин? — сейчас же подумал о самом Анруйе.

— Нет, это их приятель.

— Ты его знаешь?

— Нет. Я никогда не видела этого приятеля.

На улице было холодно, девочка бежала рысцой, я быстро шел за ней.

— Как это случилось?

— Не знаю.

Мы шли вдоль небольшого парка, последнего прибежища бывшего леса, где по ночам в деревьях застревали длинные зимние туманы, мягкие, тягучие. Улочки, одна за другой. В несколько минут мы подошли к их домику. Ребенок попрощался со мной.

Она боялась подойти ближе. Невестка Анруй стояла на крыльце под навесом. Пламя ее светильника колебалось от ветра.

— Сюда, доктор! Сюда! — крикнула она мне.

Я сейчас же спросил:

— Ваш муж себя ранил?

— Входите! — ответила она довольно резко, прежде чем я успел что-нибудь сообразить.

И я сразу нарвался на старуху, которая тут же, в коридоре, напала на меня. Извержение ругательств.

— Ах, сволочи! Ах, бандиты! Доктор, они хотели меня убить!

Это значило, что дело не выгорело.

— Убить? — спросил я, будто бы удивленно. — Зачем?

— Потому что я все никак не сдохну! Вот и все. Очень просто. Черт возьми! Да не хочу я вовсе умирать!

— Мама, мама, — останавливала ее невестка. — Вы сами не знаете, что говорите! Что за ужасы вы рассказываете доктору? Образумьтесь, мама!

— Это я ужасы рассказываю? Ну и нахальства у этой стервы! Я не знаю, что говорю? Достаточно знаю, для того чтобы вас всех повесили. Увидите!

— Но кто же ранен? Где он?

— Увидите! — обрезала старуха. — Он наверху, на ее кровати, убийца! Всю постель перепачкал. Верно я говорю, гадина? Весь тюфяк в его свинячьей крови. Не в моей! А кровь у него, должно быть, что помои. Тебе ее не отмыть! Годами будет от твоей кровати вонять кровью убийцы. Есть же люди, которые ходят в театр для сильных ощущений! Уверяю вас, что театр здесь! Здесь, доктор! Здесь, наверху. Самый настоящий театр! Не уступайте своего места! Идите скорей наверх! Может быть, этот каналья уже успел умереть. И тогда вы больше ничего не увидите.

Невестка боялась, что старуху слышно на улице, и требовала, чтобы она замолчала. Несмотря на положение вещей, невестка как будто не растерялась; она казалась только очень недовольной тем, что ничего не вышло, но от мысли своей не отказывалась. Она даже была совершенно уверена в своей правоте.

— Вы только послушайте, что она говорит, доктор! Разве это не обидно? А я-то старалась всегда облегчить ей жизнь! Ведь вы это знаете... Я ей постоянно предлагала послать ее к монашкам...

Но опять слушать про монашек было для старухи невыносимо.

— В рай! Вот куда вы хотели меня послать, все! Ах, бандитка! Вот для чего вы его вызвали, ты и твой муж, этого негодяя, который лежит наверху! Чтобы убить меня — вот для чего, а не для того, чтобы послать к

монашкам.

Если невестка не казалась подавленной, то свекровь и подавно нет. Покушение чуть было не стоило ей жизни, но она больше прикидывалась возмущенной, чем была на самом деле. Она кривлялась.

Неудавшееся убийство даже скорее сыграло роль стимула, вырвало ее из могилы, из глубины заплеванного сада, где она была похоронена в течение стольких лет. В ее возрасте упрямая живучесть вернулась к ней. Она непрестанно радовалась своей победе и тому, что у нее оказался способ вечно мучить сварливую невестку. Теперь она у нее в руках! Она горела желанием посвятить меня во все подробности этого горепокушения.

— И потом, знаете, — продолжала она все так же взволнованно, — я с ним познакомилась у вас, с убийцей, у вас. Хотя он и показался мне подозрительным. До чего подозрительным! Знаете, что он мне предложил сначала? Успокоить вас, дочь моя! Вас, стерву! И за недорогую плату. Уверяю вас. Кстати, он это предлагает всем. Это давно известно... Теперь понятно, шлюха несчастная, что я хорошо знаю, чем он занимается, твой труженик! Что я хорошо осведомлена! Робинзоном его зовут. Верно? Посмей только сказать, что у него другая фамилия! Как только он повадился к вам, у меня сейчас же явились подозрения. К счастью... Если бы я не остерегалась, что бы со мной теперь было?

И старуха снова и снова рассказывала мне, как все произошло. Кролик дернулся в то время, как он привязывал заряд к дверце клетки. Старуха следила за ним в это время из лачуги, «из ложи бенуара», как она говорила. И заряд дробы взорвался прямо ему в лицо, прямо в глаза, в то время как он готовил этот подвох.

— Когда занимаешься убийством, конечно, нервничаешь, понятно! — заключила она.

Словом, в смысле бездарности и неудачи это сделано великолепно.

— Вот что сделали с людьми в наши дни! Именно сделали! Приучили их! — настаивала на своем старуха. — Сегодня, чтобы есть, приходится убивать. Воровать уже мало... Убивать, да еще бабушек!.. Слыханное ли это дело? Это конец света. Одна злость осталась в теле, и больше ничего... И теперь вам из этой чертовщины не вылезть! И ослеп-то он. И у вас на шее навсегда!.. А? И это еще не конец. Что еще будет!

Невестка не разжимала рта, но, должно быть, в уме выработала план, как выпутаться из этого дела. Эта падаля хорошо соображала. Пока мы были погружены в наши мысли, старуха искала по комнатам своего сына.

— Кстати, доктор, у меня ведь сын есть. Где он? Что он еще

замышляет? — Ее шатало по коридору от неудержимого смеха.

— Моя смерть, — орала теперь старуха. — Посмотрела бы я на мою собственную смерть! Слышишь! У меня есть глаза, чтобы видеть ее! У меня еще есть глаза! Я хочу хорошенько на нее посмотреть!

Она не хотела умирать, никогда. Это было ясно. Она не верила больше в свою смерть.

Известно, что такие вещи всегда трудно устроить и что устраивать их стоит очень дорого. Для начала неизвестно даже было, куда его девать, Робинзона... В больницу? Это, конечно, могло вызвать сплетни, пересуды... Послать его домой? Об этом и думать было нечего из-за состояния его лица. С охотой или без, но Анруйям пришлось оставить его у себя.

Он лежал в их постели, в спальне наверху. Ужас охватывал его при мысли, что его могут отсюда выгнать и возбудить против него дело. Это было понятно. Такую историю действительно нельзя было никому рассказать. Ставни его комнаты были плотно закрыты, но соседи и другие люди проходили мимо чаще, чем обычно, только чтобы взглянуть на ставни и спросить, как поживает раненный. Им рассказывали, как он поживает, рассказывали, что придет в голову. Но как заставить их не удивляться, не сплетничать? Как избежать догадок и предположений? К счастью, никто не подал в суд. И на том спасибо!

С его лицом я кое-как справлялся. Удалось предупредить инфекцию, несмотря на то, что раны были донельзя грязны. Что касается глаз, то я предполагал существование рубцов на самой роговой оболочке, через которые свет будет проникать с трудом в том случае, если он вообще будет проникать.

Так или иначе, надо будет приспособить ему кое-какое зрение, если только осталось что приспособлять. В настоящий момент нам приходилось срочно отражать удары, и главным образом — не допустить, чтобы старуха скомпрометировала нас всех в глазах соседей и зевак своей паршивой визготней. Хоть ее и считали сумасшедшей, нельзя было этим объяснять решительно все.

Если полиция вмешается в наши дела, то неизвестно, к чему это нас приведет.

Я навешал Робинзона по крайней мере два раза в день. Как только он слышал мои шаги на лестнице, из-под его перевязок начинали доноситься стоны. Он несомненно страдал, но хотел мне доказать, что он страдает еще сильнее. Я предвидел, что ему будет над чем погоревать, особенно когда он поймет, что случилось с его глазами. Я всегда увиливал от ответа на вопрос о



будущем. Он чувствовал сильное подергиванье в веках и воображал, что ничего не видит из-за этого.

Анруйи добросовестно ухаживали за ним по моим указаниям. С этой стороны все было в порядке.

О покушении больше не говорили. О будущем тоже перестали говорить. Но надо сказать, что каждый раз, прощаясь вечером, мы все так упорно смотрели друг на друга, так пристально, что мне всегда казалось, что мы немедленно должны уничтожить друг друга раз и навсегда. С трудом мог я себе представить, как проходит ночь в этом доме. Тем не менее утром все снова встречались и вместе продолжали наши дела с того места, на котором остановились накануне вечером. Вместе с мадам Анруй мы меняли перевязку и приоткрывали для пробы ставни. Каждый раз безрезультатно: Робинзон даже и не замечал, что ставни приоткрыты...

Так вертится вселенная посреди огромной угрозы и молчания ночи.

А сын каждое утро приветствовал меня словами крестьянина:

— Ну вот, доктор. Вот и последние морозы подошли, — говорил он, смотря на небо. Как будто это имело какое-нибудь значение, какая на дворе стоит погода.

Жена его шла уговаривать свекровь через запертую дверь, но это только усиливало ярость старухи.

Пока он так лежал, перевязанный, Робинзон рассказал мне свои жизненные дебюты. Он начал с коммерции. Родители с одиннадцати лет отдали его в элегантный магазин обуви, где он был на побегушках. В один прекрасный день его послали к заказчице, которая пригласила его разделить с ней удовольствие, о котором он до сих пор только слышал. Он не вернулся к хозяину: до того его собственное поведение показалось ему ужасным. Действительно, в те времена, о которых идет речь, поцеловать заказчицу казалось поступком непростительным. Главным образом на него произвела впечатление муслиновая рубашка заказчицы. Через тридцать лет он еще в точности помнил эту рубашку. С этой шуршащей шелками дамой, в квартире, набитой подушками и портьерами с бахромой, с этим розовым надушенным телом маленький Робинзон начал и продолжал всю жизнь делать приводящие в отчаяние сравнения.

А ведь потом случилось многое. Видал он и материки, и войны, но никак не мог прийти в себя от этого откровения. Ему было забавно вспоминать об этом, рассказывать мне об этой минуте молодости, которую он провел с заказчицей.

— Когда у тебя закрыты глаза, это наводит на размышления, — замечал он. — Так все и мелькает. Будто у тебя кинематограф в башке...

Я еще не смел сказать ему, что он успеет устать от своего кино. Так все мысли ведут к смерти, придет момент, когда только она с ним и останется в этом кино.

В течение нескольких недель я еще мог обманывать его всякими сказками по поводу его глаз и будущего. То я утверждал, что окно закрыто, когда оно было настежь, то говорил, что на улице темно. Но раз как-то, когда я стоял к нему спиной, он сам подошел к окну, чтобы отдать себе отчет, и прежде чем я успел его остановить, сорвал повязку с глаз. Он понял не сразу, он сомневался. Он трогал справа и слева оконную раму, он не хотел верить сначала, но потом все-таки пришлось. Пришлось.

— Бардамю! — заорал он тогда. — Бардамю! Оно открыто! Я тебе говорю: окно открыто!

Я не знал, что ему ответить, стоял как дурак. Он протянул руки в окно, на свежий воздух. И он ничего не видел, но он чувствовал свежий воздух. И он протягивал руки в свою мглу, как будто стараясь дотянуться до дна. Он не хотел верить. Вся тьма принадлежала ему. Я подтолкнул его к кровати и начал снова кормить его утешениями, но он меня больше не слушал. Он плакал. Он тоже подошел к концу-краю. Нечего было больше говорить. Когдаходишь к самому краю того, что с вами может случиться, наступает момент полного одиночества. Это край света. Даже само горе, ваше горе, ничего больше вам не отвечает, и приходится вернуться вспять к людям, все равно — к каким. В такие минуты перестаешь быть разборчивым, потому что даже для того, чтобы плакать, нужно вернуться туда, где все начинается сызнова, нужно вернуться к ним.

— И что же вы собираетесь с ним делать, когда он поправится? — спросил я у мадам Анруй во время завтрака, вслед за этой сценой.

Они как раз пригласили меня позавтракать с ними у них в кухне. В сущности, ни он, ни она не знали, как выйти из этого положения. Платить за его содержание пугало их, особенно ее, потому что она была лучше его осведомлена о том, сколько стоят все эти убежища для калек. Она даже уже начала хлопотать насчет Общественного призрения. Хлопоты, о которых со мной не говорили.

Как-то вечером, после моего второго визита, Робинзон все не отпускал меня, всячески хитрил, чтобы только задержать меня немножко. Конца не было его рассказам обо всем, что он только мог вспомнить из наших путешествий вдвоем, о всяких вещах, о которых мы еще никогда не пробовали вспоминать. В его уединении свет, который он объездил, стекался к нему со всех сторон с жалобами, с улыбками, со старым платьем, с потерянными друзьями — настоящая ярмарка устаревших

переживаний, которая открывалась в его безглазой голове.

— Я покончу с собой! — предупреждал он меня, когда горе его казалось ему слишком велико.

И все-таки он нес его дальше, это горе, как слишком тяжелую, ненужную ношу, по этой дороге, где ему не с кем было поговорить о своем горе: так оно было огромно и многообразно. Он не сумел бы этого объяснить — его горе превосходило его образование.

Робинзон не хотел умирать: случай, который ему представился, не нравился ему. Возразить против этого нечего.

Он посвящал меня в свои сомнения относительно обещанных десяти тысяч франков.

— Пожалуй, не стоит на это рассчитывать, — говорил я ему.

Я предпочитал подготовить его к следующему разочарованию.

Дробинки, оставшиеся от заряда, появлялись на поверхности ранок. Я извлекал их по нескольку в день. Ему было очень больно. Несмотря на все предосторожности, кругом все-таки начали болтать то да се. К счастью, Робинзон этого не подозревал: он бы еще хуже захворал. Что говорить, со всех сторон нас окружали подозрения. Анруй-младшая все бесшумней передвигалась по дому в своих шлепанцах. Совершенно неожиданно она оказывалась рядом.

Мы находились среди подводных камней; мельчайшего подозрения было теперь достаточно, чтобы все мы пошли ко дну. Все тогда затрещит, лопнет, развалится, рассыплется по берегу у всех на глазах. Робинзон, старуха, заряд, кролик, глаза, невероятный сын, невестка-убийца — все мы окажемся на глазах у всех, у них, дрожащих от любопытства, без прикрытия, среди нашей собственной грязи и паршивой действительности. Гордиться мне было нечем. Не то чтобы я совершил какое-нибудь преступление по-настоящему. Нет. Но все-таки я себя чувствовал преступником. Главное мое преступление заключалось в том, что мне хотелось, чтобы это продолжалось. И у меня даже было желание продолжать вместе эту прогулку все дальше и дальше в ночь.

Кроме того, нечего было и желать: она и так продолжалась, да еще как!

Богатым не приходится самим убивать, чтобы жрать. Они, как говорится, работодатели. Сами они не делают ничего плохого. Они платят. Все на все согласны, чтобы угодить им, и все очень довольны. В то время, как их жены хороши собой, жены бедняков уродливы. Это результат столетий, и даже не зависит от того, как они одеты. Красотки, хорошо упитанные, хорошо вымытые. Сколько времени она уже тянется, жизнь, и это все, чего она достигла.

— Правда, ведь женщины в Америке лучше здешних?

С тех пор, как он копался в своих воспоминаниях, Робинзон часто задавал мне вопросы в таком роде. У него появились интересы, он даже стал говорить о женщинах.

Я теперь бывал у него реже, потому что как раз в это время меня назначили врачом небольшого бесплатного диспансера. Будем называть вещи своими именами: мне это приносило восемьсот франков в месяц. Больные были по большей части люди «зоны», этой деревни, которая никак не может отделаться от непролазной грязи, зажата между отбросами и помоями и окаймленная тропинками, где сопливые и не по летам развитые девчонки убегают из школы, чтобы заработать под забором двадцать су, жареную картошку и триппер.

За несколько месяцев работы мне по по моей линии не пришлось совершить никакого чуда. Но мои больные вовсе не хотели чуда; наоборот, они рассчитывали на свой туберкулез, чтобы перейти от абсолютной нужды, которая их душила с рождения, к нужде относительной, которая дается крошечной правительственной помощью. Надежда на выздоровление для них гораздо менее существенна; они думают о том, чтобы выздороветь, но очень редко. Пожить как рантье хотя бы немного, при каких угодно условиях кажется им ослепительным счастьем. Даже смерть по сравнению с этим становилась чем-то второстепенным, риском, неизбежным при всяком виде спорта. Смерть — ведь это дело нескольких часов, даже минут, в то время как пенсия — это как нужда: она — на всю жизнь. Богатые опьянены другими вожделениями, они не могут понять этой неистовой потребности в обеспеченности.

Мало-помалу я отучился от дурной привычки обещать моим больным, что они выздоровеют. Эта перспектива не могла их особенно радовать. Быть здоровым приходится за неимением лучшего. Быть здоровым — значит, нужно работать; ну и что же из того? А государственная пенсия, самая крошечная, вот это — просто божественно!

Когда вы бедному не можете дать денег, то лучше всего молчать. Когда с ним говоришь о другом, не о деньгах, то почти всегда обманываешь, врешь. Богатых легко развлечь хотя бы, например, зеркалами: пускай любуются на самих себя, ведь на свете нет ничего приятнее с виду, чем богачи. Для поддержания бодрости их духа богатым каждые десять лет выдается по ордену Почетного легиона, и это их развлекает на следующие десять лет. И все. Мои клиенты были эгоистами, бедняками, материалистами, измельчавшими в своих пошлых мечтах о пенсии, в своих

кровавых материальных плевках. Все остальное их не трогало, даже времена года.

Когда я задавал им вопросы, они улыбались мне лакейской улыбкой, но они не любили меня, во-первых, за то, что я приносил им облегчение, и еще оттого, что я не был богат и то, что они лечились у меня, означало даровое лечение, а это вовсе не льстит больным, даже когда они лечатся на пенсию. Не было такой гадости, которую бы они про меня ни говорили за спиной. Стоило их только немножко разгорячить — а мои коллеги себе в этом не отказывали, — как мои больные словно мстили мне за всю мою услужливость, преданность, ласку. Все это в порядке вещей.

Но время все-таки шло. Как-то вечером, когда моя приемная почти опустела, появился священник, которому надо было со мной поговорить. Я его не знал, этого священника, и чуть было не выгнал. Я не любил попов, у меня на то были свои основания. Я старался вспомнить, где я мог его видеть, чтобы иметь определенную причину выгнать его. Но я действительно никогда его не встречал. Между тем он, должно быть, так же как и я, часто ходил по Ранси ночью, раз он был из этих краев. Может быть, он избегал меня? Во всяком случае, его, должно быть, предупреждали, что я не люблю попов. Это чувствовалось по вкрадчивости, с которой он завел разговор. Нам никогда не пришлось толкаться вокруг одних и тех же больных. Его церковь рядом, вот уже двадцать лет, как он в этом приходе — рассказал он мне. В общем, нищенского типа поп. Это нас сблизило. Ряса его мне показалась очень неудобной драпировкой для того, чтобы расхаживать в нашей зоне. Я заметил это вслух. Я даже настаивал на экстравагантности такого костюма.

— Привыкаешь! — ответил он мне.

Нахальство моего замечания не изменило его любезности. Было ясно, что он пришел о чем-то просить меня.

Во время разговора поп назвал себя. Его звали Протистом. Умалчивая кое-что, он наконец сообщил мне, что уже некоторое время, как хлопочет вместе с мадам Анруй о принятии старухи и Робинзона, обоих вместе, в духовную общину, недорогую. Они искали что-нибудь подходящее.

Если приглядеться, то с натяжкой аббата Протиста можно было бы принять за нечто вроде приказчика, подмокшего, зеленоватого и высохшего.

Мадам Анруй, рассказывал он мне для начала, пришла к нему на дом через некоторое время после покушения, для того чтобы он помог им выпутаться из дела, в которое они влипли. Рассказывая, он как будто извинялся, старался что-то объяснить, точно ему было стыдно своего

сообщничества; по отношению ко мне это, право, было совсем лишнее. Мы эти дела знаем. Он пришел к нам, в нашу ночь. Вот и все. Кстати сказать, тем хуже для него, для попа. Какая-то скверная наглость охватила вдруг и его, как только он почуял, что дело пахнет деньгами. Тем хуже! Вся моя лечебница молчала, ночь смыкалась над зоной, и он говорил совсем шепотом, чтобы все его признания доходили только до меня. Но сколько бы он ни шептал, все, что он рассказывал, казалось мне огромным, невыносимым, должно быть, из-за тишины вокруг нас, насыщенной эхом.

Может быть, эхо было только во мне? «Ш-ш-ш!» — хотелось мне все время остановить его. От страха у меня даже немного дрожали губы, и к концу фраз мысль останавливалась.

С чего начать? Во-первых, тихонько организовать поездку на Юг. Как Робинзон к этому отнесется? К поездке со старухой, которую он чуть было не убил... Я буду настаивать... Вот и все. Было необходимо, чтобы он согласился по разным причинам, неуважительным, но основательным.

Для них, для Робинзона и для старухи, нашли странное занятие на Юге. В Тулузе. Красивый город Тулуза. Мы увидим этот город. Мы поедем их навестить. Было дано обещание, что я поеду в Тулузу, как только они там устроятся и дома, И на работе.

Подумав, я все-таки жалел, что Робинзон так скоро туда уедет, и в то же время меня это радовало, особенно потому, что на этот раз я действительно должен был заработать изрядную сумму. Мне дадут тысячу франков. Это было решено. Все, что я должен был сделать, — это уговорить Робинзона уехать на Юг, уверив его, что нет климата, более подходящего для глазных ранений, что ему там будет очень хорошо и, в общем, ему положительно везет, раз он так легко отделался. Это должно его убедить.

После пятиминутного размышления я сам себя в этом вполне уверил и был вполне подготовлен к решительному свиданию. Куй железо, пока горячо! Я придерживаюсь этого мнения. В конце концов ему там будет не хуже, чем здесь. Мысль этого Протиста, если вдуматься в нее, оказывалась очень разумной. Эти попы все-таки умеют замять самые ужасные скандалы.

Робинзону и старухе предлагали заняться одним вовсе не плохим, коммерческим предприятием. Если я только правильно понял — нечто вроде подземелья с мумиями. Подземелье под церковью показывали за деньги туристам. Отличное дело, уверял Протист. Я почти что сам уверовал в него и даже начал завидовать. Нечасто случается, что можно заставить работать на себя мертвецов.

Я запер диспансер, и мы отправились к Анруйям. Нас вела надежда на тысячу франков! Я переменял свое мнение относительно попа. В домике мы застали супругов Анруй возле Робинзона в спальне на втором этаже. Но какого Робинзона, в каком состоянии!

— Это ты? — говорит он, изнемогая от волнения, как только услышал, что я поднимаюсь по лестнице. — Я чувствую: что-то случится... Правда? — спрашивает он, задыхаясь.

И начал всхлипывать, прежде чем мне удалось слово сказать. Анруйи делают мне знаки, пока он взывает ко мне. «Дела! — думаю я себе. — А все потому, что спешат... Вечная спешка. Так сразу и навалились на него?.. Не подготовив?.. Не подождав меня?..»

К счастью, мне удалось поправить ошибку, рассказав все заново своими словами. Робинзон только того и ждал, чтобы ему то же самое представили в другом свете. Этого было достаточно. Поп стоял в коридоре, не смея войти в комнату. Его так и качало с перепугу.

— Входите! — пригласила его наконец мадам Анруй. — Да входите же! Врач и священник... Во все тяжелые минуты жизни они встречаются.

Совсем растерявшийся поп начал что-то лопотать, оставаясь на почтительном расстоянии от больного. Его волнение передалось Робинзону, который опять впал в транс.

— Они меня обманывают! Все обманывают! — орал он.

Пустая болтовня по поводу несуществующих вещей. Треволнения. Вечно то же самое! Меня это образумило и вернуло мне нахальство. Я увел мадам Анруй в угол и напрямик предложил ей сделку. Она поняла и всунула мне в руку тысячефранковую бумажку и потом еще одну, для верности. Так, с нахрапу, удалось мне это дело. Тогда я стал уговаривать Робинзона. Необходимо было, чтобы он смирился и согласился ехать на Юг.

Предать! Это легко сказать. Нужно еще суметь воспользоваться случаем. Предать — это все равно что открыть окно в тюрьме. Всем хочется этого, но это не всегда возможно.

После отъезда Робинзона из Ранси я действительно думал, что жизнь налаживается, что, например, у меня будет больше больных, чем раньше. Но ничего подобного. Во-первых, началась безработица, кризис в окрестностях, а это хуже всего. Потом установилась сухая, теплая погода, несмотря на то, что была зима, а медицине нужны сырость и холод. Эпидемий тоже не было, словом — неудачный сезон.

Я даже видел нескольких коллег, которые делали визиты пешком (а это

что-нибудь да значит) с таким видом, как будто им приятно прогуляться; на самом же деле им это очень обидно и они ходят пешком из экономии. У меня же для прогулок было только непромокаемое пальто. Может быть, оттого я и схватил такой упорный насморк. Или, может быть, я приучился уж очень мало есть? Все возможно. Может быть, вернулась лихорадка? Как бы то ни было, но перед наступлением весны я как-то раз продрог, начал кашлять и жестоко заболел. Катастрофа! В одно прекрасное утро я не мог встать. Тетка Бебера как раз проходила мимо моего подъезда. Я попросил позвать ее. Она поднялась, ко мне. Я сейчас же послал ее за деньгами, которые мне следовало получить по соседству. Единственные, последние деньги. Я получил только половину, и мне хватило их на десять дней, которые я провалялся.

За десять дней можно успеть многое передумать. Как только мне станет немножко лучше, я оставлю Ранси, решил я. Кстати, я уже давно пропустил срок квартирной платы. Значит, с жалкой моей мебелью придется проститься. Ничего никому не сказав, я потихоньку уеду, и меня никогда больше не увидят в Гаренн-Ранси. Уеду, не оставив ни следа, ни адреса. Когда вонючее животное — нужда — преследует вас, зачем тогда спорить? Ничего не говорить и смыться — самый мудрый поступок.

С моим дипломом я мог начать практиковать где угодно, это правда. Но везде было бы то же самое, ни хуже, ни приятней. Вначале будет немножко лучше, конечно, потому что нужен какой-то срок, прежде чем люди познакомятся с вами, чтобы потом уже с разбегу начать вам гадить. В общем, самый приятный момент — это в новом месте, пока тебя еще не знают. Потом начинается обычное хамство. Это в их природе. Все дело в том, чтобы не ждать слишком долго, чтобы они не успели проведать, где ваше слабое место, эти друзья-приятели. Нужно давить клопов, пока они еще не уползли в щели. Правда ведь?

Как бы то ни было, но я потихонечку смылся из моей квартирки в Ранси...

О Больших бульварах вспоминаешь в трудную минуту: кажется, будто бы там не так холодно. Я плохо соображал, у меня был сильный жар, и только силой воли я заставлял себя не терять голову.

Совсем в тумане я причалил в каком-то маленьком-маленьком кафе. Смотрю — за соседним столиком сидит Парапин, мой бывший профессор, пьет пиво, и перхоть его при нем, и все. Мы поздоровались. Оба довольны. Он мне рассказывает, что в его жизни произошли большие перемены. За десять минут он успевает все выложить. Веселого мало. Профессор Жониссе при институте так на него озлился, так его преследовал, что



Парапину пришлось уйти, подать в отставку, покинуть лабораторию; потом матери гимназисток тоже пришли к дверям института, чтобы исколошматить его. Неприятности. Расследование. Перепуг.

В самый последний момент он успел зацепиться за какое-то местечко по сомнительному объявлению в медицинском журнале. Ничего блестящего, правда, но работа неустойчивая и вполне подходящая. Он занимался хитроумным применением новейших теорий профессора Баритона: развитие маленьких кретинов при помощи кино. Это было большим шагом вперед в подсознательной жизни. В городе только об этом и говорили. Это было в моде.

Парапин сопровождал этих специальных клиентов во вполне современное кино «Тарапут». Он заходил за ними во вполне современную лечебницу Баритона, которая находилась за городом, и сопровождал их туда же после спектакля, счастливых, благополучных и еще более современных. Вот и все. Усадив их перед экраном, он ими больше не занимался. Что ни покажи этой публике — все хорошо. Все довольны, в восторге от фильма, который им показывают в десятый раз. У них совершенно отсутствовала память. Каждый раз фильм был для них сюрпризом.

Семьи их были в восторге. Парапин тоже. Я тоже. Мы решили, что уйдем только в два часа ночи, после последнего сеанса в «Тарапуте», забрав там его кретинов и отправив их спешным порядком в автомобиле домой к доктору Баритону в Виньи-на-Сене. Прекрасная комбинация.

Мы были так рады видеть друг друга, что начали говорить просто так, для разговора, ради удовольствия фантазировать, сначала о путешествиях и наконец о Наполеоне, который нам подвернулся в разговоре. Все становится приятным, когда единственная цель — это быть вместе, оттого что тогда как будто наконец становишься свободным. Забываешь о жизни, то есть о деньгах.

Пока мы приятно разговаривали, в сущности, исповедовались друг другу, в «Тарапуте» начался антракт, и музыканты из кино целой кучей ввалились в трактирчик. Выпили по рюмочке все хором. Парапина они все отлично знали.

Слово за слово, узнаю от них, что как раз ищут статиста, чтобы изображать пашу в интермедии. Немая роль. Тот, что играл пашу, исчез, не говоря дурного слова. Прекрасная, хорошо оплачиваемая роль в прологе. Никаких усилий. И потом не следовало забывать легкомысленного окружения из целой стаи великолепных англичанок танцовщиц, тысяча точных, волнующих мускулов. Вполне мой жанр, то, что мне нужно.

Я стараюсь быть приятным и жду предложения со стороны режиссера.

Так как было поздно и им некогда было ехать за другим статистом, режиссер был очень доволен, что я подвернулся. А то бы ему пришлось порыскать. Мне тоже. Он едва взглянул на меня. Не хромаю — значит, ладно. Да если б даже и хроمال...

Я проникаю в теплые, как будто ватные подвалы кинематографа «Тарапут». Настоящие улы разрушенных уборных, где англичанки в ожидании выхода отдыхают, переругиваясь. Возбужденный перспективой заработка, я поспешил познакомиться с этими молодыми и непосредственными товарищами. Кстати, они приняли меня в свою группу чрезвычайно любезно. Ангелы небесные! Ангелы деликатные! Хорошо, когда никто тебя ни о чем не расспрашивает, не презирает тебя. Это — Англия.

Моя роль проста, но существенна. Набитый золотом и серебром, я сначала с трудом мог сидеть между шаткими стойками и лампами, но я приспособился и наконец уселся прочно в выгодном освещении. Мне оставалось только дремать, мечтая о чем угодно при свете опаловых прожекторов.

Вспоминая времена «Тарапуты», я теперь вижу ясно, что это было, в сущности, только запретной и незаконной передышкой. Должен сказать, что в эти четыре месяца я всегда бывал хорошо одет: раз князем, два раза центурионом, раз авиатором, и платили мне хорошо и регулярно. Наелся я в «Тарапуте» на много лет вперед. Жизнь рантье без ренты. Предательство!

Гибель! В один из вечеров наш номер сняли по неизвестной мне причине.

К счастью моему, в одно прекрасное утро явился аббат Протист, чтобы поделиться процентами, которые приходились на нашу долю с подземелья старухи Анруй. Я уже больше и не рассчитывал на попа. Он просто как с неба свалился... Нам причиталось по тысяче пятьсот франков. И известия о Робинзоне были утешительны: глаза его поправились как будто, веки перестали гноиться. И все они там требовали моего приезда. Кстати, я им обещал приехать. Даже Протист настаивал на моем приезде. Если верить его рассказам, Робинзон в скором времени собирался жениться на дочери продавщицы свечей в церкви рядом с подземельем, к которой принадлежали мумии старухи Анруй.

Ехать в Тулузу было, конечно, глупо. И я, конечно, сообразил это после, когда успел одуматься. Так что у меня нет смягчающих вину обстоятельств. Но, идя все дальше вслед за Робинзоном, за его приключениями, я пристрастился к темным делам. Уже в Нью-Йорке, когда я не мог спать, меня начал мучить вопрос, смогу ли я идти за Робинзоном

дальше, еще дальше. Начинаешь погружаться в ночь, сперва ужасаешься этой ночи, но потом все-таки хочешь понять все и остаешься на дне. Но очень многое хочется понять сразу. Жизнь слишком коротка.

Болезнь, нужда, которая замазывает серым цветом целые дни недели, и уже, может быть, рак подымается из прямой кишки, добросовестный и кровооточащий.

Не успеть! Не считая войны, которая среди преступной скуки людей всегда готова подняться из подвалов, где заперты неимущие. Убивают ли их в достаточном количестве, неимущих? Я в этом не уверен. Это еще вопрос! Может быть, надо было бы удушить всех тех, которые не понимают? Чтоб родились другие, новые нищие, и так далее, до тех пор, пока не появятся те, которые хорошо поймут эту шутку, всю эту милую шутку... Как стригут газон до тех пор, пока не вырастет требуемая трава, хорошая, нежная.

Приехав в Тулузу, я в нерешительности остановился на вокзале. Выпил пива в буфете и пошел бродить по улицам. Незнакомые города всегда приятны. Это место и время, когда можно предполагать, что все встречные — милые люди. Это время, когда еще снится сон. Можно воспользоваться тем, что это сон, и бесцельно побродить по городскому саду. Но в известном возрасте нужно быть осторожным: если для таких прогулок нет серьезных семейных причин, то могут подумать, что вы, как Паррапин, бегаєте за малолетними. Лучше уж, минуя сад, зайти в кондитерскую у самой решетки сада, в прекрасную кондитерскую, разукрашенную, как публичный дом, с наклеиванными на граненых зеркалах птичками. Оказывается, что в этом убежище для серафимов сидишь и уписываешь пирожные. Магазиновые барышни тихонько болтают о своих сердечных делах в таком роде:

— Тогда я сказала ему, что он может зайти за мной в воскресенье. Тетка услышала и устроила целый скандал из-за отца!..

— Я думала, что у твоего отца вторая жена, — прервала ее приятельница.

— Так что же, что вторая жена?.. Он все-таки имеет право знать, с кем водится его дочь...

Другая барышня была того же мнения. И страстный спор завязался между всеми продавщицами.

Я тихонько, чтобы не мешать им, уплетал в углу трубочки с кремом и тарталетки, надеясь, что они так скорее разрешат вопросы семейных приличий, но они никак не могли вылезти из них. Ничего не получалось. Их мозговое бессилие ограничивалось ненавистью, не принимающей никакой определенной формы. Они чуть не лопались от нелогичности,

важности и невежества, эти барышни-продавщицы; с пеной у рта они шепотом покрывали друг друга бранью.

Слушаешь, ждешь, надеешься, что здесь, что там, в поезде, в кафе, в салоне, на улице, у консьержки, слушаешь, ждешь, чтобы злоба выступила организованно, как на войне, но она волнуется впустую, и никогда ничего не случается ни из-за этих несчастных барышень, ни из-за кого-нибудь другого. Никто нам не помогает. Над жизнью расстилается огромная серая, монотонная болтовня, как отнимающий всякое мужество мираж. Зашли две дамы, и все очарование бесцельного разговора барышень было разрушено. Весь персонал бросился к клиенткам, стараясь предупредить их малейшие желания.

Одна из них отказалась от сладостей после целой серии церемоний, подробно объяснив другим дамам, очень заинтересованным, что врач запретил ей сласти и что врач у нее изумительный, что он сделал чудеса в том, что касается запора у жителей в этом городе и в других местах, и что, между прочим, он собирается вылечить ее от задержания кала (она страдает уже больше десяти лет) специальным режимом и чудесным лекарством, известным ему одному. Остальные дамы не собирались позволить себя превзойти по части запора. Они страдают больше всех от запора. Они выражают протест. Они требуют доказательств.

Городской парк показался мне подходящим местом для того, чтобы сосредоточиться в течение нескольких минут, привести в порядок свои мысли, перед тем как отправиться на поиски Робинзона.

Но довольно мечтать! В путь-дорогу! За Робинзоном, за его церковью св. Эпонима и подземельем, где он сторожит мумии со своей старухой! Я приехал для того, чтобы увидеть все это, надо было исполнить задуманное...

Мой фиакр начал рысцой крутить по сумрачным улицам старого города, где свет застревал между крышами. Колеса наши грохотали по канавкам и мосточкам вслед за лошадью, которая казалась одними сплошными копытами. На Юге уже давно не жгли городов. Никогда еще там не было таких старых городов. Войны больше не заходят в эти края.

Мы прибыли к церкви св. Эпонима в полдень. Подземелье находилось немного дальше, у холма с крестом. Мне показали, где оно находится: на середине маленького сада. Вход в этот склеп представлял собой что-то вроде заделанной дыры. Издали я заметил сторожиху, молодую девушку. Я осведомился у нее о моем друге Робинзоне. Девушка как раз запирала дверь. Она мило улыбнулась в ответ и сейчас же рассказала мне новости, и

все хорошие.

Оттуда, где мы находились, южный день казался насквозь розовым, а мшистые камни, казалось, подымались и таяли в воздухе.

Подружке Робинзона было лет двадцать. У нее были крепкие, прямые ноги, вполне грациозный торс, маленькая, хорошо и точно обрисованная головка и немножко слишком черные и слишком внимательные на мой вкус глаза. Ничего мечтательного. Это она писала письма, которые я получал от Робинзона. Она пошла вперед своей четкой походкой в сторону подземелья, нога и щиколотка хорошего рисунка, связки, которые, должно быть, ясно напрягались в подходящие минуты. Небольшие жесткие руки, которые умеют держать, руки честолубивой работницы, сухое, короткое движение, чтобы повернуть ключ. Вокруг нас плясала жара, вздрагивая над дорогой. Мы говорили о том о сем, и потом, раз уж дверь была открыта, она все-таки решила показать мне подземелье, несмотря на то, что пора было завтракать. Ко мне понемножку возвращалась моя беспечность. По мере того, как мы спускались вслед за ее фонарем, становилось все свежее. Это было приятно. Я сделал вид, будто бы споткнулся о ступеньку, для того чтобы схватить ее за руку. Пошли шутки, и когда мы дошли до утрамбованной земли внизу, я поцеловал ее около шеи. Она протестовала, но не очень.

После минутки нежности я обвился вокруг ее живота, как настоящий любовный червяк. Для общения душ мы так и этак слюнявили друг другу губы. Одна моя рука медленно двигалась вдоль изгиба бедер, а так как фонарь стоял на земле, то я в то же время видел, как вдоль ног бежали выпуклые блики, и это было приятно. Могу рекомендовать такое положение. Ах, не надо терять такие минуты! Они вознаграждают за многое. Какой стимул! Какое вдруг появляется прекрасное настроение! Разговор возобновился в другом тоне, доверчивей и проще. Мы только что сэкономили десять лет.

— У вас часто бывают посетители? — спросил я, отдуваясь не к месту. Но сейчас же продолжал: — Ведь это ваша мать продает свечи в церкви рядом? Отец Протист говорил мне о ней.

— Я замещаю мадам Анруй только во время завтрака... — ответила она. — Днем я работаю у модистки... на улице Театра... Вы проезжали мимо театра по дороге сюда?

Она еще раз успокоила меня насчет Робинзона: ему было гораздо лучше, специалист по глазным болезням думает даже, что скоро ему будет настолько хорошо, что он сможет ходить один по улицам... Он даже уже пробовал. Все это предвещало только хорошее. Со своей стороны старуха Анруй была вполне довольна подземельем. Дела ее шли хорошо, и она

копила деньги. Слово за слово, мы заговорили о их свадьбе.

За всем этим я даже еще не спросил, как ее зовут. Ее звали Маделон.

Она родилась во время войны. Их брак, в сущности, меня устраивал. Маделон — это имя, которое легко запомнить. Она, конечно, знала, что делала, выходя замуж за Робинзона. В общем, даже если он поправится, он все-таки будет калекой... Да еще она-то думала, что у него затронуты только глаза. Но у него были больные нервы, дух и все остальное. Я чуть было не рассказал ей всего того, не предостерег... Я никогда не умел говорить о браках, я не умею ориентироваться в этих разговорах и не знаю, как из них вылезти.

Чтобы переменить тему, я вдруг очень заинтересовался подземельем, и раз уж мы пришли так издалека, чтобы осмотреть его, то момент мне показался подходящим.

Фонарик Маделон вытаскивал из темноты, из стены один за другим трупы. Было над чем задуматься туристам. Вплотную к стене, как для расстрела, стояли эти мертвецы. Не совсем из кожи и костей, не совсем в одежде. От всего от этого понемножку. В очень грязном виде, дыры повсюду... Время, которое уже много веков назад взялось за их кожу, все не отпускало их. Время терзало еще то тут, то там их лица...

Маделон объяснила мне, что их привело в такое состояние известковое кладбище, в котором они прождали пятьсот лет. Нельзя было назвать их трупами. Время, когда они были трупами, прошло для них. Они тихонько подошли к той грани, после которой превращаются в пыль.

Старуха Анруй заставляла этих мертвецов работать на себя, как в цирке. В хороший сезон они приносили ей по сто франков в день.

Наконец мы опять заговорили о наших делах с Маделон. Казалось, ей очень хочется замуж. Она, должно быть, здорово скучала в Тулузе. Там редко представлялся случай встретить парня, который бы так много путешествовал, как Робинзон. Ему было что рассказать! И правду, и не совсем правду. Кстати, он им уже многое рассказал про Америку и тропики. Отлично!

Я тоже был в Америке и в тропиках. Я тоже мог кое-что рассказать. Я намеревался это сделать. Именно путешествуя вместе, мы и подружились с Робинзоном. Фонарь потух. Мы зажигали его раз десять, пока увязывали прошлое с будущим. Она защищала свою грудь, она у нее так чувствительна.

Но все-таки, так как старуха Анруй, позавтракав, могла вернуться с минуты на минуту, нам пришлось выйти на свет божий по крутой, непрочной и неудобной лестнице. Я обратил на нее внимание.

Именно из-за этой лестницы, и такой легкой, и такой предательской, Робинзон редко спускался в подземелье с мумиями. По правде сказать, он чаще всего стоял перед дверью, чтобы зазывать туристов и привыкать к свету, который временами проникал в его глаза.

В это время старуха Анруй распоряжалась внизу. В сущности, она работала при мумиях за двоих. Она уснащала осмотр следующей речью об этих пергаментных мертвецах:

— Они вовсе не отвратительны, месье, медам. Ведь они в течение пятисот лет сохранялись в извести. Наша компания — единственная в мире... Посмотрите, у этого сохранился глаз... совсем сухой... и язык... который стал будто кожаный, а посмотрите на этого большого, в кружевной рубашке...

Робинзон постоянно протестовал, считая, что его обделили.

— Но ведь ты не вносил денег в это дело! — возражал я, чтобы успокоить его и объяснить. — И тебя хорошо кормят. И о тебе заботятся...

Но Робинзон был упрям, как шмель, у него была настоящая мания преследования. Он не хотел ни понять, ни смириться. Я начал избегать этих минут откровенности. Смотрел я на него с его моргающими, еще немного гноющимися на солнце глазами и думал про себя, что в конце концов он вовсе не симпатичен, Робинзон. Есть такие животные: хотя они ни в чем не виноваты, и несчастны, и все прочее, и это отлично знаешь, все-таки сердишься на них. Чего-то им не хватает.

— Могло так случиться, что ты сидел бы в тюрьме... — начинал я сызнова, чтобы заставить его подумать и понять.

— В тюрьме я уже сидел. Там не хуже, чем здесь...

Он мне никогда не говорил о том, что он сидел. Это, должно быть, было до нашей встречи, до войны.

Днем, в то время как Маделон была в мастерской, а старуха Анруй показывала клиентам свое дрянцо, мы уходили в кафе под деревьями.

Вот этот уголок, это кафе под деревьями Робинзону нравилось. Должно быть, за щебет птиц там, наверху. Собственно, голоса из-за них не было слышно! Но Робинзон находил, что это приятно.

— Если б только она давала мне регулярно по четыре су с посетителя, я был бы доволен.

Каждые четверть часа он снова начинал об этом говорить...

Мы просидели до вечера в кафе, проваландавшись целый день, как унтера в отставке.

Во время сезона туристов было без счета. Они таскались в подземелье,

и старуха Анруй их смешила.

Попу, правда, не очень нравились эти шуточки, но так как он получал свою долю и даже больше, то он и пикнуть не смел; кроме того, он ничего не понимал в шутках. А между тем стоило послушать и посмотреть на старуху Анруй среди ее трупов. Она смотрела им прямо в лицо, она, которая не боялась смерти, сама такая сморщенная, покоробившаяся. Когда она болтала при свете своего фонаря прямо под их, так сказать, носом, казалось, что и она принадлежит к ним.

Когда мы все возвращались домой и собирались за обеденным столом, мы еще немножко спорили о сборе, и старуха Анруй называла меня «мой миленький доктор Шакал» — из-за бывших между нами в Ранси историй. Но все это, конечно, в виде шутки.

Маделон возилась на кухне. Она клала в кушанье много пряностей, а также томатов. Знаменито готовила! Потом вино. Даже Робинзон привык к вину: на Юге без этого нельзя. Он мне уже все рассказал, что случилось за время его пребывания в Тулузе. Я его больше не слушал. Он меня разочаровал и был мне немножко противен, если говорить начистоту. «Буржуй ты, вот что, — заключал я (оттого что в те времена не существовало более обидного ругательства). — Ты думаешь исключительно о деньгах... Когда к тебе вернется зрение, ты будешь еще хуже других...»

С Маделон мы изредка встречались на минутку у нее в комнате перед обедом. Это было трудновато наладить.

Только не надо воображать, что она не любила своего Робинзона. Это не имело ничего общего. Но поскольку он играл в жениховство, то, естественно, она играла в невинность. Такое уж было между ними чувство. В этих делах главное — сговориться. Он не хотел ее трогать до свадьбы, говорил он мне. Таков был его замысел. Значит — вечность ему, а мне — то, что сейчас. Кроме того, он говорил со мной о проекте бросить старуху Анруй и открыть с Маделон ресторанчик. Все по-серьезному.

— Она хорошенькая и будет нравиться гостям, — предвидел он в хорошие минуты. — И потом ты ведь знаешь, как она умеет готовить, а? Насчет харчей она всех за пояс заткнет!

После обеда Маделон ухаживала за ним, за своим Леоном, как она его называла. Она читала ему вслух газету. Он теперь с ума сходил по политике, а газеты на Юге полны политикой, и самой острой.

Вокруг нас вечером дом утопал в ржавчине веков. Наступала минута после обеда, когда клопы начинали объясняться, а также минуты, когда я пробовал на них, на клопах, едкий раствор, который впоследствии



собирался продать какому-нибудь аптекарю с маленькой пользой.

Перед отъездом я хотел дать еще несколько уроков и советов Маделон. Лучше, конечно, давать деньги, когда хочешь и можешь делать добро. Но и советы могут сослужить службу: чтобы не идти вслепую, нужно знать очень точно, с чем имеешь дело, и в особенности — чем именно рискуешь, если путаешься направо и налево. Вот что я думал, тем более что в отношении болезней Маделон меня немножко пугала. Развязная, это правда, но абсолютно невежественная во всем, что касается микробов. Выслушав меня внимательно, дав мне договорить, она для виду запротестовала. Она даже устроила мне нечто вроде сцены... что она девушка честная... что мне должно быть стыдно... что у меня о ней ужасное мнение... что я ее презираю... что все мужчины возмутительны...

Словом, все, что дамы говорят в таких случаях.

— Ладно! Ладно!.. — ответил я и пустился в определение характера Робинзона, как будто бы я его характер знаю.

Но я сейчас же заметил, что я ничего о нем не знаю, кроме нескольких грубых очевидностей его темперамента.

Когда я собирался брать билет, они задержали меня еще на недельку. Просто чтобы показать мне окрестности Тулузы, свежесть берегов реки, о которых мне много рассказывали, и особенно виноградники в окрестностях, которыми гордился весь город, как будто бы они принадлежали всем.

Я согласился остаться, и в одно прекрасное воскресное утро мы все вместе отправились за город. Робинзона мы вели под руки с двух сторон. На вокзале мы взяли билеты второго класса. В купе сильно пахло колбасой, совсем как в третьем классе.

Реки плохо себя чувствуют на Юге. Они как будто страдают, постоянно высыхая. Холмы, солнце, рыбаки, рыбы, лодки, канавки, плоты, виноград, плакущие ивы — все это всем нужно, все это — для рекламы. Слишком много требуется воды, и в русле реки ее остается немного. Местами она больше похожа на плохо политую дорогу, чем на настоящую реку. Раз уж мы приехали, чтобы получить удовольствие, нужно было спешить найти его. Мы решили, что было бы невредно покататься на лодке перед завтраком. Гребу, конечно, я, лицом к Маделон и Робинзону, которые держатся за руку.

Робинзону, конечно, первому надоела лодка. Тогда я предложил причалить к ресторану.

Теперь я могу признаться, что мы в этом ресторане заплатили так, как

будто мы там не ели, а только попробовали... Лучше не говорить о том, что нам подали.

Для разнообразия я стал утверждать, что было бы полезно просто-напросто прогуляться вдоль берега пешком, по крайней мере до тех высоких трав, в километре от нас, там у завесы из тополей.

И вот мы опять идем под руку с Робинзоном, Маделон — на несколько шагов впереди. Так было удобнее продвигаться в траве. У поворота реки мы услышали гармонику. Музыка шла с баржи, с красивой баржи, стоящей здесь на якоре. Музыка остановила Робинзона. Это было понятно в его положении, и потом он всегда питал слабость к музыке. Мы были очень довольны, что для него нашлось развлечение, и расположились тут же, на газоне, менее пыльном, чем на покато́м берегу рядом. Сразу было видно, что это не обыкновенная баржа. Красивая и разукрашенная для того, чтобы жить в ней, вся в цветах и даже с нарядной конурой для собаки.

Закрой глаза, ведь жизнь лишь сон...

А любовь лишь ло-о-о-о-жь.

Закрой глаза-а-а-а-а-а...

Так пели люди на барже.

Вдруг из конуры выскочила болонка, бросилась на мосток и начала лаять в нашем направлении. Мы все начали орать на болонку. Робинзон был в испуге.

Какой-то тип, видно, хозяин, вышел на палубу через маленькую дверь баржи. Он не хотел, чтобы кричали на его собаку, и мы с ним объяснились. Но когда он понял, что Робинзон, можно сказать, слепой, человек вдруг успокоился и почувствовал себя в дураках. Он перестал на нас кричать и позволил обозвать себя хамом, чтобы утихомирить нас... Он пригласил нас к себе на баржу выпить кофе, так как сегодня его именины, прибавил он. Он не хотел, чтобы мы оставались здесь на солнцепеке, и так далее, и так далее... И что это как раз было удачно, потому что их оказалось тринадцать человек за столом... Хозяин был человек молодой. Фантаст. Он любил корабли, объяснил он нам (мы сейчас же это поняли). Но его жена боялась моря, и тогда они крепко бросили якорь здесь, можно сказать, на камнях.

На барже нам как будто были рады. Во-первых, его жена, красивая особа, которая играла на гармонике, как ангел. И потом это все-таки было любезно — пригласить нас выпить кофе. Мы могли бы оказаться бог знает кем. В общем, это было доверчиво с их стороны. Мы сейчас же поняли, что

надо постараться не осрамить наших милых хозяев...

У Робинзона были свои недостатки, но обычно это был парень чуткий. Нутром, по одним только голосам, он понял, что он должен себя хорошо держать и не ляпать грубости. Одеты мы были не шикарно, но чисто и прилично. Я разглядел хозяина баржи вблизи: лет тридцать, красивые каштановые, поэтические волосы и хорошенький костюмчик, вроде матросского, только нарядный. У его красивой жены были настоящие «бархатные» глаза.

Их завтрак только что кончился. Остатки были обильны. Нет, мы не отказались от пирожного. И от портвейна к нему.

Уже давно я не слышал таких аристократических голосов. У благородных людей манера говорить, которая смущает, а меня просто пугает; она особенно явственна у женщин; между тем то, что они говорят, — обыкновенные неуклюжие фразы с претензиями, но отполированные, как старинная мебель. Незначительные эти фразы отчего-то наводят страх. Страшно поскользнуться на них, когда просто только отвечаешь, и ничего больше. И даже когда они стараются взять вульгарный тон, чтобы для забавы петь песни бедных, у них остается этот аристократический акцент, который вызывает в вас подозрительность и отвращение, акцент с хлыстиком внутри, хлыстиком, всегда необходимым, чтобы говорить с прислугой. Это возбуждает, но в то же время подзадоривает залезть под юбку к их женам для того одного, чтобы полюбоваться, как тает то, что они называют чувством собственного достоинства.

Я шепотом описываю Робинзону обстановку вокруг нас: все старинная мебель. Это немножко напоминает лавку моей матери, только в более чистом виде и лучше устроено, конечно. У моей матери пахло лежалым перцем.

И потом повсюду, на всех перегородках — картины хозяина. Художник. Мне в этом призналась его жена.

Раз уж мы пришли, надо было подлаживаться под них. Холодные напитки и клубника со сливками, мое любимое сладкое. Маделон егозила, чтобы получить вторую порцию. Хорошие манеры начали овладевать и ею. Мужчины находили ее привлекательной, особенно гость. Судя по разговору, он был вдовец. К тому моменту, когда взялись за ликеры, пальма первенства; была за Маделон. Костюм Робинзона и мой устало обмякли, продравшись через столько сезонов, но здесь это, может быть, было незаметно. Все-таки я чувствовал себя несколько униженным среди всех прочих, комфортабельных, чистых, как американцы, умытых, вылощенных,

в любой момент готовых к конкурсу на элегантность.

Растрепанная Маделон держала себя гораздо хуже. Ее задранный кверху носик показывал на картины, она говорила глупости. Хозяйка, чтобы отвлечь внимание, опять взялась за гармонику, и все запели; мы трое — тоже, но тихо, фальшиво и плохо, ту самую песню, которую мы раньше слышали с берега, и потом другую.

Робинзон завел разговор со старым господином, который как будто был очень осведомлен о том, как взращивают какао. Прекрасная тема.

— Когда и был в Африке, — услышал я, к моему большому удивлению, рассказ Робинзона, — когда я был инженером-агрономом общества «Дермонит», — повторял он, — я посылал все население деревни для сбора... — И так далее.

Его усадили на почетное место, в самую глубь душистого дивана; в одной руке он держал рюмку коньяку, другой он делал широкие жесты для описания величественности не прирученных еще лесов и бешенства экваториального вихря. Он так и нес, так и нес...

Вот бы Альсид посмеялся, если бы он тоже был с нами где-нибудь в уголке! Бедный Альсид!

Я тоже было собрался на радостях спеть, но передумал, вдруг полный важности, сознательности. Я нашел нужным открыть им, чтобы оправдать приглашение, от которого мне кровь в голову бросилась, что в моем лице они пригласили одного из замечательнейших докторов Парижского округа. Они, конечно, не могли этого подозревать, судя по моей одежде. Ни по скромности моих спутников. Как только они узнали, кто я, они пришли в восторг, они были польщены, каждый из них начал поверять мне мелкие недочеты своего тела; я воспользовался этим, чтобы подойти поближе к пухленькой дочке подрядчика, которая страдала крапивницей и кислой отрыжкой при каждом удобном случае.

Когда нет привычки к приятностям еды и комфорта, вы легко пьянеете от них. Правда охотно вас покидает. Вылезаете из ежедневных унижений, стараясь, как Робинзон, очутиться на уровне богачей посредством лжи, этой монеты бедняков. Стыдишься своего не очень-то выхоленного тела, изъянов своего скелета. Я не мог решиться показать им мою правду; она была недостойна их, как мой зад. Мне надо было во что бы то ни стало произвести хорошее впечатление.

Робинзон носил темные очки, и за ними не было видно, что у него с глазами. Мы щедро объяснили его несчастье войной. И тогда уж мы совсем укрепились в нашем социальном положении, патриотически поднялись до их уровня.

Маделон в качестве невесты, может быть, играла свою роль недостаточно скромно; она возбуждала всех, женщин тоже, до такой степени, что я уж думал, что все это кончится свальным грехом. Нет! Разговор постепенно затихал, растерзанный слюнявыми усилиями пойти дальше слов. Ничего не случилось.

Гости смотрели еще друг на друга, колеблясь между неотразимым сном и приятным пищеварением.

Мы воспользовались всеобщим столбняком, чтобы смыться. Мы удалились все втроем, потихоньку, стараясь не задеть дремлющих гостей, рассыпанных вокруг гармоники хозяйки.

Мы ушли не очень далеко, только до того места, где река делает колено между двумя рядами острых тополей. Отсюда открывается вид на все ущелье, и даже вдаль на дне его виден городок, сгущенный вокруг колокольни, как гвоздь, вбитый в красное небо.

— Когда у нас обратный поезд? — сразу заволновалась Маделон.

— Все будет в порядке, — успокоил ее Робинзон. — Они нас отвезут на машине, это условлено... Хозяин сказал — у них есть машина...

Маделон не стала настаивать. Она была задумчива от удовольствия. Настоящий, прекрасный день.

— Твоим глазам лучше, Леон? — спросила она его.

— Гораздо лучше. Я не хотел тебе говорить, я еще не был уверен, но думается мне, что в особенности левым глазом я мог даже сосчитать, сколько бутылок на столе... Я порядочно выпил, ты заметила? Ну и вино!

— Левый, со стороны сердца, — заметила Маделон радостно. Она была ужасно довольна (это понятно) тем, что его глазам лучше. — Тогда поцелуемся, — предложила она.

Я начал чувствовать себя лишним при таких нежностях. Мне было трудно уйти; я не знал, в какую сторону надо идти. Я сделал вид, что пошел оправиться за дерево подальше, и остался там, выжидая, чтобы они унялись.

Разговор у них шел нежный. Самые плоские любовные разговоры все-таки немного забавны, когда знаешь людей. И потом я еще никогда не слышал от них таких речей:

— Ты меня любишь, правда? — спрашивала она его.

— Больше глаз моих, вот как я тебя люблю! — отвечал он.

— Это не пустяк — то, что ты говоришь, Леон... Но ты меня еще не видел, Леон? Может быть, когда ты меня увидишь собственными глазами, а не глазами других, ты меня разлюбишь?.. Когда ты опять увидишь других женщин, ты, может быть, начнешь их всех любить? Как все прочие друзья-

приятели...

Это замечание было в мой огород. Меня не обманешь!.. Она думала, что я уже далеко и не могу слышать. Оттого она сразу как следует взялась за меня. Она не теряла времени. Он, мой друг, запротестовал.

— Никогда в жизни! — восклицал он. — Все это только одни предположения, клевета... Я? Да никогда, Маделон! — защищался он. — Я человек совсем другого рода. Отчего думаешь, что я похож на него? После всего того, что ты для меня сделала? Я привязчив. Я-то ведь не подлец! Навеки твой! Я тебе это уже говорил, и я свое слово сдержу. Навеки! Я уже знаю, что ты хорошенькая, но ты станешь еще лучше, когда я тебя увижу... Вот! Теперь ты довольна? Ты больше не плачешь? Больше я тебе ничего сказать не могу!

— Вот это мило, Леон, — отвечала она, прижимаясь к нему.

И пошли, и пошли давать друг другу клятвы, уж и неба было мало для них.

— Мне хочется, чтобы ты всегда была счастлива со мной, — говорил он ей еще совсем тихонько. — Чтобы тебе ничего не надо было делать и чтобы у тебя все-таки все было...

— Ах, ты такой добрый, мой Леон! Ты еще лучше, чем я думала. Ты ласковый! Ты верный! Ты все!..

— Это потому, что я тебя обожаю, моя роднущя!..

И они потом разгорячились, прижимаясь друг к другу. Потом, как бы для того, чтобы отдалить меня от своего большого счастья, они сыграли со мной обычную старую шутку...

Сначала она:

— Твой друг, доктор, он очень милый, правда? — Она начинала сызнава, как будто она меня не успела переварить: — Он очень милый... Раз это твой друг, то я не хочу говорить про него дурно. Но мне кажется, что он груб с женщинами... Я не хочу говорить про него плохо, ведь я думаю, что он тебя действительно очень любит. Но что касается меня, то он не в моем вкусе... Знаешь, я тебе что скажу... Только ты не обидишься?..

Нет, Леон ни на что не обижался.

— Ну вот, мне кажется, что доктор, так сказать, слишком любит женщин. Вроде кобеля, ты понимаешь?.. Как по-твоему?.. Мне кажется, что он вот-вот на них кинется. Укусит и уйдет... Как по-твоему? Ты не находишь, что он такой?

Он находил, подлюга, он находил все, что ей нравилось, он даже находил, что то, что она говорила, совершенно правильно и забавно. Ужас до чего забавно. Он просил ее продолжать.

— Да, ты это верно подметила, Маделон. Фердинанд неплохой человек, но что касается деликатности, бывают лучше. То же самое и насчет верности. Это я знаю...

— Любовниц у него, верно, было много, а, Леон?

— Было, было... — ответил он твердо. — Но знаешь ли, он ведь неразборчив.

Из этих слов надо было сделать вывод. Маделон взяла это на себя.

— Все доктора, как известно, свиньи... Но он поставил в своем роде рекорд...

— Ты не знаешь, насколько ты права, — одобрил мой добрый, мой счастливый друг и продолжал: — До такой степени он это дело любит, что я даже часто думал, не принимает ли он чего... И потом у него эта вещь таких размеров... Если бы ты только видела! Это просто неестественно...

— Ах! Ах! — смутилась Маделон, стараясь вспомнить мою вещь. — Ты что же думаешь, что он болен, скажи? — Она очень забеспокоилась, огорченная этим неожиданным интимным разоблачением.

— Этого я не знаю, — пришлось ему признаться с сожалением, — я не могу этого утверждать... Но надо полагать, что при его образе жизни...

— Все-таки ты прав: он, должно быть, что-нибудь принимает... От этого он иногда такой странный...

Головка Маделон начала работать. Она прибавила:

— Нужно будет вести себя с ним осторожнее...

— Тебе же нечего бояться его? — спросил он ее. — Он ведь тебе чужой?.. Он к тебе никогда не приставал?..

— Что ты! Да я бы никогда этого не допустила! Но никогда нельзя знать, что ему может взбрести в голову... Представь себе, что с ним случится припадок. Во всяком случае, я бы ни за что у него не лечилась... Это бывает с людьми, которые принимают наркотики.

— После того, как мы с тобой о нем поговорили, я бы тоже не стал, — одобрил Робинзон.

После этого опять пошли нежности и ласки.

— Милый!.. Милый!.. — баюкала она его.

— Роднуся!.. Роднуся!.. — отвечал он ей.

И потом молчание и град поцелуев.

— Сколько раз ты успеешь сказать «люблю», пока я доцелую тебя до плеча?..

Игра начиналась от шеи.

— Какая я красная! — восклицала она, отдуваясь. — Я задыхаюсь. Дай мне вздохнуть!

Но он не давал ей отдышаться. Он начинал все сначала. Лежа в траве рядом, я старался увидеть, что произойдет. Он играл ее сосками. Словом — развлечения.

Я тоже очень покраснелся: тому было много причин, и, кроме того, я был восхищен моим нескромным подсматриванием.

— Мы будем счастливы вдвоем, скажи, Леон? Скажи мне, что ты уверен, что мы будем счастливы!

Так начинался антракт. И потом бесконечные планы на будущее, как будто они хотели переделать целый свет, но только для них двоих. Главное, чтобы меня там не было. Казалось, что они никак не могут достаточно от меня отделаться, очистить свою близость от паршивого воспоминания обо мне.

— Вы давно уже дружите с Фердинандом?

Ее это мучило.

— Уже много лет, да... То тут, то там... — ответил он. — Сначала мы встретились случайно, во время путешествий. Этот субъект любит путешествовать, я — тоже в известном смысле. И мы как будто были попутчиками, давно уже... Понимаешь?..

— Теперь эту дружбу придется бросить, миленький. И сейчас же! — ответила она ему очень решительно, коротко и ясно. — Придется бросить. Твоей попутчицей теперь буду одна только я... Ты меня понимаешь?.. Правда, миленький?..

— Ты что же, ревнуешь к нему, что ли? — спросил он, все-таки немного удивленный, этот балда.

— Нет, я не ревную к нему, но я тебя слишком люблю, мой Леон, я хочу, чтобы ты принадлежал мне целиком. Я не хочу делиться... Кроме того, теперь, когда я тебя люблю, он для тебя не компания. Он слишком испорчен... Ты понимаешь? Скажи мне, что ты меня обожаешь, Леон! И что ты меня понимаешь.

— Я тебя обожаю...

— Хорошо!

Мы вернулись в Тулузу в тот же вечер.

Случилось это через два дня. Я все-таки должен был уехать, и как раз когда я кончал складывать вещи, чтобы ехать на вокзал, я слышу, что перед домом что-то кричат. Слушаю... Меня спешно вызвали в подземелье... Я не видел, кто меня зовет. Но, судя по голосу, это было очень срочно. Я должен был спешно явиться туда.

— Что там? Пожар? — отвечаю я, чтобы не мчаться сломя голову.



Было часов семь, как раз перед обедом. Мы решили проститься на вокзале. Так было удобнее для всех, потому что старуха возвращалась домой позже обычного: она как раз сегодня ожидала паломников в склеп.

— Скорее, доктор! — настаивал голос на улице. — С мадам Анруй случилось несчастье!

— Ладно, ладно! — говорю я. — Сейчас иду. — И оправившись: — Идите вперед, — прибавил я, — скажите им, что я сейчас иду... Бегу... Только штаны надену.

— Это очень срочно, — настаивал голос опять. — Она без сознания, говорю вам. Она разбила себе голову. Она провалилась между ступеньками подземелья.

«Все в порядке!» — подумал я про себя, слушая этот интересный рассказ. Долго думать мне было незачем. Я прямо полетел на вокзал. Для меня все было ясно.

Я все-таки успел на поезд в семь пятнадцать в последнюю минуту. Мы не попрощались.

Когда Парапин меня увидел, он первым делом заметил, что у меня плохой вид.

Я объяснил ему, какое там со мной случилось дело, и в то же время высказал ему мои подозрения. Он вовсе не был убежден в том, что я правильно поступил...

Но нам некогда было обсуждать этот вопрос: мне надо было срочно искать работу, надо было сейчас же принять меры. Некогда было рассуждать, терять время. У меня осталось от сбережений сто пятьдесят франков, и я не знал, куда мне деваться и где устроиться. В «Тарапите»? Там больше никого не нанимали. Кризис. Вернуться в Гаренн-Ранси? Попробовать вернуть прежнюю клиентуру? Но это только на самый худой конец, с отвращением. Ничто так быстро не гаснет, как священный огонь.

Это он, Парапин, помог мне наконец. Он нашел для меня местечко в сумасшедшем доме, в котором он работал уже несколько месяцев.

Дела шли еще довольно хорошо. В этом доме Парапин занимался не только тем, что водил сумасшедших в кино, он, кроме того, заведовал искрами. В определенное время, два раза в неделю, он вызывал настоящие магнетические бури над головами нарочно собранных в запертой темной комнате меланхоликов. В сущности, это было нечто вроде духовного спорта и реализации прекрасной идеи доктора Баритона, хозяина Парапина. Кстати сказать, этот хозяин-выжига принял меня на очень маленькое жалованье, заключив контракт с пунктами вот такой длины, все в его

пользу, конечно. В сущности, хозяин, как всякий другой.

Нам почти ничего не платили в его лечебнице, но нас неплохо кормили и давали отличную постель. Можно было также развлекаться с сестрами милосердия.

В полдень мы собирались по обычаю за столом вокруг Баритона, нашего хозяина, психиатра с нашивками, бородкой клином, короткими упитанными ляжками, очень милого, если не считать бережливости — вопрос, в котором он выказывал себя с тошнотворной стороны всякий раз, как на то представлялся предлог и случай.

Его психиатрическая лечебница в Виньи-на-Сене никогда не пустовала. Ее называли «Домом отдыха» на объявлениях, потому что она стояла в большом саду, где наши сумасшедшие гуляли в хорошую погоду. Они гуляют странно, балансируя головами, как будто они все время боятся, споткнувшись, растерять содержимое головы. В головах болтались всякие уродливые, подпрыгивающие вещи, которыми они страшно дорожили.

Сумасшедшие говорили с нами о своих духовных сокровищах, либо испуганно кривляясь, либо покровительственно и сверху вниз, как очень могущественные, педантичные начальники.

Сумасшествие — это обыкновенные человеческие мысли, но накрепко запертые в голове. Мир не проникает в голову, и этого достаточно. Запертая голова — это озеро без реки, вонюца.

В начале моего стажа Баритон за столом регулярно делал философские выводы из нашего случайного растрепанного разговора. Он любил разговоры почти что болезненно, чтобы они были веселые, спокойные, разумные. Он не хотел останавливаться на помешанных. У него была к ним инстинктивная антипатия. Наши рассказы о путешествиях приводили его в восторг. Ему все было мало. С моим приходом Парапин был отчасти освобожден от болтовни. Я попал как раз вовремя, чтобы развлекать хозяина во время еды. Баритон ел, громко чавкая. По правую руку от него всегда сидела его десятилетняя дочка Эме. Что-то безжизненное, серое.

Между Парапином и Баритоном происходили трения. Но Баритон не был злопамятен, если только человек не вмешивался в доходы его предприятия.

Иногда дикие крики врывались в столовую, но причины этих криков были всегда незначительные. Кстати, они всегда быстро прекращались. Все это кончалось без особых скандалов и тревог, теплыми ваннами и бочками микстуры Тебанк.

Вспоминая теперь всех сумасшедших, которых я видел у папаши Баритона, я не могу усомниться в том, что существует другая реализация

сущности нашего темперамента, кроме войны и болезни, этих двух бесконечностей кошмара.

В лечебнице у нас были больные на все цены. Самые роскошные жили в обитых войлоком комнатках стиля Людовика XV. Этих больных Баритон навещал каждый день, весьма дорого считая за визиты. Они его ждали. Время от времени он получал две-три здоровые пощечины, задолго обдуманные, потрясающие. Он сейчас же приписывал их к счету, как специальный курс лечения.

За столом Парапин был очень сдержан. Не то чтобы мои ораторские успехи в глазах Баритона его хоть сколько-нибудь обижали, наоборот, он как будто был менее озабочен, чем прежде, во времена микробов, и, в общем, был почти доволен. Нужно отметить, что он был очень напуган всеми этими историями с малолетними.

Приняв нас обоих в технический персонал, Баритон сделал выгодное дело: мы принесли ему не только нашу преданность, но также и развлечение, и отголоски авантюры, которые он любил и которых был лишен. Он часто выражал нам свое удовлетворение. В отношении к Парапину он был несколько сдержанней. Он всегда был немножко не в своей тарелке с Парапином.

— Парапин... Видите ли, Фердинанд, — признался он мне как-то, — он русский.

Быть русским для Баритона было так же непростительно, как быть диабетиком или негритосом. Начав говорить на эту тему, которая была у него на душе уже много месяцев, он начинал в моем присутствии и для моего личного потребления ужасно сильно шевелить мозгами.

Из принципа я соглашался с хозяином. Я не сделал больших практических успехов за время моего трудного существования, но я все-таки научился добрым принципам этикета рабства. Благодаря этому мы с Баритоном в конце концов стали приятелями. Я не противоречил ему и мало ел за столом. В общем, приятнейший ассистент, экономный и нисколько не честолубивый, ничем не угрожавший.

Вот уже двадцать лет, как Баритон старается удовлетворить обидчивое самолюбие родственников своих больных. Родственники отравляли ему существование. Он всегда терпелив и уравновешен, но у него на сердце остались старые залежи прогорклой ненависти по отношению к родственникам. В те времена, когда я жил с ним бок о бок, он был окончательно выведен из терпения и тайком, упрямо старался тем или иным способом освободиться, отделаться раз навсегда от тирании

родственников. Каждый из нас по-своему старается избавиться от своих тайных мучений, и каждый из нас для этого пользуется, смотря по обстоятельствам, какой-нибудь хитроумной лазейкой. Счастливы те, которые довольствуются публичными домами.

Что касается Парапина, он как будто был очень доволен избранной им дорогой молчания. А Баритон — я это понял только позже — серьезно задумывался над тем, удастся ли ему когда-нибудь отделаться от родственников, от подчинения им, от тысячи отвратительных пошлостей, в общем, отделаться от самого себя. Ему так хотелось совершенно новых вещей, что он вполне созрел для бегства... Но он, который считал себя благоразумным, приобрел свободу при помощи скандала, которого следовало бы избежать. Я постараюсь рассказать позже, на досуге, как это произошло.

Что касается меня, то тогда работать у него ассистентом было для меня вполне приемлемо.

Рутинка лечения была совсем неутомительной, хотя, конечно, время от времени становилось немного не по себе: после слишком длинного разговора с моими пансионерами у меня начиналось что-то вроде головокружения; как будто обыкновенными фразами, невинной речью они уводили меня слишком далеко от моего привычного бреда. На мгновение я не знал, как оттуда выбраться, и не заперли ли меня незаметно и навсегда с их безумием.

Так проходили дни от сомнения к сомнению, и наступило четвертое мая. Я так себя замечательно чувствовал в тот день, что это было просто чудо. Пульс 78. Как после хорошего завтрака.

И вдруг все закружилось. Я стараюсь удержаться. Все превращается в желчь. У людей становятся странные лица. Мне начинает казаться, что они корявы, как лимоны, и еще злее, чем раньше. Я, должно быть, неосторожно забрался слишком высоко, на самую вершину здоровья и оттуда снова упал перед зеркалом, чтобы страстно следить за тем, как стареешь.

В общем, я бы предпочел сейчас же вернуться в «Тарапут». Тем более что Парапин перестал разговаривать со мной. Но со стороны «Тарапуты» я себе все напортил. Тяжело, когда ваша единственная нравственная и материальная опора — ваш хозяин, особенно когда он психиатр и когда вы не очень уверены в своей голове. Нужно терпеть. Молчать. Все, что нам оставалось, — это говорить о женщинах; это была неопасная тема, благодаря которой я еще изредка мог его позабавить. В этом отношении он доверял моему опыту, моей компетенции...

Было бы неплохо, если бы Баритон чувствовал ко мне некоторое

презрение. Хозяин всегда более спокоен, когда у его служащих есть какой-нибудь порок. Существо, которое вам служит, должно быть низко, плоско, призвано к неудачам. Таким можно платить мало, как и платил нам Баритон. В случаях острой скупости работодатели делаются подозрительными и беспокойными. Баритону было бы на руку, если б меня разыскивала полиция. Таким образом он был бы уверен в моей преданности.

Кстати, я давно отказался от чего бы то ни было, похожего на самолюбие. Это чувство всегда мне казалось недостижимым в моем положении; самолюбие было слишком большой роскошью для моих средств. Я принес его в жертву раз навсегда и чувствовал себя отлично.

Теперь все, что мне было нужно, — это сохранить сносное физическое равновесие. Все остальное меня действительно больше не трогало. Но мне все-таки было трудно пережить некоторые ночи, особенно когда воспоминания о том, что случилось в Тулузе, не давали мне спать по целым часам.

Я не мог заставить себя перестать воображать всякого рода драматические последствия падения старухи Анруй в яму с мумиями. Тогда страх подымался из кишков, хватал меня за сердце, и оно билось, пока я не выскакивал совсем из кровати и не начинал ходить взад и вперед по комнате.

Баритон никогда не спрашивал меня про мое здоровье.

— Наука и жизнь составляют пагубную смесь, Фердинанд. Никогда не лечитесь, поверьте мне... Всякий вопрос, заданный телу, превращается в брешь. Это значит — положить начало беспокойству, неотступным мыслям...

Таковы были его любимые простецкие биологические принципы. В общем, он хитрил.

— С меня довольно того, что известно! — говорил он часто, для того чтобы пустить мне пыль в глаза.

Он никогда не говорил со мной о деньгах, но тем больше он думал о них про себя.

Изредка в лечебнице подымалась тревога по поводу его дочки Эме. Вдруг, когда собирались обедать, ее не оказывалось ни в саду, ни в ее комнате. Что касается меня, то я всегда боялся, что ее найдут разрезанной на куски где-нибудь в кустах. Наши сумасшедшие шлялись повсюду, и с ней могло случиться что угодно. Уже несколько раз ее чуть было не изнасиловали. Тогда начинались крики, холодные души, разъяснения без конца. Сколько ей не запрещали ходить по некоторым слишком тенистым

аллеям, ребенок возвращался именно туда, в темные уголки. Отец каждый раз драл ее за это, да так, что она должна была бы это запомнить. Но ничего не помогало. Я думаю, что ей все это нравилось.

Днем Баритон отличался мелочной и придирчивой деятельностью, которая утомляла всех его окружающих. Каждое утро ему приходила в голову какая-нибудь новая, плоская и практическая мысль. Целую неделю мы размышляли о том, как заменить ролики бумаги в уборной пакетами той же бумаги. Наконец было решено, что мы дождемся распродажи и тогда пойдем по магазинам. После этого появилась новая забота — по поводу фланелевых жилетов... Носить их на рубашке или под рубашкой?.. А в чем принимать английскую соль?..

Парапин избегал этих прений, погружаясь в глубокое молчание. У меня не было его полного безразличия. Наоборот, я не умел не отвечать. Я не мог заставить себя не спорить без конца о сравнительных преимуществах какао и кофе с молоком... Он меня околдовывал своей глупостью.

Но мир памяти мосье Баритона, этого подлеца! В конце концов мне все-таки удалось его уничтожить. Для этого понадобилось немало умственного напряжения.

Так шло время, месяцы, довольно, в сущности, мило — пожаловаться не могу, — но вдруг Баритону пришла в голову новая блестящая мысль.

Он, должно быть, уже давно задумывался над тем, как бы меня за те же деньги использовать больше и лучше. И наконец он придумал.

Раз как-то после завтрака он высказался. Во-первых, нам подали целую миску клубники со сливками, мой любимый десерт. Мне это сейчас же показалось подозрительным. И действительно, только я успел проглотить последнюю ягоду, как он атаковал меня.

— Фердинанд, — начал он, — не согласились ли бы вы дать несколько уроков английского языка моей дочке Эме? Что вы по этому поводу думаете? Я знаю, что у вас великолепное произношение. А в английском языке главное — это произношение, не правда ли?.. Кстати, Фердинанд, не хочу вам льстить, но вы всегда так любезны.

— С удовольствием, мосье Баритон, — отвечаю я, застигнутый врасплох.

И тут же было решено, что с завтрашнего утра начну давать уроки английского языка Эме.

Это продолжалось много недель. С этих уроков английского языка началось смутное, подозрительное время; происшествия сменялись, и ритм их не имел ничего общего с ритмом обыкновенной жизни.

Баритон хотел присутствовать на уроках, на всех уроках, которые я давал дочке. Несмотря на все мои старания, английский язык нисколько не прививался бедной маленькой Эме. В сущности, ее совсем не интересовало, что значат эти новые слова. Она хотела бы, чтобы ей позволили обходиться теми французскими словами, которые она уже знала и трудности и удобства которых могли с избытком прослужить ей всю жизнь.

Но отец вовсе не собирался оставить ее в покое.

— Я хочу сделать из тебя современную девушку, дитя мое, — подгонял он ее без конца в виде утешения. — Я достаточно настрадался из-за незнания английского языка, когда имел дело с иностранной клиентурой... Не плачь, моя доченька! Слушай мосье Бардамю; он такой терпеливый, такой любезный. И когда ты научишься делать языком the, я тебе обещаю подарить ни-ке-лированный велосипед.

Но Эме совсем не хотелось учиться делать ни the, ни enough. Вместо нее the, enough, заодно и другие успехи делал хозяин, несмотря на свой южный акцент и свою манию логики, очень неудобную для английского языка. Мало-помалу маленькая Эме перестала принимать участие в наших разговорах, ее оставляли в покое. Она мирно вернулась к себе в облака, не требуя объяснений. Она не научится английскому языку — вот и все. Все для Баритона.

Вернулась зима. Наступило Рождество. В туристских агентствах вывесили объявление об обратных билетах в Англию по удешевленному тарифу. Я даже зашел в одно из них справиться о цене.

За столом я между прочим упомянул об этом Баритону. Сначала он не проявил интереса, как будто пропустил эту справку мимо ушей. Я даже думал, что он о ней совсем забыл, когда как-то вечером он сам об этом заговорил и попросил принести ему, когда представится случай, все справки.

Правду сказать, Баритон уже больше не был похож на самого себя. Вокруг нас люди и вещи, фантастические, замедленные, теряли свою значительность, и даже окраска их, хорошо нам знакомая, приобретала подозрительную мечтательную мягкость.

Баритон только мимоходом все более и более вяло занимался административными делами лечебницы, несмотря на то, что он сам ее создал и в течение более тридцати лет страстно ею интересовался. Он целиком полагался на Парапина. Растущее смятение его мировоззрения, которое он еще стыдливо старался скрывать от посторонних, вскоре стало для нас очевидным, неоспоримым, физическим.

Гюстав Мандамур, полицейский в Виньи, с которым мы были знакомы, так как мы иногда поручали ему грубую работу по дому, существо, из всех однородных существ наименее прозорливое, которое мне случалось встречать, спросил меня как-то, не получил ли хозяин плохих вестей. Я его успокоил, как мог, но не совсем убедительно.

Все эти сплетни не интересовали Баритона. Единственное, что он требовал, — это чтоб ему не мешали ни под каким видом. В начале наших занятий мы, по его мнению, слишком бегло изучали толстую «Историю Англии» Маколея, капитальный труд в шестнадцати томах. По его распоряжению мы начали его сначала и в очень подозрительном психическом состоянии. Глава за главой.

Баритон как будто все более и более был заряжен мышлением. Долго, полузакрыв глаза, повторял он наизусть текст Маколея с самым лучшим английским выговором из всех акцентов Бордо, которые я ему предоставил на выбор.

При аванюре Монмута, где все жалкое нашей пустой и трагической природы, так сказать, распоясывается перед вечностью, у Баритона начиналось головокружение; уже только тонкая нить связывала его с нашей обыкновенной судьбой, и он выпустил перила из рук... С этой минуты — я могу теперь в этом признаться — он уже был не от мира сего. Он больше не мог...

Под конец этого же вечера он попросил меня зайти к нему в его директорский кабинет. Я, правда, уже ждал, что он сделает мне сообщение о каком-нибудь героическом решении, например, что он немедленно уволит меня со службы. Вовсе нет. Его решение, совсем наоборот, было целиком в мою пользу. А так как мне очень редко случалось, чтобы судьба делала сюрпризы в мою пользу, то я прослезился. Баритон принял это проявление моего волнения за проявление горя, и настала его очередь меня утешить.

— Я думаю, что вы не будете сомневаться, если я дам вам слово, Фердинанд, что мне надо было больше, чем простое мужество, чтобы покинуть этот дом. Вы знаете меня, знаете, какой я домосед, и вот я уже почти старик, в сущности, и вся моя карьера была неутомимой, упорной, добросовестной проверкой медленных или быстрых козней... Каким образом дошел я за несколько месяцев до того, чтобы отвлечься от всего?.. И все же я душой и телом пришел в это благородное состояние отрешенности, Фердинанд. Хурей!..<sup>[7]</sup> Как вы говорите по-английски. Мое прошлое чуждо мне. Я возрождаюсь, Фердинанд. Просто-напросто. Я уезжаю. Ни за что на свете я не изменю своего решения. Сомневаетесь ли вы теперь в моей искренности?



Я не сомневался больше ни в чем. Он был способен решительно на все. Я думал также, что было бы пагубно для него противоречить ему в его состоянии.

— Но этот дом, мосье Баритон, что с ним будет? Подумали вы об этом?

— Как же, Фердинанд. Я подумал об этом. Вы возьмете на себя управление на все время моего отсутствия. Вот и все... Ведь вы всегда были в великолепных отношениях с больными. Все отлично устроится, вот увидите, Фердинанд... А Парапин, поскольку он не может переносить разговоры, займется механикой, аппаратами и лабораторией. Он это дело знает. Таким образом все будет в порядке. Кстати, я перестал верить в необходимость чьего бы то ни было присутствия. С этой стороны я, видите ли, мой друг, тоже очень изменился.

И действительно, он был неузнаваем.

— А вы не опасаетесь, мосье Баритон, что ваш отъезд будет использован конкурентами в окрестностях? Какой смысл придадут они вашему благородному и добровольному изгнанию?

Эти предложения, должно быть, уже заставили его долго и мучительно думать. Они его еще смущали, и теперь он побледнел у меня на глазах...

Для дочери его Эме, этого невинного дитяти, это было довольно грубым ударом судьбы. Он отослал ее под опеку к одной из теток, в сущности, совершенно чужой, в провинцию. Таким образом, когда все интимные дела были ликвидированы, нам только оставалось, Парапину и мне, делать все от нас зависящее, чтобы управлять его делами и имуществом.

Плыви же, корабль, без капитана!

После таких откровенных признаний я мог себе позволить, так мне казалось, спросить у хозяина, в какую сторону он думает устремиться в поисках авантюры.

— В Англию, Фердинанд, — ответил он, не запнувшись.

Назавтра мы оба, Парапин и я, помогли ему собрать вещи. Паспорт со всеми его страничками и визами немного удивил его. До сих пор у него никогда не было паспорта. Ему сразу захотелось, чтобы ему дали их несколько. Мы сумели убедить его, что это невозможно.

Под конец его смутил вопрос о том, какие воротнички взять с собой в дорогу, крахмальные или мягкие, и сколько каждого сорта. Эта проблема занимала нас до отъезда из дома. Мы поспели на последний трамвай, идущий в Париж. У Баритона был с собой только легкий чемодан: он хотел повсюду и всегда быть налегке.

На перроне благородная высота подножек международных вагонов произвела на него впечатление. Он не решился подняться по этим величественным ступеням.

Мы протянули ему руки. Час настал. Раздался свисток, поезд отошел точно, минута в минуту. Наше прощание было грубо ускорено.

— До свидания, дети мои, — успел он еще сказать, и рука его отделилась от наших...

Рука его двигалась там, в дыму, в грохоте и уже в ночи по рельсам, все дальше, белая...

С одной стороны, мы не жалели, что он уехал, но все-таки после этого отъезда в доме стало ужасно пусто.

Во-первых, то, как он уехал, расстроило нас, несмотря ни на что. Мы спрашивали себя, не случится ли и с нами что-нибудь нехорошее.

Но долго над этим задумываться не пришлось, ни даже скучать. Не прошло и нескольких дней после того, как мы проводили Баритона на вокзал, как ко мне, специально ко мне, явился гость. Аббат Протист.

Ну и новостей у меня было для него! Каких новостей! Особенно о том, как великолепно нас бросил Баритон, уехавший кататься по туманам и льдам. Протист в себя не мог прийти от всего этого, и когда он наконец понял, в чем дело, единственное, что он отчетливо видел во всем этом, — это выгода, которая получалась для меня при таком положении вещей.

— Доверие вашего директора кажется мне весьма лестным для вас повышением, дорогой доктор, — повторял он без конца.

Как я ни старался его успокоить, разговарившись, он все твердил эту фразу, предсказывая мне блестящее будущее, замечательную медицинскую карьеру, как он это называл. Я не мог его остановить.

С трудом вернулись мы к серьезным вещам, к городу Тулузе, из которого он приехал накануне. Я, конечно, позволил ему в свою очередь рассказать все, что он знал. Я даже сделал вид, что удивлен, поражен, когда он сообщил о несчастном случае со старухой.

— Что вы! Что вы! — прервал я его. — Она скончалась? Да когда же это случилось?

Слово за слово ему пришлось все мне выложить.

Он не то чтоб действительно сказал, что это Робинзон столкнул старуху с ее лесенки, но он позволил мне это предположить. Она как будто и ахнуть не успела. Мы поняли друг друга... Нечего сказать, чисто сработано. С первого раза не вышло, но зато во второй раз уж он не промахнулся.

К счастью, во всем квартале в Тулузе Робинзона еще принимали за слепого. Поэтому никто не предполагал, что это не несчастный случай, правда, трагичный, но вполне понятный, если принять во внимание обстоятельства, возраст старой женщины и то, что это случилось в конце дня, когда она устала...

Больше я ничего не хотел знать. С меня было довольно и этого.

Но было трудно заставить его переменить разговор. Вся эта история его мучила. Он все возвращался к ней в надежде, что я напутаю, скомпрометирую себя... Пусть не надеется!.. Наконец он все-таки отказался от этой мысли, ему пришлось удовольствоваться рассказом о Робинзоне, о его здоровье, о его глазах. С этой стороны ему было гораздо лучше. Но настроение у него было плохое. Из рук вон плохое. Несмотря на внимательность, на привязанность обеих женщин, он безостановочно жаловался на свою судьбу, на жизнь.

Меня не удивляло то, что рассказывал поп. Я хорошо знал Робинзона. У него был грустный, неблагодарный характер. Но с еще большим недоверием я относился к аббату. Пока он мне все это рассказывал, я не пикнул. Все его старания и откровенности ни к чему не привели.

В сущности, Робинзон там у себя только о том и думал, как бы ему от всего этого отделаться, и если я правильно понимал ситуацию, его невеста и мать сначала были обижены, а потом испытывали горе, которое легко можно было себе представить. Вот что аббат Протист хотел мне рассказать. Все это, конечно, было довольно беспокойно, а что касается меня, то я твердо решил молчать и не впутываться ни за какие деньги во все их семейные делишки.

Наш разговор ни во что не вылился, и мы довольно холодно расстались у остановки трамвая. Когда я вернулся в лечебницу, у меня было беспокойно на душе.

Вскоре после этого визита мы стали получать первые вести от Баритона из Англии. Открытки. Мы узнали, что он приехал в Норвегию, и через несколько недель телеграмма из Копенгагена немного успокоила нас.

Прошли месяцы, осторожные месяцы, мутные, молчаливые. Кончилось тем, что мы совсем перестали вспоминать Баритона. Нам всем было как-то стыдно.

Потом вернулось лето. Невозможно было проводить все время в саду, наблюдая за больными. Чтобы доказать самим себе, что мы все-таки немного свободны, мы шли к берегу Сены, просто так, чтобы прогуляться.

Я часто сидел в мертвый послеобеденный час в трактирчике моряков, когда кот хозяина спокойно сидит в четырех стенах под синим небом

выкрашенного масляной краской потолка.

Я тоже дремал там как-то после обеда, думая, что все меня забыли, и выжидая, чтобы все прошло.

Издали я увидел, что кто-то идет в мою сторону. Я не долго сомневался. Не успел он взойти на мост, как я его уже узнал. Это был сам Робинзон. Несомненно. «Он пришел за мной, — решил я сейчас же. — Поп дал ему мой адрес. Необходимо сейчас же от него отделаться».

Я тут же нашел, что он отвратителен, потому что мешает мне как раз в тот момент, когда я только что начинал восстанавливать свой маленький эгоизм. Люди остерегаются того, что идет к ним по дорогам, и они правы. Так вот, подошел он к трактиру. Выхожу. Он делает удивленное лицо.

— Откуда тебя несет? — спрашиваю я его нелюбезно.

— Из Гаренна, — отвечает он мне.

— Ну ладно, ты ел? — спрашиваю я.

Вид у него был такой, будто б он не ел, но он не захотел, чтоб я сразу заметил, что ему жрать нечего.

— Опять пошел шляться? — прибавил я.

Потому что — сейчас я в этом могу признаться — я вовсе не был рад ему. Мне не доставляло никакого удовольствия видеть его.

Парапин появился со стороны канала. Новое дело. Царапину надоело все время дежурить в лечебнице.

Правда, я уж очень распустился по части службы. Во-первых, что касается положения дел, и он, и я, мы бы дорого дали, чтобы знать, когда же он вернется, этот Баритон. Мы надеялись, что он скоро бросит гулять и опять возьмет в свои руки все свое барахло. Нам это было не по силам. Ни он, ни я не были людьми с честолубием, и плевать мы хотели на будущее. Кстати, мы были не правы.

Нужно было отдать справедливость Парапину, он никогда не задавал никаких вопросов относительно коммерческих дел лечебницы, относительно моих отношений с клиентами, но я все-таки объяснял ему положение дел, так сказать, против его воли, и тогда говорил я один. В данном случае, с Робинзоном, было необходимо, чтоб он был в курсе дела.

— Я тебе уже рассказывал о Робинзоне, помнишь? — спросил я его в виде введения. — Знаешь, мой друг по фронту?.. Вспоминаешь теперь?

Я ему уже тысячу раз рассказывал про войну и про Африку, тысячу раз по-разному. Такая уж у меня была привычка.

— Так вот, — продолжал я, — Робинзон живой, пришел из Тулузы меня навестить. Мы все вместе пообедаем дома.

В сущности, приглашая от имени дома, я несколько смутился: я не

имел на это права. И потом Робинзон вовсе не облегчил мне задачу. Уже по дороге он начал высказывать любопытство и беспокойство, особенно по адресу Парапина; его длинное, бледное лицо заинтересовало Робинзона. Сначала он принял его за сумасшедшего. С тех пор, как он узнал, где именно мы живем в Виньи, он повсюду видел сумасшедших. Я успокоил его.

— Ну, а ты, — спросил я, — нашел ли ты хоть по крайней мере работу, с тех пор как вернулся?

— Я буду искать...

Это было все, что он мне ответил.

— А глаза совсем поправились? Ты теперь хорошо видишь?

— Да, почти как раньше...

— Значит, ты теперь доволен? — говорю я.

Нет, он не был доволен. Из осторожности я с ним о Маделон не заговаривал. Это была слишком деликатная тема для нас. Мы довольно долго сидели за аперитивом, и я воспользовался этим, чтобы посвятить его в дела лечебницы и прочие подробности. Я никогда не умел заставить себя не трепаться. В общем, я мало чем отличался от Баритона. Обед прошел очень сердечно. После обеда я все-таки не мог просто выгнать его на улицу, Робинзона. Я тут же решил, что ему пока что поставят в столовой раскладную кровать. Парапин все еще не выражал своего мнения.

— Вот, Леон, — сказал я, — здесь ты можешь жить, пока не найдешь места.

— Спасибо, — ответил он просто.

И с этой минуты он каждое утро отправлялся на трамвае якобы в Париж, чтобы искать место коммерческого представителя.

На завод он больше идти не хотел, он хотел «представительствовать». Может быть, он очень старался найти место, но как бы то ни было, он его не находил.

Раз как-то вечером он приехал из Парижа раньше обыкновенного. Я еще был в саду, наблюдал за большим бассейном. Он пришел сюда, чтоб сказать мне два-три слова.

— Послушай... — начал он.

— Слушаю, — ответил я.

— Ты не мог бы мне дать какую-нибудь работу здесь, у тебя?.. Я ничего нигде не могу найти.

— А ты хорошо искал?

— Да, я хорошо искал.

— Ты хочешь работать здесь, в доме? Какая же для тебя здесь работа?..

Неужели ты не можешь найти хоть какую-нибудь работу в Париже? Хочешь, чтоб Парапин и я справились среди наших знакомых?

Ему было неприятно, что я предлагаю ему помочь найти работу.

— Не то чтоб ее не было, работы, — продолжал он. — Может быть, она и нашлась бы, какая-нибудь работка, да... Но я тебе сейчас объясню... Необходимо, чтобы меня считали умалишенным. Это спешно и необходимо нужно.

— Хорошо, — говорю я ему. — Можешь мне больше ничего не объяснять...

— Что ты, что ты, Фердинанд! Я, наоборот, должен все тебе объяснить, — настаивал он, — чтобы ты меня как следует понял... В-первых, я тебя знаю: пока ты поймешь и решишься на что-нибудь...

— Тогда рассказывай, — говорю я покорно.

— Если я не сойду за сумасшедшего, то пойдут черт его знает какие дела. Небу жарко будет!.. Она способна донести на меня в полицию... Понимаешь ты меня теперь?

— Ты говоришь о Маделон?

— Конечно, о ней.

— Мило! Нечего сказать. Вы, значит, совсем поссорились?

— Как видишь...

— Пойдем сюда, если ты хочешь рассказать мне все подробно, — прервал его я и увел в сторонку. — Нужно быть осторожным с сумасшедшими. Они тоже кое-что понимают и могут рассказать...

Мы поднялись в один из изоляторов, я тут он очень быстро развернул передо мной всю комбинацию, тем более что я знал, на что он способен, а аббат Протист намеками рассказал мне остальное.

Во второй раз он не промахнулся. Никто не мог бы на этот раз упрекнуть его в халатности. Никак!

— Понимаешь, старуха, она мне надоедала все больше и больше. Особенно с тех пор, как у меня поправились глаза, то есть с тех пор, как я смог сам ходить по улицам... Она у меня торчком стояла перед глазами. Она заслоняла мне жизнь. Нарочно! Чтобы нагадить мне!..

— А ступеньки были непрочные, а?

— Да, нужно сказать, вся работа без меня была сделана, на готовом, — согласился он откровенно.

— А люди? — спрашивал я еще. — Соседи, попы, журналисты... Они ничего по этому поводу не говорили?

— Нет, нужно думать. Ведь они считали, что я на это не способен...

что я выдохся... Слепой, сам понимаешь?

— Словом, твое счастье... А Маделон? Она тоже участвовала в этой комбинации?

— Не совсем. Но все-таки отчасти, потому что склеп ведь переходил целиком в наши руки после смерти старухи... Так мы устроились.

— Так почему же ваша любовь разлезлась?

— Это сложно...

— Ты ей надоел?

— Да нет, наоборот, совсем не надоел, и она даже очень замуж хотела. И мать тоже, и даже больше прежнего. Они очень торопились из-за старухиных мумий, которые остались за нами, и мы могли бы спокойно жить да поживать...

— Что же тогда случилось?

— А я просто хотел от них отделаться. Просто-напросто. От мамыши вместе с дочкой.

— Послушай, Леон! — обрезал я его, услышав эти слова. — Послушай меня! Все это ерунда. Поставь себя на место Маделон и ее матери. Разве тебе бы на их месте это понравилось?.. Что же это? Ты приехал туда разутый, без места, ни с чем, ты целыми днями рвал и метал, что старуха берет себе все деньги, да то, да се. Она смывается, вернее — ты ее смываешь. И ты продолжаешь ломаться и паясничать... Нет, ты поставь себя на место этих двух женщин. Это же невыносимо! Да на их месте я бы тебя сто раз отправил к чертям собачьим.

Вот что я сказал Робинзону.

— Возможно, — ответил он мне на это без запинки. — Но хоть ты и доктор, и образованный, и все такое, но ты ничего не понимаешь в моей натуре...

— Замолчи, Леон! — говорю я ему в заключение. — Замолчи ты, несчастный, с твоей натурой! Ты выражаешься, как больной. Тебя надо было бы запереть в сумасшедший дом. Баритон бы занялся тобой вместе с твоей натурой.

— Если бы ты прошел через то, через что я прошел, — возмутился он, — ты бы тоже был болен! Уверяю тебя! И может, еще хуже меня. Этакая тряпка, как ты! Я тебя знаю!

После чего он начинает на меня кричать, как будто он имеет на это право.

Я рассматривал его в то время, как он на меня кричал. Я привык к тому, чтобы на меня так кричали мои больные. Меня это несколько не смущало.

Он похудел с Тулузы, и что-то новое проступило у него на лице, как будто его портрет на его же чертах, уже покрытый забвением, молчанием.

Во всех этих тулузских историях была еще одна вещь, менее важная, конечно, но которую он никак не мог переварить, от одной только мысли об этом в нем разыгрывалась желчь. Дело в том, что ему пришлось дать на чай и взятки целой куче промышлявших кругом людей. Он все еще не переварил того, что, когда подземелье перешло к нему, ему пришлось заплатить комиссионные попу, церковному сторожу, мэрии, викариям и разным другим лицам, и все это, в общем, безрезультатно.

Он приходил в волнение, как только начинал об этом говорить. Он называл это воровством.

— И что же, поженились вы все-таки в конце концов? — спросил я его в заключение.

— Да нет же, говорю тебе. Я не хотел больше.

— А ведь она была очень мила, Маделон? С этим ты спорить не станешь!

— Дело не в этом...

— А в чем же? Наоборот, именно в этом. Ты сам говоришь, что вы были свободны. Если вам так уж хотелось уехать из Тулузы, вы могли оставить склеп на попечение матери, на время. Потом бы вернулись.

— Что касается наружности, ты прав: она была очень миленькая, не спорю, ты мне про нее правильно рассказал. Особенно, представь себе, что, как нарочно, в первый раз, когда я опять стал видеть, я, можно сказать, увидел в первую очередь ее, в зеркале... Представляешь себе? При полном свете... Это было месяца через два после падения старухи. Зрение вернулось ко мне разом, когда я старался разглядеть ее лицо. Так сказать — луч света... Ты меня понимаешь?

— И это было приятно?

— Это было приятно. Но ведь дело не только в этом...

— Ты все-таки смылся.

— Да. Но раз ты хочешь понять, я тебе объясню. Это она первая начала находить, что я стал странно вести себя... что я стал вялым... нелюбезным... Словом... штучки и фокусы...

— Может быть, у тебя были угрызения совести?

— Угрызения совести?!

— Ну да, не знаю...

— Называй это, как хочешь, но у меня было плохое настроение. И все тут... Я все-таки не думаю, чтоб это было от угрызений совести.

— Может быть, ты был болен?



— Скорее всего, да, болен... Кстати, вот уже час, как я стараюсь заставить тебя сказать, что я болен. Согласись, что ты медленно соображаешь.

— Ладно уж! — ответил я ему. — Скажем, что ты просто болен, раз ты считаешь, что это необходимая предосторожность.

— Хорошо сделаешь, — продолжал он настаивать, — потому что я ни за что не ручаюсь, что касается ее. Она вполне способна предать в самом скором времени...

Он как будто давал мне в некотором роде совет, а я не хотел, чтоб он давал мне советы. Мне не нравилась эта манера, потому что таким образом опять могли начаться осложнения.

— Ты думаешь, что она собирается тебя выдать? — спросил я его еще раз, чтобышний раз убедиться. — Ведь она была в некотором роде твоей соучастницей? Лучше бы все-таки для нее, если б она сначала подумала, перед тем как гадить.

— Подумала! — так и подскочил он, услышав это. — Сразу видно, что ты ее не знаешь. — Он хохотал. — Да она ни на минуту не задумается. Можешь мне поверить. Если б ты водился с ней, как я, ты бы никогда в этом не сомневался. Это прирожденная любовница, повторяю тебе! Тебе что же, никогда не встречались такие женщины-любовницы? Когда она любит, она просто сходит с ума! Безумная! И она любит меня, она без ума от меня... Нет, ты отдаешь себе в этом отчет? Ты понимаешь? Все, что похоже на безумие, нравится ей! Вот я все! Это ее не останавливает. Наоборот!

Не мог же я ему сказать, что меня все-таки удивляло, что за несколько месяцев она успела дойти до такого состояния, Маделон, потому что я все-таки был с ней немного знаком... У меня были свои соображения на этот счет, но я не мог их высказать.

Трудно было себе представить, чтоб у нее до того изменился характер, когда я вспомнил, как она устраивала свои делишки в Тулузе, и разговор за тополем. Она казалась мне более ловкой, чем трагичной, очень мило лишенной предрассудков и вполне удовлетворенной тем, что она может пристроиться со всеми своими историями и своими фокусами там, где им верят. Но в настоящий момент я ничего не мог сказать. Приходилось пропускать мимо ушей.

— Хорошо. Ладно, — заключил я. — Ну, а мать? Она, должно быть, шумела, мать, когда поняла, что ты смываешься окончательно?..

— Что было! Целый день она повторяла, что у меня собачий характер, и замечай, это как раз тогда, когда мне было так нужно, чтобы со мной

говорили ласково... Ну и музыка!.. В общем, с мамашей это тоже больше не могло так продолжаться, и тогда я предложил Маделон оставить им обоим склеп, в то время как я сам по себе уеду путешествовать, посмотреть новые страны...

«Ты поедешь со мной, — протестовала она. — Невеста я тебе или нет?.. Ты поедешь со мной, Леон, или ты не поедешь совсем!.. И, во-первых, ты еще не совсем выздоровел...» «Я здоров, и я поеду один.» — ответил я... Никак мы из этого не могли вылезть. «Жена всегда следует за своим мужем! — говорила мать. — Поженитесь, и все будет хорошо!» Она ее поддерживала только для того, чтобы позлить меня.

Слышать я этого не мог, я страдал. Ты меня знаешь! Разве мне нужна была баба на войне? Или чтоб из нее выбраться? А в Африке были у меня разве бабы?.. А в Америке была у меня баба? У меня живот начинал болеть, когда они спорили часами. Настоящие схватки! Я знаю, на что они нужны, женщины! Ты тоже, а? Ни на что! Я ведь все-таки путешествовал! В один прекрасный вечер, когда они меня окончательно вывели из себя всей этой дребеденью, я выложил мамаше все, что я о ней думал. «Старая карга, — сказал я ей. — Вы еще дурей, чем старуха Анруй!.. Вместо того чтобы давать всем советы, вы бы пошли прогуляться, старая сволочь! У вас было бы меньше времени для молитв, от вас бы меньше несло сукой».

Вот как я с ней обошелся, с мамашей! Это меня облегчило... Надо сказать, что эта лошадь только и ждала, чтобы я распоясался, чтобы обозвать меня всеми словами. «Бездельник! Вор! — выливала она на меня помои. — У тебя даже нет профессии. Вот уж скоро год, как моя дочь и я тебя содержим... Кот!..» Представляешь себе? Настоящая семейная сцена. Потом она подумала и сказала тихо, но сказала от всего сердца. «Убийца!.. Убийца!..» — назвала она меня. Я немножко остыл.

Дочка, когда услышала это, как будто испугалась за мать. Она бросилась между нами. Она закрыла матери рот своей рукой. Хорошо сделала... «Значит, у них все сговорено», — подумал я. Это было ясно. Словом, я пропустил это мимо ушей. Был неподходящий момент для драки. И потом, в сущности, мне было все равно, что они в заговоре против меня... Ты, может быть, думаешь, что после того, как они облегчили душу, они оставили меня в покое?.. Ничуть!

Дочка начала все сначала — с новым пылом: «Я люблю тебя, Леон! Ты же видишь, что я тебя люблю, Леон!..» Это все, что она могла сказать, — «люблю». Как будто это было ответом на все. Под конец этой сцены все плакали, даже я, потому что я все-таки не хотел окончательно рассориться с этими двумя стервами.

Так шли недели, мы понемножку ругались и наблюдали друг за другом днями и особенно ночами. Мы не могли решиться расстаться, хотя чувство уже было не то. Мы продолжали жить вместе, главным образом от страха. «Ты, может быть, любишь другую?» — спрашивала меня иногда Маделон. «Да нет же! — успокаивал я ее. — Да нет!» Но было ясно, что она мне не верит. Для нее это было обязательно — кого-нибудь любить — в жизни, и все тут. «Скажи мне, — отвечал я ей, — что бы я стал делать с другой женщиной?»

Но любовь была ее манией. Я уже и не знал, что сказать ей, чтобы успокоить. Она выдумывала штуки, которые я до этого и не слышал никогда. Я никогда бы не поверил, что у нее в голове такое спрятано.

«Ты украл мое сердце, Леон! — обвиняла она меня, и вполне серьезно. — Ты хочешь уехать! — грозила она. — Поезжай! Но я тебя предупреждаю, что умру от горя, Леон!» Это из-за меня-то она умерла бы от горя! На что это похоже, я спрашиваю! «Да нет же, ты не умрешь, — успокаивал я ее. — И, во-первых, я у тебя ничего не брал. Я тебе даже не сделал ребенка. Ты только подумай! Я тебя ничем не заразил? Нет? Так в чем же дело? Я просто хочу уехать, и все тут. Будто бы на каникулы... Ведь это очень просто... Попробуй быть благоразумной...»

Чем больше я старался объяснить ей мою точку зрения, тем меньше моя точка зрения ей нравилась. В общем, мы совсем больше друг друга не понимали. Она приходила в совершенную ярость от одной мысли, что я действительно могу думать то, что говорю, что все это настоящее, простое и искреннее. Кроме того, она воображала, что это ты меня подговариваешь сбежать.

Когда она выяснила, что ей не удастся заставить меня устыдиться моих чувств и тем удержать меня, она решила испробовать другой способ: «Не думай, пожалуйста, Леон, что я держусь за тебя из-за склепа! Деньги меня, в сущности, не интересуют. Единственное, что мне хочется, — это быть с тобой... быть счастливой... Вот и все... Ведь это естественно. Я не хочу, чтобы ты меня бросил. Это слишком ужасно после того, как мы так любили друг друга... Поклянись мне, по крайней мере, Леон, что ты уедешь ненадолго?..» И так далее, и припадок этот продолжался неделями.

Она была действительно влюблена и надоедлива. Каждый вечер она возвращалась к своему любовному безумию. В конце концов она согласилась оставить склеп матери, но с условием, что мы вместе поедem искать работу в Париж... всегда вместе... Ну и номер! Она готова была понять что угодно, кроме моего желания отправиться не в ту сторону, куда отправляется она... Ничего нельзя было сделать... Ну и, конечно, чем

больше она привязывалась, тем больше меня от нее тошнило.

Не стоило и пробовать ей что-нибудь благоразумно объяснять. Просто потеря времени, и она даже от этого еще больше безумствовала. Вот и пришлось мне пуститься на хитрость, чтобы отделаться от ее любви, как она это называла. Мне пришла в голову мысль испугать ее, будто я иногда на время делаюсь сумасшедшим.

Целую неделю она над этим размышляла и приставала ко мне. Она, должно быть, рассказала о моих припадках матери. Во всяком случае, она меньше настаивала на том, чтобы я остался с ними. «Готово, — думал я, — дело идет на лад. Я свободен!..» Я уже представлял себе, как я тихо, спокойно, не порвав с ними, еду в Париж... Подожди! Я перестарался.

«Пощупай, — говорю я как-то вечером Маделон. — Пощупай шишку у меня на затылке. Ты чувствуешь под нею шрам? А шишка здоровая, а?» Когда она хорошенько пощупала мою шишку на затылке, это ее ужасно растрогало... Нужно сказать, что ей совсем не было противно, наоборот, она разволновалась пуще прежнего. «Вот куда меня ранили во Фландрии. Вот где мне делали трепанацию...» — объяснил я. «Ах, мой Леон! До сих пор я сомневалась в тебе, но я прошу у тебя прощения из глубины моего сердца. Я искуплю. Я буду терпелива! Скажи, что ты меня прощаешь, Леон!» Она как будто опьянела от любви, пощупав мою шишку.

После этой сцены мать ее больше не имела права на меня кричать. Маделон не давала слова сказать матери. Ее нельзя было узнать, она хотела защищать меня до конца моих дней.

Надо было покончить с этим. Я, конечно, предпочел бы, чтобы мы расстались друзьями. Но не стоило и пробовать. Она не знала, куда деваться от любви, и она упряма. Раз утром, когда она с матерью ушла за покупками, я сложил вещи в узелок, как ты, и потихоньку убрался... Ты меня не можешь упрекнуть в том, что я был недостаточно терпелив. Но я тебе повторяю — ничего нельзя было сделать. Теперь ты все знаешь. Если я тебе говорю, что эта малютка в состоянии явиться за той сюда, не вздумай ответить мне, что у меня галлюцинации. Я знаю, что говорю! И ее знаю тоже. По-моему, было бы гораздо лучше, если бы она меня застала уже сумасшедшим в лечебнице. Мне будет тогда гораздо легче сделать вид, что я ничего не понимаю... С ней только так и можно... не понимать...

Еще два-три месяца тому назад рассказ Робинзона меня бы заинтересовал, но я как будто внезапно постарел.

В сущности, я становился все более и более похожим на Баритона — мне было на все наплевать. Все, что мне Робинзон рассказывал о своей аванюре в Тулузе, не производило на меня впечатления живой опасности;

как я ни старался заинтересоваться его случаем, от его случая пахло как-то затхло. Что ни говори, на что ни претендуй, а мир покидает нас много раньше, чем мы покидаем его.

Так как скучать все равно приходится, то наименее утомительно скучать, ведя регулярный образ жизни. Я следил за тем, чтобы в десять часов все в доме были в постели. Я сам тушил электричество. Все катилось само собой.

Из Тулузы больше не было никаких вестей. Аббат Протист тоже больше не являлся. Быт в лечебнице наладился монотонный, тихий. Морально мы себя чувствовали не в своей тарелке: слишком много призраков со всех сторон.

Прошло еще несколько месяцев. Робинзон поправлялся. К пасхе наши сумасшедшие несколько заволновались, женщины в светлом проходили мимо сада. Ранняя весна. Бром.

В «Тарапуге» персонал сменился уже несколько раз с тех пор, как я там работал стажером. Мне рассказывали, что англичаночки уехали далеко, в Австралию. Мы их больше не увидим...

Мы начали писать письма во все стороны, чтобы получить какие-нибудь сведения о Баритоне, но не пришло никакого интересного ответа...

Парапин тихо и спокойно нес свою службу рядом со мной. За двадцать четыре месяца он едва ли произнес двадцать фраз в общей сложности. Больных было достаточно, чтобы обеспечить нас материально... После того, как мы уплатили и поставщикам, и за квартиру, и тетке за пансион Эме, у нас еще осталось на что жить...

Я находил, что Робинзон очень успокоился по сравнению с тем, какой он был по приезде. У него был лучше вид, он потолстел на три кило. В общем, пока в семьях будут водиться сумасшедшие, им будет на руку, что совсем под боком, рядом со столицей, находится наш дом. К нам стоило съездить из-за одного сада. Летом к нам нарочно приезжали из Парижа, чтобы полюбоваться на наши цветы и кусты роз.

В одно из таких июньских воскресений мне показалось, что среди гуляющих я вижу Маделон; она на мгновение замерла перед нашей решеткой.

Сначала я ничего не хотел говорить об этом появлении Робинзону, чтобы не испугать его, но потом, все-таки подумав, я посоветовал ему не удаляться от дома во время своих обычных бесцельных прогулок в окрестностях. Совет этот показался ему подозрительным, но он не стал расспрашивать.

К концу июля мы получили от Баритона несколько открыток, на этот

раз из Финляндии. Это доставило нам удовольствие, но он ничего не писал о своем приезде, он только по обыкновению слал нам приветы.

Прошло два месяца, за ними другие. Летняя пыль покрыла дорогу. Один из наших сумасшедших наскандалил в день всех святых перед зданием лечебницы. Этот больной, всегда очень приличный, плохо перенес похоронное настроение этого дня. Мы не успели вовремя остановить его, когда он кричал в окно, что не хочет умирать. Гуляющие находили его уморительным. В самый момент этого происшествия мне опять показалось, но гораздо более определенно, чем в первый раз, что я вижу Маделон в первом ряду одной из групп, у самой решетки.

Ночью я проснулся от чувства тоски; я старался забыть то, что видел, но напрасно. Лучше уж было не спать.

Я давно не был в Ранси. Раз уж я не могу отделаться от кошмара, то не лучше ли сходить прогуляться в ту сторону, откуда рано или поздно шли все несчастья? Сколько кошмаров я оставил там, позади!.. Пойти им навстречу могло в известном смысле сойти за предосторожность.

Самый короткий путь из Виньи в Ранси — вдоль набережной, до моста Женневилье, того самого, что совсем плоско перетянут через Сену. Медлительные туманы реки рвутся на уровне воды, спешат, проходят, бросаются, колеблются и падают по ту сторону парапета.

Мощный завод тракторов налево прячется в большом куске ночи. Его окна открыты угрюмым пожаром, который бесконечно выжигает его изнутри. Пройдя мимо завода, остаешься на набережной совсем один. Но заблудиться нельзя. По степени усталости можно приблизительно определить, далеко ли еще идти.

Даже глубокой ночью, с закрытыми глазами я бы нашел дорогу к домику Анруйев. Я так часто когда-то там бывал...

Фонарь на тротуаре бросал белый свет на стеклянный навес над крыльцом, будто на нем лежал снег. Я стоял на углу улицы и долго смотрел. Я мог бы пойти, позвонить. Она бы мне открыла. В конце концов мы же не ссорились. Там, где я стоял, был ледяной холод...

Я не то чтобы боялся ее, мадам Анруй. Нет. Но мне вдруг не захотелось больше ее видеть. Я ошибся, когда шел, чтобы повидать ее. Тут вот, перед ее домом, я неожиданно открыл, что она не может сказать мне ничего нового... Теперь я ушел дальше нее в ночь, даже дальше, чем старуха Анруй, которая умерла. Мы окончательно расстались... Не только смерть нас разлучила, но и жизнь тоже. Это было в порядке вещей. Каждый сам по себе — подумал я. И пошел в свою сторону, в сторону Виньи.

Она была недостаточно образованна, чтобы идти по одной со мной

дороге, мадам Анруй. Характер у нее был сильный — это да!.. Но никакого образования... Вот в чем загвоздка! Никакого образования! Образование чрезвычайно важно. Вот отчего она не понимала ни меня, ни всего того, что происходило вокруг нас, не понимала, несмотря на всю свою низость и упрямство... Этого недостаточно: для того чтобы перегнать других, надо еще иметь сердце и знания.

Я шел к Сене по улице Санзилон, к тупику Вассу. Я разделался с тоской. Я был почти доволен. Я шел гордый, потому что понял, что с мадам Анруй все было кончено, я наконец бросил на дороге эту суку! Здоровый камень свалился. Одно время мы по-своему симпатизировали друг другу. Мы хорошо понимали друг друга когда-то с мадам Анруй. Долгое время... Но теперь она была недостаточно низка для меня, она не могла опуститься еще ниже, догнать меня. У нее не было для этого ни сил, ни образования. В жизни идешь не вверх, а вниз. Она больше не могла. Она не могла опуститься ниже, туда, где находился я. Для нее ночь вокруг меня была слишком глубока.

Проходя мимо дома, в котором тетка Бебера была консьержкой, я хотел зайти, для того только, чтобы посмотреть, кто теперь живет в их квартирке, где я ухаживал за Бебером и откуда его вынесли... Может быть, там, над кроватью, висит еще его портрет в ученической форме... Но было слишком поздно, чтобы будить народ. Я прошел мимо, не дав знать о себе.

Немного дальше, на улице Свободы, я наткнулся на лавочку старьевщика Безена, в которой еще горел свет. Безен знал все новости и сплетни со всего квартала: ведь он все свое время проводил в трактирах и его знали от Блошиного рынка до заставы Майо.

Если он еще не спит, он мог бы многое мне рассказать. Я толкнул дверь. Она зазвонила, но никто не отозвался. Я знаю, что он спит за лавкой, в столовой. Здесь я его и застал, в темноте. Он положил голову на стол между руками, сидя боком перед остывшим обедом, бобами, которые его дожидались. Он начал обедать, но сон тут же свалил его. Он громко храпел. Правда, он выпил.

Я всегда считал его хорошим парнем, этого Безена, ничуть не гаже других. Услужливый, непридирчивый. Не будить же его из любопытства, чтобы задать ему несколько вопросов!

Я ушел, потушив газ. Конечно, дела его шли неважно. Но зато по крайней мере сон давался ему без труда. И все-таки я шел обратно в Виньи грустный, думая о том, что все эти люди, эти грозные и мрачные вещи ничего больше не говорят моему сердцу, как бывало, и что хоть, может быть, я и похож на весельчака, но что у меня не осталось уже больше сил

для моей дальней одинокой дороги.

Мы по-прежнему, как во времена Баритона, собирались вокруг обеденного стола, но теперь мы предпочитали обедать в бильярдной. Здесь было уютней, чем в настоящей столовой, в которой оживали невеселые воспоминания о разговорах на английском языке. И потом мебель столовой была слишком пышна для нее, настоящий стиль «1900», со стеклами под опал.

Из бильярдной видно было все, что происходит на улице. Это могло пригодиться. Мы проводили в этой комнате все воскресные дни. К нам изредка приходили в гости врачи, живущие по соседству, но постоянным нашим гостем был Гюстав, полицейский, регулирующий уличное движение. Мы познакомились с ним через окно, наблюдая за ним в воскресенье, когда он исполнял свои обязанности на перекрестке дорог. У него было много возни с автомобилем. Сначала мы только перекидывались несколькими словами, потом, от одного воскресенья к другому, мы совсем познакомились. Мне случилось лечить его сыновей в городе: у одного была краснуха, у другого свинка. Гюстав Мандамур был у нас завсегдатаем. Разговаривать с ним было трудновато, он плохо справлялся со словами. Находить-то он их находил, слова, но никак не мог их выразить: они застревали у него во рту, производя там шум.

Как-то вечером Робинзон пригласил его сыграть партию в бильярд, кажется, в шутку. Но в природе Гюстава было продолжать раз начатое, и с тех часов он стал ходить к нам каждый вечер, в восемь часов. Он хорошо себя с нами чувствовал, говорил нам Гюстав, лучше, чем в кафе, потому что там спорили о политике и споры эти часто плохо кончались. А мы никогда не говорили о политике. В положении Гюстава политика была вещью деликатной. И в кафе у него были неприятности из-за этого. В сущности, он никогда не должен был бы говорить о политике, особенно выпивши, а с ним это случалось.

Когда мы, Парапин и я, думали о том, в каком мы находились положении до Баритона и как мы устроились у него, нам жаловаться не приходилось, ибо, в общем, нам как-то чудесно повезло и мы не знали недостатка ни в смысле материальных благ, ни в смысле уважения к себе...

Но я всегда чувствовал, что это чудо не может долго продолжаться. У меня было несчастливое прошлое, и оно уже напоминало о себе отрывкой судьбы. Уже в самом начале моего пребывания в Виньи я получил три анонимных письма, которые показались мне крайне подозрительными и опасными. Потом шли другие письма, полные злобы и желчи. Правда, нам



часто случалось в Виньи получать анонимные письма, и обычно мы на них не обращали внимания. Чаще всего их посылали наши бывшие больные, которые увозили домой свою манию преследования.

Но эти письма, их манера меня беспокоили: они были не похожи на другие, их обвинения были определеннее и в них всегда говорилось только о Робинзоне и обо мне. Откровенно говоря, нас обвиняли в том, что мы живем друг с другом. Вонючее предположение. Мне было неловко с ним об этом говорить, но потом я все-таки решился, потому что я получал эти письма без конца. Мы вместе старались выяснить, от кого бы они могли быть, перебирали всех, кого только могли вспомнить среди наших общих знакомых. Мы ни на ком не могли остановиться. Кроме того это обвинение ни на что не было похоже. Этот порок совсем не был в моем вкусе, а Робинзону было в высшей степени наплевать на все, касающееся пола. Надо было быть действительно ревнивой, чтобы воображать этикие мерзости.

В результате мы никого другого не нашли, кроме Маделон, кто мог бы приставать к нам вплоть до Виньи с такими грустными выдумками. По мне, пускай пишет свои гадости, только бы выведенная из себя тем, что ей не отвечают, она не явилась бы как-нибудь собственной персоной и не устроила скандала в лечебнице.

Можно было ожидать худшего.

Так мы провели несколько недель, вздрагивая при каждом звонке у дверей. Я ожидал визита Маделон или — еще хуже — полиции.

Каждый раз, когда Гюстав Мандамур приходил немножко раньше, чем обычно, чтобы сыграть на бильярде, я так и ждал, что он вынет из кармана повестку, вызывающую нас в полицию. Но тогда еще Мандамур был любезен и тих. Он переменялся, и очень заметно, много позже. В те времена он проигрывал каждый день во все игры с полным спокойствием.

Изменился у него характер по нашей вине. Как-то вечером я из любознательности спросил его, почему он никогда не выигрывает в карты; у меня, в сущности, не было никакой причины задавать такие вопросы Мандамуру, кроме моей мании вечно интересоваться — почему? как? В особенности оттого, что ведь мы играли не на деньги. И вот я подошел к нему ближе и, хорошо рассмотрев его, заметил, что он сильно дальновзорок. Он на самом деле при нашем освещении почти что не мог отличить трефы от бубен. Так дальше продолжаться не могло.

Я исправил этот недочет, предложив ему отличные очки. Сначала он был очень доволен очками, но недолго. Так как он благодаря очкам играл лучше и меньше проигрывал, он вбил себе в голову, что он вовсе не будет

проигрывать. Это было невозможно, и тогда он плутовал. А когда он проигрывал, несмотря на плутовство, то он дулся на нас по целым дням. Словом, он стал невыносим.

Я был очень огорчен: он на все обижался и старался нас обидеть в свою очередь, чем-нибудь нас расстроить, озаботить. Он по-своему мстил нам за то, что проигрывает. Между тем, повторяю, мы играли не на деньги, а только для развлечения... Но он все-таки злился.

Так, раз вечером, когда ему не везло, он крикнул нам, уходя:

— Предупреждаю вас, господа, будьте осторожны! Если б у меня были знакомые вроде ваших, я бы не был спокоен. Между прочим перед вашим домом прогуливается уже несколько дней одна брюнетка. Слишком часто, я считаю. Недаром она здесь ходит. Я нисколько не удивлюсь, если она поджидает кого-нибудь из вас.

Так, выпустив на нас эти ехидные слова, Мандамур собрался уходить. Эффект произвести ему вполне удалось. Но я тут же взял себя в руки.

— Хорошо! Спасибо, Гюстав!.. — ответил я ему спокойно. — Не представляю, кто же это может быть, эта брюнетка?.. Среди наших бывших больных, насколько я знаю, нет женщины, которая могла бы на нас пожаловаться. Должно быть, опять одна из этих несчастных помешанных. Мы найдем ее... Но вы правы, всегда лучше знать заранее. Еще раз спасибо, Гюстав, что вы нас предупредили. И до свидания!

Робинзон просто не мог встать со стула. Когда Гюстав ушел, мы стали обсуждать его слова со всех сторон. Несмотря ни на что, это могла быть другая женщина, не Маделон. Другие женщины тоже бродили под окнами лечебницы. Но все-таки были серьезные основания думать, что это была она; этой мысли было достаточно, чтобы перепугать нас насмерть.

Если это была она, то каковы были ее новые намерения? И потом, на какие деньги она жила столько месяцев в Париже? Если она действительно в конце концов явится собственной персоной, то надо было спешно принимать меры.

— Слушай, Робинзон, — сказал я в виде заключения, — решайся, пора! И решайся раз навсегда... Хочешь вернуться к ней в Тулузу?

— Нет, говорю тебе. Нет и нет! — был его ответ, вполне решительный.

— Ладно! — говорю я ему. — Но в таком случае, если ты действительно не хочешь к ней вернуться, по-моему, было бы лучше всего, если бы ты хоть на время уехал искать заработок за границей. Тогда ты отделался бы от нее наверняка...

Если бы он меня послушался, если б он тогда уехал, меня бы это устроило, меня бы это обрадовало. Но он не согласился.

— Ты что, смеешься надо мной, Фердинанд, а? — ответил он. — Это нехорошо в моем возрасте... Посмотри на меня!..

Он не хотел больше уезжать. В общем, он устал таскаться. Я настаивал.

— А если она на тебя донесет, Маделон, ты сообрази, по делу старухи Анруй?.. Ты сам мне сказал, что она вполне способна.

— Что же, наплевать! — ответил он. — Пускай делает, что хочет.

Я не привык к таким словам в его устах; прежде фатализм вовсе не был в его вкусе.

— Ну, пойдешь хоть поищи работы рядом, на заводе. Тогда ты будешь не все время с нами вместе. Если за тобой придут, мы успеем тебя предупредить.

Парапин был вполне со мной согласен, и он даже немножко заговорил ради этого случая. Надо думать, что ему показалось очень важным и срочным то, что происходило между нами. Тогда пришлось измышлять, куда его пристроить, где его спрятать, Робинзона.

Среди наших знакомых по соседству с нами был один фабрикант, который был нам обязан за кое-какие мелкие услуги деликатного свойства, которые мы ему оказали в критический момент. Он согласился взять Робинзона на испытание. Это была работа не тяжелая, она прилично оплачивалась.

— Леон, — сказали мы ему утром, когда он первый раз пошел на работу, — не валяй дурака на новом месте, не обращай на себя внимание твоими дурацкими идеями! Приходи вовремя, не уходи раньше других. Здравойся со всеми. Словом, веди себя прилично... Ты в приличном ателье, и мы тебя туда рекомендовали.

Но он все-таки обратил на себя тут же внимание, и не по своей вине, а из-за шпики, работавшего в соседнем ателье, который видел, как он зашел в частный кабинет хозяина. Этого было достаточно. Рапорт — неблагонадежен! Выкинули.

И нам через несколько дней опять возвращают Робинзона без места. Судьба.

Потом, почти в тот же день, он опять начинает кашлять. Выслушиваешь его и находишь шумы в верхушке правого легкого. Теперь ему оставалось только сидеть дома.

Это было в субботу вечером, перед обедом. Кто-то спрашивает меня лично в приемной.

— Женщина, — докладывают мне.

Это была она, в маленькой шляпке и в перчатках. Я отлично помню.

Предисловия излишни: она появилась вовремя. Я ей выкладываю без обиняков:

— Маделон, — останавливаю я ее, — если вы хотите видеть Леона, я предпочитаю сразу вас предупредить, что не стоит настаивать, вы можете уйти... У него больные легкие и голова. Он серьезно болен... Вы не сможете увидеться с ним... Кроме того, ему не о чем с вами разговаривать.

— Даже со мной? — настаивает она.

— Даже с вами. Особенно с вами, — прибавляю я.

Я думал, что это ее оживит. Нет, она только качала головой справа налево, сжав губы и стараясь взглядом найти меня в своей памяти. Но это не выходило. Я исчез из ее памяти. В аналогичном случае мужчина, особенно сильный, меня бы испугал, но ее я не боялся. Она, как говорится, была слабее меня. С давних пор у меня было желание ударить по такой вот голове, одержимой гневом, чтобы посмотреть, как закружится эта гневная голова. Это и крупный чек — вот что нужно, чтобы увидеть, как с маху переворачиваются все страсти, которые лавируют в голове. Это прекрасно, как прекрасный маневр парусной лодки на бурном море. Человек гнется под новым ветром. Мне хотелось увидеть это.

Вот уже двадцать лет, как меня преследовало такое желание. На улице, в кафе — везде, где ссорятся более или менее задирчивые, мелочные и хвастливые люди. Но я никогда не смея, я боялся, что меня изобьют и особенно осрамят. Теперь мне представлялся великолепный случай.

— Уйдешь ты или нет? — сказал я только для того, чтобы раздражить ее еще больше, довести до точки. Она меня не узнавала: такой разговор был мне несвойственен. Она начала улыбаться, ужасно меня раздражая, как будто находила меня невозможно смешным и не стоящим внимания. «Бах! бах!» Я дал ей две здоровые затрещины, которые ошеломили бы осла.

Она отлетела на розовый диван у стены. Держась за голову обеими руками, она прерывисто дышала и скулила, как побитая собачонка. Потом она как будто одумалась, быстро встала, легкая, гибкая, и вышла, не обернувшись. Я ничего не увидел. Надо было все начинать сначала.

Но что бы мы ни делали, в ней было больше лукавства, чем в нас вместе взятых. Доказательство: она виделась с Робинзоном и встречалась с ним, когда хотела. Первый, кто увидел их вместе, был Парапин. Они сидели на террасе кафе напротив Восточного вокзала.

Я и так подозревал, что они опять встречаются, но сделал вид, что их отношения меня совсем больше не интересуют. В общем, меня это не касалось. Службу свою в лечебнице он исполнял хорошо, работу крайне

неприятную у паралитиков, он очищал с них грязь, вытирал губкой, менял им белье, вытирал слюну. Больше мы с него спрашивать не могли.

Если он пользовался теми послеобеденными часами, когда я посылал его в Париж с поручениями, чтобы встречаться со своей Маделон, это было его личное дело. Как бы то ни было, со времени пощечины Маделон в Виньи больше не было видно. Но я не сомневался, что с тех пор она ему про меня насплетничала всяких гадостей.

Я даже не говорил больше с Робинзоном о Тулузе, как будто ничего никогда не было.

Так, хорошо ли, плохо ли, но прошло шесть месяцев, а потом вдруг спешно понадобилась сестра милосердия, которая в то же время была бы массажисткой, так как наша ушла без предупреждения, чтобы выйти замуж.

Много красивейших девушек приходили предлагать свои услуги. В конце концов мы остановились на девушке из Словакии, которую звали Софья, у которой тело, гибкая и нежная осанка показались нам неотразимыми.

Софья знала всего несколько слов по-французски, и я считал своей прямой обязанностью дать ей несколько уроков французского языка. Ее свежесть вернула мне любовь к преподаванию, и несмотря на то, что Баритон сделал для того, чтобы я навеки чувствовал отвращение к преподаванию, я был неисправим. Но как она была молода! Какая энергия! Какая мускулатура! Самый факт ее присутствия в нашем хмуром, подозрительном доме казался смелым поступком.

Через некоторое время, хотя мы были все еще очень рады ей, мы начали опасаться, что она как-нибудь расстроит ансамбль наших бесконечных предосторожностей или что она вдруг в один прекрасный день отдаст себе отчет в нашей потрепанной сущности.

Мы любовались ею, что бы она ни делала, когда она вставала, садилась за стол, уходила. При каждом ее самом простом движении мы испытывали удивление и радость. Мы ощущали прогресс поэзии оттого лишь, что могли любоваться ею, такой прекрасной и непосредственной. Ритм ее жизни исходил из других источников, чем наши жизни...

Даже Парапин, который отнюдь не был лириком, улыбался, когда она двигалась по комнате. Стоило посмотреть на нее, чтобы почувствовать душевное облегчение. Особенно для меня, по правде сказать, для моей души, в которой оставалось много желаний.

Чтобы застать ее врасплох, чтобы заставить ее потерять свое великолепие, свой престиж, чтобы умалить ее, изменить ее масштаб,

сделать его человеческим, я зашел в ее комнату, когда она спала.

Тогда это была совсем другая картина. Софья становилась родной, но все-таки удивительной. Она старательно спала, она храпела. Это был единственный момент, когда она была мне ровней. Никакого колдовства. Тут не до шуток. Дело серьезное. На этой изнанке существования она продолжала высасывать жизнь!..

Нужно было ее видеть после этих сеансов спанья: еще немного припухшая, а под розовой кожей экстаз всех ее органов. Все это можно целовать. Приятно притронуться к той минуте, когда материя превращается в жизнь.

Мы были скорее ее друзьями, чем хозяевами. Среди них самым близким был я. Она мне аккуратно изменяла с больничным служителем из павильона буйных, экс-пожарным; она мне объясняла, что это для моего блага, чтобы не утомлять меня. Против этого ничего не скажешь.

Все это в результате было бы очень приятно, но история с Маделон лежала у меня камнем на сердце. Наконец я как-то все рассказал Софье, чтобы посмотреть, что она скажет.

Она находила, что такие когда-то близкие друзья, как Робинзон и я, должны помириться, вообще, все должны помириться, просто, мило и возможно скорей. Это был совет от доброго сердца. В Центральной Европе много таких вот добрых сердец. Только она плохо знала характер и рефлексy здешних жителей. У нее были самые лучшие намерения, но совет она мне подала самый неправильный. Я слишком поздно понял, что она ошибалась.

— Ты должен встретиться с Маделон, — посоветовала она мне. — Она, должно быть, очень милая, судя по твоим рассказам... Это ты ее спровоцировал, ты вел себя с ней грубо, отвратительно. Ты должен извиниться перед ней и что-нибудь ей подарить, чтобы она тебя простила.

У нее на родине, должно быть, это было принято.

В общем, она давала мне очень вежливые, но непрактичные советы.

Я немножко обождал, чтобы представился случай поговорить с Робинзоном о моем проекте всеобщего мира. Он сначала казался в нерешительности — я это отлично видел, — потом без восторга сказал, что ничего не имеет против. Я думаю, что Маделон предупредила его, что я скоро под тем или иным предлогом постараюсь ее увидеть... О пощечине в тот день, когда она была в Виньи, я не заикнулся даже.

Я не мог рискнуть, чтобы он тут же начал на меня кричать и публично обозвал меня хамом, потому что, несмотря на то, что мы были старыми друзьями, здесь, в доме, он был моим подчиненным. Первым долгом

сохраним авторитет.

Мы решили — так было лучше — встретиться в Париже в какое-нибудь воскресенье, потом пойти всем вместе в кино, а потом, может быть, на гулянье в Батиньоль, если будет не слишком холодно, так как это было в январе. Он обещал пойти с ней на гулянье: Маделон ужасно любила народные гулянья. Для первого роза было лучше увидеться на празднике.

Можно сказать, напраздновались мы вволю! Бум! Бум! В глаза, в голову! Еще раз — бум! Вертись! Крутись! Толкайся! Вместе со всеми, с огнями, с шумом и всем прочим! Ну-ка! Побольше ловкости, и смелости, и смеха! Дзинь! Каждый охорашивался в своем пальтишке, принимал независимый вид, немножко свысока смотря на людей, чтобы показать им, что обычно мы развлекаемся в других местах, более шикарных, более дорогих.

Мы делали вид, что все мы хитрые, веселые субчики, несмотря на холодный ветер, с унижительным страхом, как бы не оказаться слишком щедрыми и не пожалеть об этом назавтра и, может быть, в течение целой недели.

Большая карусель отрыгнула музыку. Она никак не может вытошнить «Вальс Фауста», хотя и старается изо всех сил.

В тире Маделон, надвинув шляпу на затылок, стреляет лучше нас.

— Смотри! — говорит она Робинзону. — Никакой дрожи. А ведь сколько я выпила!

Вы представляете себе тон разговора. Мы только что вышли из ресторана.

— Еще раз! — Маделон выиграла бутылку шампанского. — Пиф и паф! И в самую серединку!

Тогда я с ней заключил пари, что на автодроме ей меня не догнать.

— Дудки! — отвечает она в веселом настроении.

Я был рад, что она согласилась. Это был предлог, чтобы подойти к ней поближе. Софья не ревновала. У нее были на то свои причины.

Я хотел бы помириться с Маделон перед тем, как уйти с гулянья. Но она дуется. Не подпускает к себе.

У нее опять портится настроение. Я ожидал, что все это пойдет лучше. Кстати, и внешне она изменилась, и вообще во всем.

Я замечаю, что рядом с Софьей она тускнеет. Ей больше к лицу быть любезной, но она теперь как будто знает какие-то вещи высшего порядка. Меня это раздражает. Я бы с удовольствием надавал ей опять пощечин, чтобы посмотреть, что она сделает или же что она такое знает, чего я недостойн. Но надо улыбаться! Если мы на празднике, то не для того,

чтобы ныть. Надо веселиться.

Она нашла работу у тетки, рассказывает она Софье позже, пока мы гуляем. На улице Роше, у тетки-корсетницы. Приходится ей верить.

Нетрудно было понять уже тогда, что в смысле перемирия встреча не удалась.

Нам бы совсем не надо было встречаться. Софья еще не отдавала себе в этом отчета. Она не чувствовала, что дела только усложнились из-за того, что мы встретились. Робинзон должен был бы меня предупредить, что она до такой степени заупрямилась... Жалко! Ладно! Дзам! Дзам! Напролом! Вперед на «Катерпиллер!» — так это зовется. Я предлагаю, я плачу, чтобы еще раз попробовать приблизиться к Маделон. Но она все избегает меня, она воспользовалась теснотой, чтобы залезть на другую скамейку впереди, с Робинзоном, а я в дураках. Ничего не поделаешь, решаю я сам про себя. Софья наконец понимает и соглашается со мной.

Робинзон и Маделон, должно быть, опять ссорились, пока мы были в «катерпиллере». Она вылезла из этой карусели в полном раздражении. С ней положительно разговаривать нельзя было. Чтобы всех успокоить, я решил устроить конкурс в балагане, где ловили на удочку бутылки. Маделон ворчливо согласилась. Но выигрывала она, как хотела. Она накидывала кольцо прямо на пробку и одним махом вытягивала ее. Раз! Клик! И готово. Хозяин балагана очень удивился. Он передал несколько бутылок шампанского. Это чтобы показать, до чего она была ловка, но она все-таки была недовольна.

— Я эту дрянь пить не буду, — сейчас же объявила она.

Тогда Робинзон ловко откупорил бутылку. Гоп! Это было странно с его стороны, он, можно сказать, никогда не пил.

Мы подходили к жестяной свадьбе. Пиф! Паф! Грустно, до чего я неловок! Я поздравляю Робинзона. Он выигрывает во все игры. Но он даже не улыбается. Можно подумать, что мы их слишком заставляем веселиться. Ничто их не развлекает, не оживляет.

— Мы ведь пришли веселиться! — ору я, не зная больше, что и придумать.

Но им было совершенно все равно, что я тереблю их, что я им кричу это в уши. Они не слышали меня. Я беспокоюсь оглянулся. Но другие делали все, что нужно, для того чтобы веселиться, они вовсе не были похожи на нас, не ковырялись в своих неприятностях. Вовсе нет! Они пользовались праздником. Тут на франк — там на пятьдесят сантимов... Огней... Разговоров, музыки и конфет...

Среди балаганов я сейчас же, проходя мимо, узнал «Тир наций», но я



ничего не сказал остальным. «Пятнадцать лет прошло», — сказал я про себя, совсем про себя...

В эту минуту я был готов на все, только бы отвлечь их от мыслей, но никто мне в этом не помогал. Я очень жалел, что пришел. Маделон все-таки начала смеяться, но смех ее нас вовсе не веселил. Робинзон тоже посмеивался, чтобы не отстать от нее. Софья вдруг начала шутить. Мы нерешительно проходили мимо павильона фотографа, и фотограф заметил нашу нерешительность. Нам вовсе не хотелось дать себя фотографировать, кроме разве Софьи. Но мы так долго мялись перед его дверью, что в результате мы все-таки оказались перед аппаратом. Выставленные на картонном мостике воображаемого корабля «Прекрасная Франция», который он, должно быть, сам соорудил, мы покорно исполняли его приказания. Название было написано на ненастоящих спасательных кругах. Другие клиенты с нетерпением ждали, чтобы мы слезли с мостика, и мстили нам за то, что мы их заставили ждать, все громче и громче находя нас уродами.

Они пользовались тем, что мы не могли двинуться.

Но Маделон ничего не боялась, она их здорово обложила в ответ, с хорошим южным акцентом. Ее хорошо было слышно.

Ответ был хоть куда.

Вспышка магния. Мы мигаем. Каждому по фотографии. Мы еще уродливей, чем были. Дождь проникает через полотно. Ветер открыл наше существование в то время, как мы позировали фотографу; повсюду щели, пальто как не бывало.

Приходится шататься по балаганам. Я не смею предложить вернуться в Виньи. Было еще рано. Сентиментальный орган карусели, воспользовавшись тем, что нас и так уже трясет как в лихорадке, хватает нас за нервы и трясет еще пуще.

От лотка к толпе, от каруселей к лотереям, мы так долго шатались, что подошли к самому концу гулянья, к темному пустому пространству, куда ходили по нужде целыми семьями...

Полуоборот! По дороге обратно мы щелкали каштаны, чтобы возбудить жажду. У нас заболели рты, а есть не хотелось. В каштанах бывают червяки, хорошенькие. Как нарочно, он попался Маделон. Именно с этого момента все и пошло так плохо; до тех пор все сдерживалось, но червяк окончательно вывел ее из себя.

Как раз когда она подошла к краю тротуара, чтобы выплюнуть червяка, Леон что-то сказал, вроде того, чтобы она этого не делала; уж не знаю, что ему втемяшилось, но Леону вдруг ни с того ни с сего не

понравилось, что она пошла плевать. Он ее довольно глупо спросил, уж не попалась ли ей косточка?.. Конечно, таких вопросов не стоит задавать. А тут еще Софья вмешивается в их спор; она никак не могла понять, из-за чего они ссорятся. Она хотела бы знать.

Их еще больше раздражает, что Софья прерывает их; это понятно: она посторонний человек. Как раз в нашу компанию врывается группа каких-то горлопанов и разъединяет нас. Когда мы опять сошлись, Робинзон и Маделон все еще ссорились.

«Ну, теперь пора ехать домой, — подумал я про себя. — Если оставить их вместе еще несколько минут, они нам устроят скандал при всем честном народе. На сегодня довольно».

Полная неудача, надо было признаться.

— Хотите ехать домой? — предложил я ему.

Он смотрит на меня удивленно. Но мне это казалось самым благоразумным и правильным решением.

— Разве вы еще не нагулялись? — прибавляю я.

Он знаком объясняет мне, что лучше было бы спросить сначала Маделон. Можно спросить Маделон, хотя я находил, что это не очень остроумно.

— Ведь она поедет с нами, Маделон, — говорю я наконец.

— С нами? Куда это? — спрашивает он.

— В Виньи, конечно, — отвечаю.

Этого не следовало говорить.

Я опять наговорил лишнее. Но я не мог отступить от своих слов.

— У нас найдется для нее комната, чтобы переночевать в Виньи, — прибавляю я. — В комнатах у нас недостатка нет. Можно будет поужинать вместе, перед тем как лечь спать. Во всяком случае, это будет веселее, чем здесь, где мы мерзнем уже второй час... Это очень легко устроить...

Маделон ничего не отвечала на мои предложения. Она даже не смотрела в мою сторону, пока я говорил, но не пропускала ни одного слова. Но что сказано, того не воротить.

Когда я отстал немного от других, она подошла ко мне и спросила, не собираюсь ли я сыграть с ней какую-нибудь шутку, приглашая ее в Виньи. Я ничего не ответил. Невозможно рассуждать с ревливой женщиной: это бы послужило предлогом еще для бесконечных разговоров. И потом я не знал, кого и к кому она, в сущности, ревнует. Трудно бывает определить чувства, которые порождает ревность. В общем, она ревновала всех ко всем, как это делают все.

Софья не знала больше, как себя вести, но она упорно старалась быть

любезной. Она даже взяла Маделон под руку, но Маделон была слишком взбешена и слишком довольна тем, что она в бешенстве, чтобы позволить отвлечь себя от этого любезностями.

Мы с трудом протиснулись сквозь толпу к трамваю на площади Клиши. Как раз в тот момент, когда мы собирались влезть в трамвай, над площадью прорвалась туча, и дождь полил водопадом. Небеса разверзлись.

Все автомобили сейчас же были захвачены с бою.

— Ты опять хочешь оскорбить меня публично?.. А, Леон? — слышу я, как Маделон вполголоса спрашивает Робинзона.

Плохо дело!

— Я тебе уже надоела?.. Скажи, что я тебе надоела! — начинала она все сначала. — Скажи же! Ведь ты меня нечасто видишь. Но ты предпочитаешь остаться один с ними. Вы, конечно, спите все втроем, когда меня нет?.. Скажи же, что ты предпочитаешь остаться с ними... Скажи. Я хочу это слышать.

После этого она замолкла, и лицо ее сжалось в гримасу вокруг носа, который тянул кверху рот. Мы стояли и ждали на тротуаре.

— Ты видишь, как твои друзья со мной обращаются? Скажи, Леон! — снова начала она.

Но нужно отдать справедливость Леону: он не возражал, он не провоцировал ее, он глядел в другую сторону, на дома, на бульвар, на автомобили.

А ведь он бывал вспыльчив, Леон. Так как она видела, что эти в своем роде угрозы не действуют, она взялась за него с другого боку, попробовала взять на нежность, все продолжая выжидать.

— Ведь я тебя люблю, мой Леон! Ты слышишь? Скажи — я тебя люблю?.. Тебе понятно по крайней мере, что я для тебя сделала, Леон?.. Может быть, мне не надо было сегодня приходить?.. Может быть, ты все-таки меня немножко любишь, Леон? Ведь это невозможно, чтобы ты меня совсем не любил! У тебя же есть сердце, Леон? Немножко сердца... Отчего же ты тогда презираешь мою любовь?.. Ведь мы все вместе когда-то мечтали... Как ты жесток ко мне!.. Ты презираешь мою мечту! Ты осквернил ее. Ты разрушил мой идеал... Неужели ты хочешь, чтобы я не верила больше в любовь? Скажи!.. А теперь ты, значит, хочешь, чтобы я ушла навсегда? Ты этого хочешь? — спрашивала она его, пока лил дождь сквозь навес кафе.

Она была именно такая, какой он ее описывал. Он ничего не выдумал, что касается ее настоящего характера. Я не мог себе представить, что за такой короткий срок она дошла до такой интенсивности чувств, но это

было так.

В шуме уличного движения я сумел шепнуть Робинзону на ухо, что теперь бы надо попробовать отделаться от нее и скорее кончить все это, раз вышла неудача, и удалиться тихо, пока дело не обернулось плохо и пока мы все не рассорились насмерть.

— Хочешь, я найду предлог? — шептал я ему. И мы смоемся каждый сам по себе.

— Только не вздумай этого делать, — ответил он мне. — Не делай этого! Она способна закатить сцену здесь, и тогда ее уже не остановить.

Я не настаивал. Как знать, может быть, Робинзону нравилось, чтобы его публично крыли, и, кроме того, он ее лучше знал, чем я. Когда ливень стал утихать, мы нашли такси. Мы кидаемся к нему и втискиваемся. Сначала мы ничего не говорили. Атмосфера была тяжелая, и потом я лично достаточно уже напугал. Я мог переждать немножко, перед тем как начинать снова.

Я и Леон сели на откидные стулья. В праздничные вечера на дороге Аржантей очень большое движение, особенно до заставы. После заставы еще с час езды до Виньи, из-за тесноты. Трудновато целый час сидеть лицом друг к другу, смотреть друг на друга и ничего не говорить, особенно когда темно и когда немножко беспокоиться за других.

Но как бы то ни было, если бы мы вот так сидели обиженные, но каждый по себе, ничего бы не случилось. Еще сегодня, когда вспоминаю, я придерживаюсь такого мнения.

В общем, из-за меня мы опять заговорили, и тогда ссора возобновилась с новой силой. Мы слишком доверчиво относимся к словам; с виду слова так безобидны, конечно, никак не кажутся опасными, скорее — ветерочки, звуки, выпускаемые ртом, ни холодные, ни жаркие и легко воспринимаемые, как только они проходят через ухо огромной серой мягкой скукой мозга. Мы не опасаемся слов, а несчастье тут как тут.

Есть слова, скрытые среди других. Их трудно отличить от остальных. Но вдруг они заставляют дрожать в вас всю вашу жизнь, всю целиком, все сильное, все слабое. Тогда наступает паника... Обвал... И качаешься, как висельник, над своими переживаниями. Буря нагрянула, прошла слишком сильная для вас, такая буйная, что, казалось бы, невозможно вызвать ее одними переживаниями...

Мы слишком доверчиво относимся к словам — вот мое заключение.

Но надо сначала все рассказать... Такси продвигалось медленно, так как чинили дорогу. «Ррр, ррр!» — урчало оно. Каждые сто метров — канавка. Да еще трамвай впереди! Как всегда болтливый, ребячливый, я

выражал нетерпение... Мне была невыносима эта езда, как за гробом, и эта нерешительность во всем. Я поспешил прервать молчание, чтобы постараться узнать, что за ним кроется. Я наблюдал или — вернее — старался наблюдать, так как почти что ничего не было видно за Маделон, в углу налево. Она смотрела в окно, в сторону пейзажа, в сторону ночи, по правде сказать. Я с досадой понял, что она все так же упряма. Я со своей стороны — форменный банный лист! Я заговорил с ней только для того, чтобы заставить ее повернуть голову в мою сторону.

— Маделон, послушайте, — спрашиваю я ее, — может быть, у вас есть какой-нибудь проект развлечения, который вы не решаетесь нам доверить? Может быть, вы хотели бы куда-нибудь зайти по дороге, перед тем как вернуться? Скажите, пока не поздно...

— Развлекаться! Развлекаться... — отвечает она, будто я ее оскорбил. — Вы только об этом и думаете. Как бы время провести... — И вдруг она начала вздыхать, глубоко и ужасно трогательно.

— Я стараюсь, как могу, — отвечаю я ей. — Сегодня воскресенье.

А ты, Леон? — спрашивает она тогда его. — Ты тоже стараешься, как можешь, а?

Удар был прямой.

— Как же! — отвечает он ей.

Мы проезжали мимо фонарей, и мне было их видно. Они оба злились. Тогда Маделон нагнулась, чтобы поцеловать его. Несомненно, в этот вечер все делали то, чего не надо было делать.

Такси опять двигалось медленно: впереди нас были грузовики. Ему как раз не хотелось, чтобы его целовали, и он оттолкнул ее, нужно сказать, довольно грубо. Это, конечно, было не очень любезно, особенно при нас.

Под мостом железной дороги, под которым всегда такой грохот, я все-таки слышу, как она опять его спрашивает:

— Ты не хочешь меня поцеловать, Леон?..

Все сначала. Он не отвечал. Тогда она вдруг повернулась ко мне и разразилась. Она не могла снести обиду.

— Что вы с ним сделали? Отчего он стал такой злой? Посмейте только сказать мне!.. Что вы ему еще наговорили?.. — Вот как она меня провоцировала.

— Ровно ничего, — отвечаю я ей. — Ничего я ему не говорил! Меня ваши дела не касаются.

И самое замечательное было то, что я действительно ничего Леону не говорил о ней. Это было его личное дело — расходиться с ней или нет. Это меня не касалось, но убедить ее в этом все равно было невозможно: она

потеряла всякое соображение.

И мы опять начали молчать, сидя друг против друга в такси, но воздух был до того насыщен ссорой, что долго это вынести было невозможно. Она заговорила со мной тонким голосом, которого я за ней не знал еще. Монотонный голос человека, на что-то решившегося. Она сидела в самой глубине такси, в уголке, и я не мог разобрать, что она делает; меня это очень смущало.

Софья держала меня за руку. Она просто не знала, куда ей деваться, бедная.

Когда мы проехали Сент-Уан, Маделон начала осыпать Леона упреками, с новой силой, задавая ему теперь без конца вопросы относительно его чувств и верности. Софье и мне было очень неловко. Но Маделон так разгорячилась, что ей было безразлично, что мы слушаем, — наоборот. Конечно, с моей стороны было довольно глупо сажать ее с нами в эту закрытую коробку, в которой каждое слово так звенело: при ее характере это ее еще больше раздражало разыграть сцену. Такси опять-таки было моей неудачной выдумкой...

Леон не реагировал никак. Во-первых, он устал от проведенного вместе вечера, во-вторых, он вообще всегда недосыпал — это было его болезнью.

— Успокойтесь! — удалось мне все-таки сказать Маделон. — Вы объяснитесь, когда мы приедем. Вы успеете...

— Когда мы приедем! — отвечает она мне вызывающим тоном. — Приедем! Никогда мы не приедем!.. И вообще мне надоело ваше поведение, — продолжала она. — Я честная девушка... Вы меня не стоите все вместе взятые... Свиньи!.. Не старайтесь меня обойти!.. Вы недостойны меня понимать... Все, что чисто и прекрасно, для вас недоступно!

В общем, она старалась оскорбить наше самолюбие и так далее, и как я ни старался занимать возможно меньше места на моем откидном стуле и не дышать, чтобы не подливать масла в огонь при каждой перемене скорости, она опять впадала в транс. В такие минуты достаточно самого пустяка, чтобы разразилась драма; а ей как будто доставляло удовольствие приводить нас в отчаяние, она не могла остановиться и не показать нам свой характер.

— Не воображайте, что все это как-нибудь обойдется! — продолжала она грозить нам. — И что вы просто отделаетесь от меня. Как бы не так! Примите это к сведению! Гады! Из-за вас я такая несчастная! Подождите, я вас еще встряхну!

Она наклонилась к Робинзону, схватила его за пальто и начала трясти обеими руками. Он не старался освободиться. Ему даже как будто доставляло удовольствие, что она так горячится из-за него. Он посмеивался — это было странно — и качался, опустив голову, согнув шею, в то время как она кричала на него.

В тот момент, как я собрался все-таки вступить, она накинулась на меня и начала выкладывать все, что у нее давно было на сердце. Теперь была моя очередь. И при всех!

— Сидите смирно, сатир! — вот что она мне сказала. — Это не ваше дело. Ваши грубости, мосье, мне надоели. Слышите? А? Надоели! Если вы еще раз дотронетесь до меня, я, Маделон, научу вас, как нужно себя вести... Обманывать своих друзей и бить их жен!.. Нахальства у этого подлеца! И вам не стыдно?

Когда Леон услышал эти истины, он как будто немножко проснулся. Он больше не смеялся. Я даже на минутку подумал, что выйдет драка, но не было места, чтобы драться: все-таки четверо в такси. Меня это немножко успокаивало. Было слишком тесно.

Тем более что мы теперь ехали довольно быстро по бульварам Сены и слишком трясло даже для того, чтобы просто двинуться.

— Пойдем, Леон, — приказала она ему тогда. — Пойдем, в последний раз прощу тебя! Слышишь, пойдем! Брось их! Слышишь, что я тебе говорю?

Ну просто комедия!

— Леон, останови такси! Останови такси, или я сама его остановлю!

Но Леон не двигался. Его как будто привинтили к месту.

— Значит, ты не хочешь? — начала она опять. — Не хочешь?

Что касается меня, она меня предупредила, чтобы я не совался. Со мной она была в расчете.

— Не хочешь? — повторяла она.

Дорога впереди была свободна, такси быстро катилось, и нас еще больше трясло. Нас бросало, как пакеты, туда-сюда.

— Хорошо, — решила она, так как он не отвечал. — Хорошо! Пускай! Раз ты сам этого добиваешься. Завтра! Слышишь, завтра же я пойду к комиссару, и я ему объясню, комиссару, как это случилось, что она упала с лестницы, старуха Анруй! Слышишь, Леон? Нравится тебе это?.. Теперь ты слышишь?.. Или ты сейчас же уйдешь со мной, или я завтра же пойду к нему!.. Что же, идешь ты или нет?

Угроза была ясна.

Он все-таки наконец решил ей ответить, произнести несколько слов.

— Ты сама причастна к делу. Не тебе бы говорить...

Но это совсем не успокоило ее, наоборот.

— Плевать я хотела! — ответила она ему. — Причастна! Ты что же хочешь этим сказать? Что нас обоих посадят? Да я буду очень рада...

И она начала истерически смеяться вдруг, как будто она никогда не слышала ничего более радостного.

— Я буду рада, говорю тебе. Мне нравится тюрьма. Только не воображай, что из-за твоей тюрьмы я пойду на попятный... Тюрьма? Да пожалуйста, сколько угодно! С тобой, а, стервец?.. Будешь ты еще плевать на меня? Я вся твоя, но и ты — мой. Отчего ты не остался со мной там? Я люблю только один раз, мосье. Я не какая-нибудь потаскуха.

Это был вызов Софье и мне в то же время. Она имела в виду верность и респектабельность.

Несмотря ни на что, такси продолжало ехать, и он не решался его остановить.

— Значит, не хочешь? Предпочитаешь отправиться на каторгу?.. Хорошо! Ты плюешь на то, что я на тебя донесу?.. Что я тебя люблю?.. На это ты тоже плюешь? Ты плюешь на мое будущее?.. Тебе на все наплевать вообще? Скажи!

— Да, до некоторой степени, — ответил он. — Ты права... Мне плевать на тебя, как на всякую другую, не больше... Пожалуйста, не думай, что я хочу тебя обидеть... Ты очень милая в сущности... Но я не хочу больше, чтобы меня любили... Мне это противно...

Она этого не ожидала: она так была поражена, что даже не знала, как продолжать сцену. Она растерялась, но все-таки продолжала:

— А, так тебе это противно! То есть как это — противно?.. Объяснись, если можешь, неблагодарный.

— Да не ты мне противна, а все мне противно, — ответил он ей. — Мне не хочется... Не надо на меня обижаться за это...

— Как это ты сказал? Повтори! И я, и все? — Она старалась понять. — И я, и все? Объяснись, не говори по-китайски. Скажи мне толком при них, отчего я тебе вдруг стала противна?

— Все мне противно теперь. Не только ты. Все... Особенно любовь! Твоя и чужая... Знаешь, на что похоже твое ломанье? Это похоже на любовь в уборной! Понимаешь теперь?.. Напридумывала себе чувства, чтоб я тебя не бросал, а если хочешь знать, для меня твои чувства — оскорбление... Ты и сама не подозреваешь, какая ты сука! Повторяешь чужую блевотину. Думаешь, что так и надо. Наговорили тебе, что лучше любви ничего нет и что на любви всегда и кого угодно проведешь... Ну, а



мне вот нахаркать на их любовь... Слышишь?.. Меня ты на этом не проведешь... на их подлой любви... Поздно! Меня на этом уже не проведешь, вот и все. Оттого ты и сердишься... Нет, скажи, пожалуйста, тебе действительно еще хочется любви среди всего того, что происходит?.. Всего, что мы видели?.. Или ты ничего не видишь?.. Скорее всего, тебе наплевать! Представляешься нежной натурой, когда ты просто грубое животное!.. Тянет тебя на падаль? С подливочкой из нежностей? Подливочка-то отшибает запах! Ну, а я так все равно чую его. У тебя, верно, нос заложен. Нужно дойти до полного отупения, чтобы не чувствовать отвращения... Ты стараешься понять, что встало между тобой и мной?.. Вся жизнь встала между тобой и мной... Довольно этого с тебя?

— У меня везде чисто, — возмутилась она. — Можно быть бедной и чистоплотной. Когда это ты видел, чтобы у меня была грязь? Ты хочешь меня оскорбить? Может быть, я почище тебя! Ноги у тебя грязные!

— Да я никогда этого не говорил, Маделон! Я ничего такого не говорил. Когда же я говорил, что у тебя грязь?.. Ты сама видишь, что ничего не понимаешь.

Это все, что он мог придумать, чтобы успокоить ее.

— Ты ничего такого не говорил? Ничего? Нет, вы послушайте только, как он меня смешивает с грязью и считает, что он ничего такого не говорил! Нет, надо убить его, чтоб он перестал врать! Для такой сволочи мало тюрьмы! Паршивый, гнилой кот!.. Мало тюрьмы!.. Голову с него надо снять!

Она не хотела успокоиться. Ссора их становилась непонятной. Можно было еще разобрать ругательства среди грохота такси, шума колес по дождю и ветра, который порывами накидывался на дверцы такси. Угрозы стояли разделяли их.

— Это низость, — повторяла она. Она не могла выговорить ничего другого. — Это низость!

Потом она попробовала разыграть патетическую сцену.

— Пойдешь ты со мной? — спрашивает она. — Пойдешь, Леон?.. Раз!.. Пойдешь?.. Два!.. — Она подождала. — Три!.. Значит, не пойдешь?..

— Нет! — ответил он, не двинувшись. — Делай что хочешь! — прибавил он даже.

Таков был его ответ.

Она, должно быть, отодвинулась в самую глубь такси. Должно быть, она держала револьвер двумя руками, потому что, когда раздался выстрел, он шел как будто у нее из живота, и за ним, почти подряд, еще два выстрела... Такси наполнилось наперченным дымом.

Такси продолжало мчаться. Робинзон упал на меня, на бок, рывками бормоча:

— Гоп!.. гоп!..

Шофер, наверное, слышал. Сначала он только замедлил ход, чтоб прислушаться. Потом остановился у фонаря.

Как только он открыл дверцу, Маделон сильно толкнула его и выскочила из такси. Со всех ног побежала она по крутому откосу. Она исчезла в темноте поля, в самой грязи. Я кричал ей вслед, но она была уже далеко.

Я не знал, как мне быть с раненым. Отвезти его в Париж было удобнее в известном смысле. Но мы были уже близко от дома. Жители вокруг удивились бы, в чем тут дело... Мы с Софьей положили его, подоткнув со всех сторон наши пальто, в угол, откуда стреляла Маделон.

— Осторожно! — попросил я шофера.

Но он все-таки ехал слишком быстро, он спешил. Робинзон еще больше стонал от тряски.

Когда мы подъехали к дому, шофер не хотел даже сказать нам свою фамилию, он боялся, что у него могут быть неприятности с полицией, что придется выступить свидетелем.

Он утверждал, кроме того, что на подушках наверняка пятна крови. Он хочет уехать сейчас же, не дожидаясь. Но я записал его номер.

Две пули попали Робинзону в живот, может быть, третья тоже, я еще не знал наверное.

Как только мы подъехали к воротам, я послал консьержку за Парапином в его комнату. Он сейчас же спустился, и вместе с ним и служителем мы отнесли Робинзона на его кровать. Мы раздели его. Два отверстия одно над другим; одна пуля пролетела мимо.

Если бы я был на месте Леона, я предпочел бы внутреннее кровоизлияние: кровь заливает живот, быстрый конец. А воспаление брюшины — это значит инфекция, долгая штука.

Живот его раздулся. Леон смотрел на нас, он знал уже, что его ждет, он скулил, но не очень. Это уже было похоже на покой. Я видел его больным в разных положениях, но на этот раз все было по-другому: и вздохи, и глаза, и все. Как будто он удаляется с каждой минутой и его больше не задерживают. Пот катился по его лицу такими крупными каплями, точно он плакал всеми порами лица.

В такие минуты немножко неловко быть бедным и сухим. Ощущаешь, что в тебе нет ничего, чем бы ты мог помочь кому-нибудь умереть. Остались в тебе только чувствительность, полезные для повседневной жизни, для

комфорта, для собственной жизни, для хамства. Доверие потеряно по дороге. Жалость, мы гнали ее, вытравляя из тела. Загнали к самому выходу из кишечника вместе с испражнениями. Туда ей и дорога! — думаешь себе. И я стоял перед Леоном, чтобы соболезновать, и никогда еще я не чувствовал себя так неловко. Я не знал, как быть...

Он немножко пришел в себя, когда Парапин впрыснул ему морфий. Он даже нам кое-что рассказал по-поводу того, что случилось.

— Лучше, чтобы кончилось так... — сказал он. И потом еще: — Это не так больно, как я думал...

Когда Парапин его спросил, где он чувствует боль, уже видно было, что он далеко, но что он еще хочет нам что-то сказать. У него не хватало сил и средств. Он плакал, задыхался и тут же смеялся. Он не был похож на обыкновенного больного, мы не знали, как себя с ним держать.

Казалось, что теперь он хочет помочь нам жить. Казалось, он ищет для нас каких-то радостей, из-за которых стоило бы жить. Он держал нас за руку. Я целовал его. Это все, что остается делать, не боясь ошибиться, в таких случаях. Мы ждали. Он ничего больше не сказал.

Позже, может быть, через час, не больше, началось кровоизлияние, обильное, внутреннее. Оно унесло его.

Он скончался, задохнувшись. Он кончился разом, как будто с разбегу, прижимаясь к нам обеими руками.

И потом он вернулся к нам почти тут же, скорчившись, уже отяжелев полным весом мертвеца.

Мы встали, высвободили руки. Его руки остались в воздухе, негнущиеся, вытянутые, желто-синие под светом лампы.

Теперь Робинзон в этой комнате казался чужестранцем, который приехал из ужасной страны и с которым никто не смеет говорить.

Парапин не потерялся. Он послал за полицией. Дежурным оказался как раз Гюстав, наш Гюстав.

— Не было печали! — заметил Гюстав, как только он вошел и увидел.

Потом он присел на стул, чтобы отдышаться и выпить стаканчик, так как со стола еще не было убрано после обеда служителей.

— Так как это убийство, то лучше бы снести его в комиссариат, — предложил он, прибавив: — Хороший был парень Робинзон: муки не обидел бы. Хотел бы я знать, за что она его убила?

Мы пошли с ним наверх, за носилками. Было слишком поздно, чтобы будить кого-нибудь из персонала, и мы решили, что сами перенесем тело в комиссариат. Комиссариат находился далеко, за шлагбаумом, последний

дом. Пошли мы. Парапин держал носилки за перед. Гюстав Мандамур — за другой конец. Только они шли не очень прямо, ни тот, ни другой. Софье даже пришлось помочь им, когда они спускались по лестнице. Тогда же я заметил, что Софья не очень взволнована. А ведь это случилось совсем рядом с ней, так близко, что пуля этой сумасшедшей могла попасть и в нее. Но я уже заметил — при других обстоятельствах, — что ей надо раскачаться, чтобы прийти в волнение. Не то чтобы она была холодна, нет, ведь это на нее налетело, как вихрь, но не сразу.

Я хотел пройтись с ними немножко, чтобы убедиться, что это действительно конец. Но вместо того, чтобы идти за ними и за носилками, я шел вкривь и вкось по дороге и в конце концов свернул на тропу, которая идет между заборами, а потом отвесно спускается к Сене.

Я следил через заборы за тем, как они удаляются со своими носилками, углубляясь в туман, который душит их, затянувшись за ними, как шарф. На набережной, внизу, вода сильно толкала баржи. Из долины Женневилье тянуло холодом. Холод облегал зыбь реки и блестел под арками.

Там, далеко, было море. Но сейчас мне некогда было мечтать о море. У меня без того было много дел. Как я ни старался потерять себя, чтобы жизнь моя не вставала опять передо мной, я повсюду наталкивался на нее. Я опять возвращался к самому себе. Конечно, я больше не буду шататься. Предоставляю другим... Мир заперт. Мы подошли к самому краю!.. Как на ярмарке!.. Страдать — этого еще мало, надо еще уметь начинать всю музыку сначала, идти за новым страданием... Но я предоставляю это другим. Во-первых, я больше не могу ничего перенести, я вовсе не подготовлен к этому. А ведь я не дошел в жизни даже до той точки, до которой дошел Робинзон!.. Мне это не удалось. Я не нажил ни одной серьезной идеи, вроде той, которая помогла ему отправиться на тот свет. Большая идея, больше еще, чем моя большая голова, больше всего страха, который в ней жил, прекрасная идея, великолепная и очень удобная для того, чтобы умереть... Сколько же мне нужно было бы жизней, чтобы я тоже приобрел идею, которая была бы сильнее всего на свете? Это сказать невозможно. Мои идеи гуляют у меня в голове с большими промежутками; они похожи на свечечки, негордые, мигающие, они дрожат всю жизнь среди отвратительного мира, ужасного...

Прятели искали меня уже около часа. Тем более, что они видели, в каком я был неблестящем состоянии, когда их покинул. Гюстав Мандамур первый заметил меня под фонарем.

— Эй, доктор! — крикнул он мне. (Ну и голосище же был у

Мандамура!) — Идите сюда! Вас спрашивает комиссар. Вы должны дать показание. Знаете, доктор, — прибавил он, но уже на ухо, — вы, право, неважно выглядите.

Мы прошли по двум-трем улицам, прежде чем увидели фонарь комиссариата. Теперь уже не заблудимся. Гюстава мучил вопрос о протоколе. Он не смел мне этого сказать. Он уже всем дал свой протокол для подписи, а в нем еще много чего не хватало.

У Гюстава была большая голова — в моем роде, мне даже было впору его кепи, а это не шутка, — но подробностей он не запоминал.

Мысли нелегко приходили ему в голову, и он с трудом мог выразить их словами, а тем более письменно. Паррапин помог ему, но Паррапин не видел, как драма произошла. Ему пришлось бы выдумывать, а комиссар не хотел, чтобы протокол выдумывали, он требовал, как он выражался, одну только правду.

Меня трясло, когда мы поднимались по лестнице комиссариата. Я тоже не много чего мог рассказать комиссару, я себя действительно плохо чувствовал.

Они положили тело Робинзона тут же, перед шкафами с карточками префектуры. Окурки, афиши, надписи «Смерть фараонам», которые не удалось отмыть.

— Вы заблудились, доктор? — спросил меня секретарь очень мило, когда я наконец явился.

Мы все так устали, что заговаривались.

Наконец мы сговорились относительно выражений показания и относительно пуль. Одна застряла в позвоночнике. Мы не могли ее найти. Так его с ней и похоронили. Другие мы нашли. Они застряли в такси. Сильный револьвер!

Софья тоже пришла, она ходила за моим пальто. Она целовала меня и прижималась ко мне, как будто я тоже собирался умереть или улетучиться.

— Да я никуда не уйду! — повторял я ей на все лады. — Я не уйду, Софья!

Но успокоить ее было невозможно.

Вокруг носилок завязался разговор с секретарем комиссара, которому все это было не в диковинку, как он говорил: сколько он их перевидал, убийств, и не убийств, и несчастных случаев тоже! Он даже собирался нам рассказать разом все, что он знал и видел. Мы не смели уйти, чтобы не обидеть его. Он был такой любезный. Ему было приятно разговаривать с образованными людьми, а не с хулиганами. Чтобы не обидеть его, пришлось немножечко задержаться у него в комиссариате.

Мы увели с собой Мандамура и Софью, которая еще изредка обнимала меня; она была полна силой нежности, беспокойства, тело и сердце ее были полны этой силой нежности, прекрасной силой. Она передавалась мне. Мне это мешало; сила эта принадлежала не мне, а мне нужна была моя собственная, чтобы сдохнуть в один прекрасный день так же великолепно, как Леон.

Мне некогда было теперь терять время на кривлянья. За дело! — подгонял я себя. Но ничего не получалось.

Она не хотела даже, чтоб я вернулся посмотреть еще раз на покойника. Так я и ушел, не оглянувшись. «Закрывайте дверь!» — было написано.

Парапину опять хотелось пить. Должно быть, от слишком длительных для него речей. Проходя мимо трактирчика у канала, мы долго стучали в ставни. Это мне напомнило дорогу в Нуарсер во время войны. Над дверью такой же огонек, готовый погаснуть.

Наконец сам хозяин открыл нам. Он ничего не знал. Мы ему все рассказали. «Любовная драма», — как это называл Гюстав.

Трактирчик открывался на заре из-за матросов. Шлюзы медленно поворачиваются к концу ночи. Потом весь пейзаж оживает и начинает работать. Берега медленно отделяются от реки, поднимаются, встают по обе стороны воды. Опять все видно, все просто, все жестко. Заборыстроек, тут вот, там и дальше по дороге идут издалека люди. Они процеживаются через грязный день продрогшими кучками. Они начинают с того, что умывают себе лицо светом, проходя мимо зари. Они идут дальше. Хорошо можно различить только их бледные простые лица, все остальное еще принадлежит ночи. Когда-нибудь и им придется сдохнуть. Как они с этим справятся?

Они идут к мосту. Потом они исчезают в долине, и приходят другие, все идут люди, еще бледнее, коша день подымается со всех сторон. О чем они думают?

Трактирщик хотел, чтобы ему рассказали все подробности драмы.

Его звали Водескаль, хозяина; чистый такой парень, с севера.

Тогда Гюстав взялся ему рассказывать все, как было.

Он бубнил все одно и то же, при каких обстоятельствах это случилось, но ведь не это было важно; мы уже начинали теряться в словах. И потом, так как он был пьян, он все начинал сначала. Рассказывать же ему было совершенно нечего, ну совсем нечего. Я бы еще немножко послушал, тихо, как во сне, но другие вдруг начинали опровергать его слова, и он рассердился.

В бешенстве он ударил изо всех сил по печурке. Все катится, все

падает: труба, решетка и горящие угли. Силищи было у Мандемура на четверых.

Кроме того, он тут же решил продемонстрировать нам настоящий «танец угля». Снять башмаки и прыгнуть прямо на горящие угли.

У него была неприятная история с хозяином по поводу автомобиля, на котором не хватало печати. Водескаль был человек хитрый: уж очень на нем всегда были чистые рубахи; у вполне порядочных таких рубах не бывает, следовало его остерегаться. Злопамятный, осведомитель. Набережная полным-полна ими.

Парапин сразу догадался, что он искал, к чему бы придраться, чтоб Мандамура выставили со службы за пьянство.

Парапин не позволил ему сплясать «танец огня» и начал его стыдить. Мандамура толкнули к концу стола. Он там и свалился наконец, послушный, ужасно вздыхал и распространял вокруг себя запах. Он заснул.

Издали раздался гудок буксирного парохода; его зов перешел мост, еще одну арку и еще одну, шлюзы, еще один мост, далеко, еще дальше... Он звал к себе все баржи реки, все, и весь город, и все небо, всю деревню и нас, он все увозил с собой, и Сену тоже, все, чтобы и разговору больше не было о них.

## **Лев Токарев**

### **Послесловие**

Habent sua fata libelli...<sup>[8]</sup>

Судьба романа Луи-Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи» удивительна изобилует прямо-таки захватывающе детективными моментами. Никому не известный врач для бедных из парижского пригорода, доктор Луи Детуш, который до этого не напечатал ни одной строчки художественной прозы, за пять лет создал огромный роман, повергнувший в изумление весь тогдашний литературный мир Франции. «Роман невозможно классифицировать и трудно дать ему определение по причине его оригинальности», — справедливо отмечалось в аннотации на обложке первого издания.

Но это дерзко-новаторское произведение едва ли не волею случая пробилось к читателю. Начать с того, что рукопись романа не сохранилась: уцелела лишь машинописная копия с авторской правкой. Сперва Селин предлагал «Путешествие...» малоизвестным издателям Бассару и Эжену Фигьеру, которые не смогли опубликовать роман. Затем, весной 1932 года, он передал книгу знаменитому издательству «Галлимар», где ее прочли, в частности, критик Бенжамен Кренье и Андре Мальро, предложившие автору несколько смягчить резкости стиля и произвести сокращения, от чего Селин категорически отказался. (Кстати, здесь уместно напомнить, что за пять лет до этого «Галлимар» уже отверг сатирическую пьесу Луи Детуша «Церковь»). После этого Селин отдал «Путешествие...» молодому издателю Роберу Деноэлю, кому рукопись была доставлена... без имени и адреса автора. К счастью, доктора Луи Детуша удалось разыскать, подписать с ним контракт на издание романа, который и появился в парижских книжных магазинах 15 октября 1932 года.

Вряд ли Робер Деноэль, выпустивший роман тиражом три тысячи экземпляров, мог тогда предполагать, что «Путешествие на край ночи» станет во французской литературе XX столетия самым значительным событием после эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», будет переведено на десятки языков и множество раз переиздано. Селин дебютировал шедевром.

Произошел любопытный феномен: не дойдя еще до широкого читателя, роман вызвал небывалую по ожесточенности полемику в прессе



и критике. Робер Деноэль даже утверждал, что за два месяца он собрал пять тысяч вырезок из газет и журналов, где речь шла о «Путешествии на край ночи». «Эта книга может вам нравиться или вызывать вашу ненависть, но она не оставит вас равнодушными», — писал еженедельник «Грэнгуар».

Так оно и случилось: наутро после выхода своего первенца Селин проснулся знаменитым. Но у этой быстрой славы оказалась и своя печальная для Селина изнанка; самой престижной во Франции Гонкуровской премии писатель так и не получил. Ему пришлось довольствоваться премией Теофраста Ренодо. Будучи человеком обостренной чувствительности, мнительным и злопамятным, Селин болезненно переживал неудачу с Гонкуровской премией, несмотря на шумный успех «Путешествия...» стал ощущать себя изгоем, отверженным в современной литературе.

Однако основу легенды о «проклятом поэте» Селине следует искать глубже, и прежде всего в непонимании его шедевра критиками, писателями и большинством читателей начала тридцатых годов.

Роман Селина был воспринят как неслыханно правдивое, откровенное в своей жестокой натуралистичности изображение судьбы «маленьких людей» при капитализме (в те времена господства идеологии еще не боялись открыто рассуждать об «измах»). Хотя сам Селин в те годы прокламировал отчужденность от политики, отказывался примкнуть к какой-либо из многочисленных литературных школ и принципиально отвергал «ангажированную» литературу, «Путешествие...» интерпретировалось критикой не столько с эстетических, сколько с социально-политических позиций. «У меня нет мнений, — заявлял Селин, — анархистом я был, таковым и останусь навсегда». Но вопреки этому автора гениального романа воспринимали как человека левых взглядов, о чем можно судить по высказываниям французских газет той эпохи.

«Разве мы, анархисты, можем не симпатизировать этому вечно неудовлетворенному человеку, его абсолютной непримиримости к войне и ее ужасам, к старому, глубоко прогнившему буржуазному обществу?» — писала газета «Анархист» 30 декабря 1932 года.

Более сдержанно высказывался о романе Селина писатель-коммунист Жан Фревил в газете «Юманите»: «Селин выносит не подлежащий обжалованию приговор гниющему господствующему классу, но в его Апокалипсисе нет итогового вывода... Он не видит пролетариата — новой силы, революционного класса, который подхватит из слабеющих рук буржуазии факел цивилизации... Селин остается чужд всему, что

заставляет сильнее биться наши сердца»<sup>[9]</sup>.

Как это ни парадоксально, но многие исследователи творчества Селина до сих пор считают, что он был «подлинно народным писателем», обличителем язв капитализма, печальником за «униженных и оскорбленных». Писатель Жан-Луи Бори говорит даже о «глубоко революционном гении» Селина, утверждая, будто он «не поддается буржуазии». Франсуа Жибо, автор солидной трехтомной биографии Селина, полагает, что писатель «вел открытую войну против социального порядка, чьи несправедливость и лицемерие ненавидел».

В начале 1930-х годов большая часть французской, да и советской, критики не поняла сути «Путешествия на край ночи». Ее заворожили резкие выпады Селина против капитализма, войны и колониализма. Чудовищные картины обесчеловечивания «маленького человека» и «свинцовых мерзостей жизни» были восприняты как социальное бунтарство, хотя главной целью писателя отнюдь не была критика буржуазной цивилизации. Селин ставил своей творческой задачей метафизическое развенчание жизни и человека, создание грандиозной — в духе Рабле и Свифта — сатиры на убожество человеческое. Ближе других к пониманию романа Селина подошел его друг, известный французский прозаик Марсель Эме, который назвал «Путешествие на край ночи» «великой поэмой о ничтожестве человека». Это подтверждает и самооценка Селина, писавшего в предисловии к послевоенному переизданию романа: «Единственно по-настоящему злая из всех моих книг — это „Путешествие на край ночи“. Я себя понимаю...»

Селин вовсе не был «цивилизованным», он обличал проказу цивилизации вообще. Как не вспомнить здесь создателя «Улисса» Джеймса Джойса, который саркастически называл цивилизацию XX века «современной сифилизацией».

Роман Селина потрясал и продолжает потрясать безысходным отчаянием автора, его полным неверием в человека, которого писатель считал существом абсолютно посредственным, убогим, источающим ненависть, злобу, зависть, алчность, похоть, жестокость, низость, глупость и пошлость, способным лишь на редчайшие проявления сострадания и нежности к ближнему своему. «Я не верю в людей», — признавался Селин в письме к историку искусств Эли Фору. «Я раздавлен жизнью», — писал он Франсуа Мориаку. В представлении писателя жизнь бессмысленна; действительность — это пустые, никчемные «шум и ярость», в которых не найти даже проблеска надежды. Человечество страдает потому, что оно проклято, хотя необходимо подчеркнуть: Селин не верит в Бога или какие-

либо высшие, идеальные, светлые силы. Над жизнью и личностью властвует неумолимое время, которое, говоря словами Г. Р. Державина «уносит все дела людей».

У Селина человек — мерзавец, «тварь дрожащая», жалкий раб «хозяев жизни», к которым писатель причисляет богатых и лгунов, что держат в повиновении людей, этаких лилипутов Свифта или глупых «пингвинов» Анатоля Франса. Общество, утверждает Селин, не имеет никакого отношения к страданиям отдельных личностей. Во всех своих бедах виноват сам человек, и эта жалкая, охваченная страхом, самовлюбленная мокрица не заслуживает лучшей участи, чем гниение и смерть. Жизнь по Селину — это «смерть в кредит», истина — это бесконечная предсмертная агония. Вселенная абсурдна и непостижима, люди отделены друг от друга ледяными стенами непонимания и недоверия. Герой романа Селина Фердинанд Бардамю — персонаж явно автобиографический — не раз побывал на краю ночи и убедился, что тьма человеческого безумия и мерзости бесконечна. Ослепленному глупостью и подлостью людей Бардамю мир кажется громадным сумасшедшим домом, где, дожидаясь неизбежного конца, терпеливо разлагаются несчастные призраки.

В основе мизантропической философии Селина лежит глубокое убеждение писателя в том, что убожество (*misère*) составляет главную характеристику человека. Можно согласиться с французской исследовательницей творчества писателя Н. Дебри Панэль, которая считает, что Селин в романе «Путешествие на край ночи» «стоит над всякой политикой», и оригинальность его подхода к жизни видит в решении им человеческих проблем независимо от вопросов политических. С точки зрения Селина, любая политика основывается на социальной лжи, убожество же человека объясняется его непреодолимой склонностью к иллюзиям, самообману, саморазрушению, тягой к жестокости, безобразию и смерти. В истолковании Селина убожество — категория вечная, неизменная, почти мистическая. Поэтому преодолеть ее не дано ни одной, пусть даже самой справедливой, общественной системе.

Люди, с точки зрения Селина, делятся на богатых и бедных, слабых и сильных, на тех, в чьей душе «звучит музыка», и тех, кто глух ко всему на свете, хотя они в равной мере «убоги» и подвержены действию неумолимых законов распада и смерти. Дух бессилен победить эти «исходные данные» человеческого существования. «Я не знаю духа, — писал Селин. — Я работаю на нервах. И никогда не занимаюсь логикой». По мнению писателя, жизнь не подлежит оценке с высоты нравственного, социального или эстетического идеала: ведь она всего-навсего «смерть в

кредит». Героиня одноименного, второго романа Селина «оценивала жизнь снизу, а значит, оценивала верно». Вот почему Селин неизменно натуралистичен, даже физиологичен в изображении человека, часто шокирует читателя грубой непристойностью своих описаний. Правда, в этом Селин следовал традиции натуралистического романа (на память сразу приходят «Западня» и «Земля» Эмиля Золя, «Ад» Анри Барбюса) и модной в его время популистской литературы (например, нашумевшие романы хорошего знакомого Селина Эжена Даби «Отель у Северного вокзала» и «Крошка Луи»).

Однако утрированный натурализм в показе тошнотворного убожества жизни и человека у Селина имеет мало общего с реалистическим изображением действительности. Андре Жид тонко отмечал, что «реальность, которую рисует Селин, это вызываемая ею галлюцинация». Современный французский критик П. Вандром также подчеркивал, что «для Селина действительность — это бред». Бред, транс, лихорадка — таковы ключевые понятия селиновской поэтики.

Писатель настаивал, что путешествие Фердинанда Бардамю «полностью воображаемое», что оно — «по ту сторону жизни». Селин говорил, что ему «необходимо войти в бред», чтобы писать. Бред — это как бы второе состояние сознания; он позволяет писателю (и его герою) оторваться от тусклой прозы будней, одаряет своего рода поэтическим ясновидением, которое озаряет убожество мира светом какой-то судорожной, пугающей, ослепительно причудливой красоты. Фердинанд Бардамю очень часто воспринимает все окружающее сквозь лихорадочный бред. Достаточно вспомнить его прокаленные солнцем африканские впечатления или восприятие Нью-Йорка — города, который «стоит стоймя». Эти страницы романа напоминают стихотворения в прозе Артюра Рембо «Озарения». Сплав реального и «бредового» у Селина вызывает в памяти полотно его любимых художников Брейгеля и Босха.

У Фердинанда Бардамю, который «решил быть трусом», не звучит в душе музыка, что заставила бы жизнь плясать под его дудку, и поэтому все: вселенная, война, люди, любовь, даже природа — представляется ему сплошным кошмаром, оказывающимся более реальным, чем сама реальность. Селин с юношеских лет был одержим навязчивой идеей какой-то грандиозной катастрофы, Апокалипсиса, что неминуемо произойдет. Одну катастрофу — первую мировую войну — он сумел пережить; «никогда я не оправлюсь от кошмара войны» — писал он своему другу Жозефу Гарсену, отдельными чертами которого наделил Бардамю.

Большой страшной прелюдией к «Путешествию на край ночи»

неслучайно являются военные и тыловые эпизоды. Именно они задают тон книге, которая после них становится пикарескным романом о поиске смысла жизни. Французский критик Морис Бардеш очень верно писал, что в романе Селина нет «образов, картин войны, а есть кошмар войны».

Селин не рассказывал о войне, он, если вспомнить слова Маяковского, «писал войною». С полным правом Селина можно причислить к потерянному поколению: ведь на военные эпизоды «Путешествия...» повлияли и «Огонь» Барбюса, и «На Западном фронте без перемен» Ремарка (кстати, французский перевод этого романа вышел в июне 1929 года).

Именно война раскрывает Бардамю, попавшему в ее мясорубку, глаза на жизнь и человека. Война — это ведь тоже «смерть в кредит», и перед ее грозным ликом оказываются пусты, тщетны и смешны «ценности» героизма, доблести, самопожертвования, религии, патриотического идеала. Война превратила жизнь в огромный тир, где все свелось к убийству, и Бардамю, «лишенный таланта убивать», едва не теряет рассудок от страха. «Я не верю в будущее!» — восклицает он. И единственным желанием Бардамю оказывается стремление уйти из этого мира смерти и лжи, уйти куда угодно — в дебри Африки, в пустыню индустриальной Америки, в сумасшедший дом, в жалкую комнатенку парижского пригорода, на «край ночи», — лишь бы подальше от людей и безумия цивилизации, чьим высшим достижением стала всемирная бессмысленная бойня. В сущности, «Путешествие...» — это и великая поэма о безысходном одиночестве. Человек, считал Селин, способен спастись от кошмаров истории и цивилизации, от злобы и ненависти только в одиночку. «Мы всегда одиноки, когда честны, совсем одиноки!» — писал он в романе «Смерть в кредит».

Мир, которым правит, по словам Селина, «непобедимая сила глупости», может быть только чудовищно, гротескно комичным. Писателю принадлежит страшный афоризм: «Человек человечен ровно настолько, насколько курица может летать». Не зря рядом с отчаявшимся нигилистическим Дон-Кихотом Бардамю в самые решающие мгновения его жизни возникает его циничный «двойник», этакий Санчо Панса — Робинзон, неисправимый неудачник, погибающий от пули влюбленной в него Маделон.

Критика уже отмечала своеобразие комического начала у Селина, сравнивая, например, американские эпизоды «Путешествия...» с фильмом Чарли Чаплина «Новые времена». Но в отличие от гуманизма Шарло Селин с презрением взирает на трепыхания «маленьких людей» — этих куриц, не

способных взлететь выше окружающего их забора смерти и злобы.

Что же может поддержать человека в беспросветной ночи существования? Однажды в беседе с критиком Робером Пуле Селин сказал, что его цель в литературе — передать только «чистое чувство», сколь бы отвратительным и постыдным оно ни было. Щемящее сострадание к детям, животным, иногда — к мукам других существ редкими, но пронзительно лирическими нотами звучит на страницах «Путешествия на край ночи». Вспомним, с какой болью говорит Бардамю о сержанте Альсиде, зарабатывающим в Африке деньги на воспитание племянницы, что тот «превосходит его сердцем».

Селин любит называть себя «человеком пригорода», и он действительно, как пожалуй, ни один другой французский писатель XX века, знал жизнь и чувствовал душу «маленького человека».

Сильный, выразительный образ автора «Путешествия на край ночи» нашел Морис Бардеш. «Селин таскает шарманку и распевает на улицах свою жалобную песню о людях». И печальным рефреном селиновской песни служат часто повторяемые в романе слова Бардамю: «Жизнь заново не переделаешь».

Однако жизнь в мире, Европе и Франции к середине 30-х годов, когда писатель был поглощен работой над большим романом «Смерть в кредит», где рассказывает о детстве своего Фердинанда Бардамю, стремительно менялась.

«Великий социальный эксперимент» в Советской России, приход к власти Гитлера в Германии, «новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США, победа Народного фронта во Франции и начало гражданской войны в Испании — это прелюдии ко второму Апокалипсису, в котором Селину предстояло пережить гораздо более тяжкие испытания, чем в кошмаре Великой войны (так на его родине называют первую мировую). Время было до предела политизированное; и правые, и левые требовали от Селина сделать свой выбор. Луи Арагон, например, писал, что мизантропия Селина, его презрение к человеку могут привести его в лагерь фашизма. Правые бросали ему упреки за равнодушие к политике, за то, что он не поддерживает крайне националистическую, шовинистическую «Аксьон франсез» и другие аналогичные организации.

Второй роман Селина «Смерть в кредит», вышедший в мае 1936 года, не имел оглушительного успеха «Путешествия...». Эта книга, которая потрясала неслыханным отчаянием и бесконечным неверием, даже презрением к человеку, не могла прозвучать в полной радостных надежд, ликующей атмосфере Народного фронта во Франции. «Вся критика против

меня», — жаловался Селин в письмах к друзьям.

Чтобы прийти в себя, успокоиться после какого-либо личного разочарования или творческой неудачи, Селин обычно отправлялся в путешествие. Писатель уже несколько лет подумывал о поездке в СССР, чему были веские причины. В 1934 году в Советском Союзе вышел русский перевод «Путешествия на край ночи», выполненный Эльзой Триоле; в ее работе принимал деятельное участие и Луи Арагон. Роман был издан тремя «заводами» — в 6000, 15000 и 40000 экземпляров, что по тем временам составляло очень крупный тираж, и Селину выплатили немалый гонорар, который он в середине августа 1936 года решил «истратить на месте».

Добротный, удачно передающий интонацию селиновской прозы перевод Эльзы Триоле, был, разумеется, сокращен каким-то ретивым советским редактором. Узнав об этом, Селин посчитал виновниками сей «операции» Луи Арагона и Эльзу Триоле, навсегда порвав с ними отношения. Но весьма вероятно, что именно от них писатель мог узнать об оценке его романа в СССР и мнении Горького, которое основоположник социалистического реализма высказал в своем докладе на Первом съезде советских писателей. Горький строго осудил «Путешествие...» как проявление упадка буржуазной литературы и проницательно заметил, что герой Селина «вполне созрел для приятия фашизма»<sup>[10]</sup>. Но Селин вряд ли знал, что тогдашний журнал «Интернациональная литература» расценивал роман «Смерть в кредит» как посредственный образчик декадентской литературы гниющего Запада, а мировоззрение его автора характеризовал как анархистское, циничное и нигилистическое.<sup>[11]</sup>

В августе Селин — «любопытства ради», по его словам, — прибыл на теплоходе из Хельсинки в Ленинград. Сведений о том, что он побывал в Москве, нет.

Паломничество в Страну Советов в двадцатые-тридцатые годы стало своего рода обязанностью всякого уважающего себя западного интеллектуала. Их манил «свет с Востока», они жаждали увидеть «новый мир» и «нового человека». Тогда в СССР побывали крупнейшие писатели Франции: Ромен Ролан, Анри Барбюс, Жорж Дюамель, Ролан Доржелес, Андре Мальро, Андре Жид и другие. Их принимали с помпой, надеясь получить с них пропагандистские дивиденды.

Селина никто не принимал. В качестве иностранного туриста он сам оплачивал все: гостиницу, машину, услуги переводчицы Наташи. Северная Пальмира очаровала его. «В своем роде это самый красивый город на

свете», — писал он позднее. Будучи специалистом по социальной гигиене, Селин даже умудрился посетить Главную венерологическую больницу Ленинграда, убожество которой его шокировало. Об этом визите он рассказал потом в памфлете «Безделушки для погрома». Писатель побывал в Эрмитаже, съездил в Царское Село. Но потрясением и откровением стал для Селина Мариинский театр. Он слушал «Пиковую даму» и не пропускал ни одного балетного спектакля, восторженно оценивая искусство Г. С. Улановой. Селин обожал балет, боготворил искусство танца, которое поднимает, говоря его словами, «над тяжестью жизни», и даже предложил директору Мариинского театра написанное им либретто балета «Рождение феи». Оно, конечно, принято не было.

Но что же еще увидел Селин в тогдашней советской ночи? Он увидел нищий Ленинград, отрешенную покорность замученного террором народа, благополучие аппаратчиков, безудержную, лживую, лицемерную сталинскую пропаганду, тотальную слежку. С Селина, разумеется, тоже не спускали глаз. Когда писатель вернулся во Францию, его навестил некто Браун, генеральный консул СССР в Париже, который без обиняков сказал Селину, что от него с нетерпением ждут прекрасных страниц о Советской России. Но что «прекрасного» можно было ожидать от человека, который в одном частном письме писал о нашей стране: «Все здесь блеф и тирания. Ужас! Грязь, нищета, мерзость!»

Селин написал яростный, антикоммунистический, антисоветский памфлет «Mea Culpa»<sup>[12]</sup>, который вышел в свет 28 декабря 1936 года. Писатель атаковал сами принципы коммунистической системы, ее лживость. Селин негодовал, что в СССР личность подвергается «чистке с помощью Идеи», то есть, говоря современным языком, идеологическому диктату. Эту систему, утверждал Селин, основанную на страхе, можно защищать только ложью и террором. «Все убийцы видят будущее в розовом свете, это входит в их ремесло». В Москве, естественно, прочли памфлет Селина, и с тех пор писатель стал в Советском Союзе *persona non grata*, хотя — этот факт я могу подтвердить личным воспоминанием — «Путешествие на край ночи», в отличие от книг других «отверженных» авторов, из библиотек изъято не было. Советские литературоведы также забыли о Селине<sup>[13]</sup>. «Отверженность» Селина в нашей стране подкреплалась и его скандальным коллаборационистским поведением в годы второй мировой войны и оккупации нацистами Франции.

Говоря о послевоенном творчестве Селина, можно лишь согласиться с парижским журналом «Магазин литтерер», посвятившим писателю



специальный номер: «Невозможно отделить в его замечательном творчестве, что относится к литературе, а что — к политике». Политически Селин скомпрометировал себя еще до войны своими антисемитскими, расистскими и профашистскими, печально известными памфлетами «Безделушки для погрома»(1937) и «Школа трупов»(1938). Они, как точно сказал Фредерик Виту, проникнуты каким-то «экстазом ненависти» и их трудно читать сегодня без изумленного негодования. Французский критик Филипп Альмера, автор работы «Идеи Селина», имел все резоны назвать их «чудовищным коллажем, созданным в лихорадке». Бельгийский критик П. Вандром назвал Селина «воплощением авантюриста, который плел заговоры против идей и разума нашего века». Действительно, писатель предавал яростной анафеме коммунизм, прогресс, демократию, гуманизм, оплевывал все человеческие ценности. Приверженец нацистских идей, он проповедовал воинствующий расизм: «Прежде всего расизм! Десять, тысячу раз расизм! Высший расизм! Дезинфекция! Чистка! Во Франции только одна раса — арийская!» Селин утверждал, что «расовая проблема доминирует, перечеркивает, стирает все прочее», восторгаясь нацистскими теориями «расовой гигиены» и приветствуя «единственно сознательный пример расизма» — фашистскую Германию. Разумеется, он глумился над разумом «латинского гения», призывая обрести «музыку, ритм, инстинкт расы», которую, с его точки зрения, испортили негры и евреи, масоны и коммунисты, плутократы и интеллектуалы.

Вот образец памфлетного стиля Селина. «Ноготь с прогнившей ноги какого-нибудь обалдевшего пьянчуги и мошенника арийца, валяющегося в собственной блевотине, стоит в сто тысяч раз больше, нежели сто двадцать пять тысяч эйнштейнов». Бредовые политические писания Селина, призывающие сперва «заняться хромосомами», а потом духом, свидетельствуют, что презрение к разуму, культуре, утробный культ расы — это решающий шаг к законченному антигуманизму, к истерическому истреблению всего человеческого в человеке. Свою «теоретическую программу» Селин дополнял практическими лозунгами: «надо выпотрошить евреев» и «удавить коммунистов шнурками от их ботинок».

И слагал экстатические гимны фюреру. «Кто предохраняет нас от войны? Гитлер! Добрый воспитатель народов, он на стороне жизни, заботится о жизни народов и даже о нашей жизни. Он — Ариец!» Селин призывал французов к союзу с гитлеровской Германией, мечтая видеть нацистов «властелинами Европы». Главную их «заслугу» он усматривал в борьбе против большевизма.

Потоки грязи вылил Селин и на свой народ: «...бесхребетный народ,

называемый французами», «...у французов никогда не было национального чувства». С ликующим садизмом он глумился над побежденной Францией в памфлете «Влипли» (1941). В самые мрачные для своей родины годы он заявлял: «Вся Франция — предатели, кроме меня!» «Никто, — отмечал критик Л. Нюсера, — не зашел так далеко в ненависти, расизме, призывах к убийству».

Понимая, что ему придется дорого заплатить за свои коллаборационистские дела и писания, Селин летом 1944 года бежал в Германию. Оттуда он пробрался в Данию, где отбыл 14 месяцев тюрьмы. Французский суд в 1950 году заочно приговорил Селина к году тюремного заключения, «национальному бесчестью», 50 тысячам франков штрафа и конфискации имущества. Амнистированный в апреле 1951 года, он возвратился на родину и поселился в Медоне, где и прожил до самой смерти.

Селин — апологет нацизма — потерпел политический и моральный крах, но его литературная судьба сложилась иначе. Кампания по реабилитации Селина-писателя началась еще в конце 40-х годов. Тогда же его поклонники стали усиленно создавать «селиновскую легенду». Суть ее сводилась к тому, чтобы представить Селина несчастным изгнанником, пострадавшим за «голую правду» своих писаний, изобразить его коллаборационистское прошлое как причуду «катастрофического» темперамента искреннего до предела художника, отвести от автора «Путешествия на край ночи» обвинения в пропаганде нацистской идеологии. Бросая литературной общественности Франции упрек в создании вокруг имени Селина заговора молчания, они пытались увенчать фашистского памфлетиста ореолом мученика и «проклятого поэта». «Современная эпоха вовсе не благоприятствует пониманию Селина», — утверждал известный писатель Марсель Эме, называвший своего друга «бесстрашным искателем истины».

В разработке этой легенды явственно выделяются две тенденции: эстетическая и политическая. Поскольку трудно восстановить в правах погромную политику и профашистскую идеологию автора «Школы трупов», то прежде всего его восхваляют как «авантюриста языка», новатора художественной формы, стилиста-виртуоза, «сатанинского лирика» в прозе. Французский прозаик Жан-Луи Бори сложил Селину настоящий гимн в статье «Рабле атомной эры». «Подмешав к эпическому реализму поэзию „освобожденного“ языка, — пишет Ж.-Л. Бори, — Селин стал Рабле наших дней, Рабле без здоровья, без оптимизма и веры в человека... Рабле без иллюзий... Черный Рабле... Рабле, которого мы

заслуживаем: не Рабле Ренессанса, а Рабле атомной эры». Марсель Эме тоже подчеркивал артистичность прозы Селина, силу ее магии.

«Он был великим писателем, — пишет П. Вандром, — удивительным создателем новой музыки в прозе, которую по-настоящему услышат только в XXI веке». По его мнению, Селин придал «французскому языку новый тон и естественность», а селиновский стиль будет «соответствовать диким чувствам будущего».

Стилю позднего Селина невозможно отказать в оригинальности. Отличительная его черта — взвинченная эмоциональность, использование просторечия и крайний субъективизм. Селин — писатель «голоса». Все его книги представляют собой инвективу, обращенную к человеку и обществу. Вместе с тем селиновский стиль — бесперспективен: писатель разрушает форму, ломает синтаксис, разрубая фразу на синкопированные, судорожные вскрики. Он отказывается от логического строения текста, пользуясь приемами ораторской речи, словесным жестом.

«Форма не имеет значения, — неизменно подчеркивал Селин, — только содержание важно».

Селин, чье творчество по своей эстетической установке насквозь натуралистично, даже физиологично, оказался близок к художественным поискам модернизма. У него легко найти предвосхищение абсурдистской драмы, технику экзистенциалистского романа, примеры сюрреалистического «автоматического письма», «язык тела» и жестокости, который стремился создать Антонен Арто. «Стиль как терроризм» — это очень метко подметил, говоря о художественных приемах Селина, Ж.-Л. Бори. Селин выработал поэтику прямого воздействия на нервную систему читателя. Он хотел видеть в литературе чисто биологическую функцию. Показателен ответ Селина на анкету журнала «Коммюн» в 1933 году «Для кого вы пишете?». «Биологически, — отвечал Селин, — писатель не имеет смысла. Писатель — это романтическая непристойность, чье объяснение может быть только поверхностным». Уже тогда он отрицал всякую социальную роль художника, сводя задачу писателя к чисто лирическому самовыражению и разрушению осмысленной формы. «Быть безумным», «калечить язык во всем», монтировать из тенденциозно подобранных, до предела натурализованных деталей бредовый образ реальности, передать вплоть до физиологического ощущения галлюцинации автора — таковы принципы позднего стиля Селина.

Ярче всего это проявляется в немецкой трилогии Селина — романах «Из замка в замок», «Север» и «Ригодон». Перед нами снова путешествие, теперь уже на край нацистской ночи. «Время — лучший судья, — писал в

еженедельнике „Экспресс“ А. Ринальди, — и сегодня эта трилогия исхода предстает в истинном свете, во всем своем зловещем величии». Подлинное лицо Селина — человека и писателя — трилогия действительно раскрывает, хотя «величие» оборачивается в ней страхом автора перед расплатой за нацистское прошлое.

Трилогия повествует о скитаниях Селина и его спутников — жены Лили, друга-актера Ле Вигана и... кота Бебера, бежавших из Франции незадолго до освобождения Парижа. Меньше всего, однако, эти произведения похожи на романы. Эти книги образуют своеобразный сплав исторической хроники и исповеди Селина, который проиграл свою ставку в борьбе с Историей...

Маршрут Селима по гитлеровской Германии, доживающей последние дни, начинается с замка Зигмаринген, где временно обосновалось беглое правительство Виши во главе с Петеном. Об этом рассказывается в книге «Из замка в замок». 1142 человека — предатели французского народа — укрываются здесь от неизбежной расплаты. Их-то Селин и считает «подлинной Францией». Но его книга производит обратный эффект. Эти мелкие, жалкие людишки, спасающие свою шкуру, охвачены утробным страхом, потеряли человеческий облик. Даже нацистские покровители откровенно презирают их. Селин рисует своих «героев» как скопище отбросов. Не потому, что он вдруг увидел все их ничтожество, а потому, что презирает побежденных и неудачников.

Селин не раскаялся, он был и остался приверженцем фашизма, не изменил своим убеждениям. «Я никогда не попрошу прощения», — заявил он. Собственная неудача вызывает у него приступы неистовой, прямо-таки патологической ненависти к миру и человечеству. Этот медонский Герострат мечтал о «прекрасном атомном разгроме» планеты, призывал обрушить на род людской тысячи Хиросим.

Трещавший по всем швам третий рейх дал Селину «идеальный» материал, подтверждающий его концепции жизни и человека. Особенно выразительно это в романе «Север» — другом шедевре писателя. Июль 1944 года. Селин и его спутники оказываются в Баден-Бадене, где поселяются в шикарном отеле «Бреннер». Здесь идет пир во время чумы. Нацистская элита, спасающие свою шкуру «коллабо», какие-то аристократы, предчувствуя неминуемый конец, жрут, пьют коньяк, занимаются любовью. И эту компанию Селин тоже называет отбросами, и по той же причине. Затем Селин перебрался в Берлин. От столицы рейха мало что осталось: груды развалин и смотрящие пустыми глазницами окон фасады. Нужно отдать должное огромному художественному дарованию

Селина, который создает почти физиологическое ощущение гибели гитлеровской империи: от беспрестанных бомбардировок под ногами нацистов дрожит земля, над Берлином стоит апокалипсическое зарево возмездия. По улицам бродят люди, копошащиеся в грудях развалин.

Однако Селину жаль не этих людей, а угасающий нацизм, и он пытается разжалобить читателя зрелищем мрачных картин разрушения и хаоса. Ему бы очень хотелось вернуть «величие» фашизма. Символически звучит сцена встречи Селина с сумасшедшим адвокатом Преториусом — мародером, грабящим разбитые дома. Этот одержимый нацист приводит Селина и его спутников на площадь перед имперской канцелярией. Преториус наяву бредит миновавшим «блеском» нацизма, ему слышится звук фанфар и чудится триумфальное появление фюрера. Но площадь, заваленная обломками, пуста. В приступе безумия Преториус несколько раз рывкает в пустоту: «Хайль!».

Роман Селина «Север» напоминает этот выкрик. Эта книга — потрясающее свидетельство очевидца катастрофы третьего рейха.

В Берлине у Селина находится могущественный покровитель врач-эсэсовец Хаубольдт, дающий ему убежище в своем потаенном бункере. Хаубольдт кормит Селина и его спутников бутербродами, милостиво предоставляет им с барского плеча махровые купальные халаты. Селин бесконечно унижается, льстя Хаубольдту. В этом бункере писатель был готов, по его словам, просидеть двадцать лет.

Хаубольдт — страшная, омерзительная фигура фашиста. Этот врач, предлагающий коллеге Селину написать книгу о немецко-французском содружестве в области медицины, сетует на отсутствие эпидемий чумы и тифа, которые смогли бы помочь гитлеровцам.

Решив избавиться от своего «французского друга», Хаубольдт отвозит селиновскую компанию в местечко Крэнтцлин, где находится большое поместье его друзей, семейства фон Шертц. Но и здесь Селин чувствует себя затравленным зверем: его презирают французские военнопленные, работающие на ферме, на него косо смотрят местные власти, его третируют господа-хозяева. На десятках страниц Селин плаксиво жалуется на свои несчастья и недуги. Оказывается, плохо только одному ему, а все остальные, даже русские пленные, «хорошо устроились». Он не спит ночами, опасаясь за жизнь, и мечтает «повесить всех за ноги». Ненависть Селина к людям принимает фантазмагорические масштабы, человек представляется ему «доносчиком по самой своей природе», убийцей и вором.

Сущность человечества для писателя олицетворяет паноптикум

обитателей замка Крэнтцлин. В бесовском хороводе мелькает нечисть, словно сошедшая с гравюр Гойи. Восьмидесятилетний граф фон Шертц — обезумевший сексуальный маньяк-мазохист. Его сын — безногий обрубок, наркоман, которого слуга выбрасывает в силосную яму. Жена калеки Изис фон Шертц — сексуально извращенная особа, жестокая человеконенавистница. Истеричная садистка экономка Кратцмюль, в припадке безумия проклиная «любимого фюрера». Эсэсовец Мачке — пьяница и развратник, которому всюду мерещатся убийцы. Вешатель ландрат Земмельринг, казненный пленными. Графиня Тульф-Чеппе, помешанная на своих прошлых парижских похождениях. Выживший из ума сторож Хялмар, который трубит в пастуший рожок и бьет в барабан, оповещая население о воздушных налетах. Все эти мелкие бесы окружают Селина. Он злорадно коллекционирует все новые и новые доказательства людской подлости и порочности. Ведь история предоставила Селину наглядное доказательство того, что истина — это мир смерти и распада.

В романе «Север» катастрофизм и пессимизм Луи-Фердинанда Селина обрели свое полное выражение. «Именно я есть орган вселенной! — восклицал он. — Я изготавливаю оперу всемирного потопа...»

В нашем жестоком и кровавом столетии очень нелегко быть оптимистом. Поэтому снова и снова возникает по-своему «вечная» тема борений художника с Историей и политикой. Здесь Селин не одинок, достаточно вспомнить личную и творческую судьбу Кнута Гамсуна, Эзры Паунда, Готфрида Бенна, если называть лишь всемирно известных писателей. Но политика преходяща, а искусство слова — вечно. И великая заслуга подлинной литературы в том, что она отважно говорит самую страшную, даже чудовищную, как в случае Селина, правду о времени и человеке. Через шесть десятилетий к русскому читателю возвращается одно из великих творений мировой литературы XX века — роман Луи-Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи».

И можно быть уверенным, что этот шедевр проклятого поэта сегодня никого не оставит равнодушным.

*Лев Токарев*

## Основные вехи жизни и творчества Луи-Фердинанда Селина

1894 — 27 мая в Курбевуа (департамент Сены) родился Луи-Фердинанд-Огюст Детуш. Отец Фернан-Опост Детуш (1865–1932) — служащий отдела корреспонденции в страховой компании «Феникс». Мать Маргарита-Луиза-Селина Гийу (1868–1945) — владелица лавки модного белья.

1897 — Семья Детушей переезжает в Париж.

1907 — Луи Детуш получает свидетельство об окончании начальной школы.

1907–1908 — В эти годы Луи Детуш каждое лето проводит в пансионах в Дипхолтце и Ганновере, изучая немецкий язык.

1909 — С февраля по ноябрь Луи Детуш живет в Англии, усиленно занимается английским языком.

1910–1912 — Луи Детуш обучается на приказчика сначала в торговле трикотажем и тканями, потом — ювелирными изделиями. Служит у многих хозяев.

1912 — 28 сентября Луи Детуш добровольцем поступает в 12-й кирасирский полк, дислоцированный в Рамбуйе.

1913 — Луи Детуш получает звание капрала. Летом пишет «Записную книжку кирасира Детуша» (опубликована посмертно).

1914 — Луи Детуш 5 мая получает звание сержанта.

После начала первой мировой войны 12-й кирасирский полк воюет в Лотарингии, затем перебрасывается во Фландрию.

27 октября сержант Луи Детуш, добровольно взявшись осуществить опасную миссию связи, тяжело ранен близ Ипра в правую руку. 29 октября прооперирован. 25 ноября награжден боевой медалью и воинским крестом. Подвиг сержанта Детуша запечатлен на обложке популярного еженедельника «Иллюстре насъональ».

1915 — Луи Детушу повторно оперируют правую руку.

В мае Луи Детуша направляют на работу в паспортную службу генерального консульства Франции в Лондоне.

В декабре сержанта Луи Детуша признают негодным к дальнейшему прохождению воинской службы.

1916 — В марте Луи Детуш поступает на службу в Компанию по

добыче леса Шанга-Убанги (Камерун) в качестве смотрителя на плантации.

В середине июня прибывает в Дуалу. С октября Луи Детуш работает управляющим плантацией в Бикобимбо.

1917 — В марте Луи Детуш тяжело заболевает, его госпитализируют в Дуале.

В апреле, возвращаясь во Францию, пишет на паровозе новеллу «Волны».

1918 — В марте Луи Детуш принят на работу в Фонд Рокфеллера для проведения инспекционных поездок с целью исследования распространения туберкулеза во Франции.

В городе Ренн Луи Детуш знакомится с доктором Фолле и его дочерью Эдит.

1919 — В июле Луи Детуш сдает экзамены на звание бакалавра, то есть получение диплома о среднем образовании.

19 августа Луи Детуш женится на Эдит Фолле.

1920 — В апреле Луи Детуш поступает в Медицинскую школу города Ренн, в которой пользуется льготами ветерана первой мировой войны.

15 июня у Эдит Фолле и Луи Детуша родилась дочь Колетт Детуш.

1922 — С октября Луи Детуш продолжает изучение медицины в Париже.

1923 — В июне Луи сдает последние экзамены, проходит практикум и начинает готовить диссертацию.

1924 — 1 мая Луи Детуш успешно защищает диссертацию на тему «Жизнь и творчество Филиппа Игнация Земмельвайса».

27 июня Луи Детуш становится сотрудником доктора Людвига Райхмана — руководителя отдела гигиены в Лиге Наций, имеющей штаб-квартиру в Женеве.

1925 — С 14 февраля по 8 августа доктор Луи Детуш, занимающийся проблемами социальной гигиены, по поручению Лиги Наций посещает США (Нью-Йорк, Вашингтон, Новый Орлеан, Балтимор, Детройт), Кубу, Канаду, Англию и другие страны Европы.

Луи Детуш публикует работу «Кухня в терапии».

1926 — С 14 марта по 9 июня Луи Детуш по заданию Лиги Наций совершает поездку по странам Африки (Сенегал, Судан, Гвинея, Берег Слоновой Кости, Золотой Берег, Того).

21 июня Детуш развелся с Эдит Фолле.

Во время поездки по странам Европы с 21 июля по 25 августа Луи Детуш знакомится с американской танцовщицей Элизабет Крэг, связь с которой продлится почти шесть лет (ей будет посвящено «Путешествие на



край ночи»). Он начинает писать пьесу «Церковь».

1927 — Луи Детуш во время летнего отпуска в Париже пишет фарс «Перикл» (опубликован посмертно под названием «Прогресс»).

В октябре издательство «Галлимар» отклоняет пьесу «Церковь».

Поскольку в конце декабря истекает срок его контракта с Лигой Наций, доктор Луи Детуш открывает свой врачебный кабинет в Клиши, в доме номер 36 по Альзасской улице.

1928 — Сообщение Луи Детуша «По поводу санитарной службы на заводах Форда в Детройте».

В июле издательство «Галлимар» отклоняет предложение Луи Детуша опубликовать книгу «Жизнь Земмельвайса».

1929 — В январе доктор Луи Детуш становится внештатным сотрудником муниципального диспансера в Клиши.

В марте — апреле совершает поездку в Лондон.

Летом Луи Детуш начинает писать роман «Путешествие на край ночи».

1931 — В конце года Луи Детуш завершает работу над романом «Путешествие на край ночи».

1932— В марте Луи Детуш передает рукопись своего романа издательству «Галлимар». Но автору настоятельно советуют сделать сокращения и внести кое-какие стилистические поправки. Луи Детуш не соглашается и отдает роман молодым издателям Деноэлю и Стиллу, с которыми 30 июня подписывает контракт.

15 октября в свет выходит роман «Путешествие на край ночи», подписанный псевдонимом Луи-Фердинанд Селин. Этот псевдоним писатель взял в память о своей бабке по материнской линии Селине Гийу.

7 октября Селин получает литературную премию имени Теофраста Ренодо.

Вокруг романа и личности лауреата вспыхивает бурная полемика в прессе и среди критики.

1933 — Еженедельник «Кандид» печатает 16 марта статью Селина «Давайте объединимся: послесловие к „Путешествие на край ночи“».

В марте Селин начинает работать над своим вторым романом «Смерть в кредит».

12 сентября отдельным изданием выходит пьеса «Церковь».

1 октября в Медане, в годовщину смерти Эмиля Золя, Селин произносит «Похвальное слово Золя».

В декабре Селин отвечает на анкету журнала «Коммюн» «Для кого вы пишете?»

1934 — Летом Селин совершает поездку в США.

1935 — В первой половине года Селин совершает поездки в Австрию, Бельгию, Англию, Данию, Германию.

С сентября в Сен-Жермен-ан-Ле продолжает писать «Смерть в кредит».

В конце года знакомится со своей будущей второй женой, балериной Люсетт Альманзор (настоящее имя — Люси Альмансор).

1936 — 29 апреля выходит роман «Смерть в кредит».

В августе — сентябре Селин совершает поездку в СССР для получения гонорара за русский перевод «Путешествия на край ночи»; посещает Ленинград и его окрестности.

2 декабря в Лионе «Театр де Селестэн» поставил пьесу «Церковь».

30 декабря выходит из печати антисоветский памфлет «Mea culpa» («Моя вина») и книга «Жизнь и творчество Земмельвайса».

1937 — Селин прекращает работу в диспансере в Клиши.

22 декабря появляется антисемитский памфлет Селина «Безделушки для погрома».

1938 — В апреле — мае Селин находится в Канаде и США по случаю выхода английского перевода романа «Смерть в кредит».

15 ноября появляется памфлет Селина «Школа трупов», выдержанный в пронацистском и расистском духе.

1939 — Доктор Рукес, упомянутый в памфлете «Школа трупов», подает на Селина и его издателя Робера Деноэля в суд, обвиняя их в диффамации.

21 июня суд признал виновным Селина и Деноэля, но уже в мае Деноэль изъял из продажи все памфлеты писателя.

1 сентября — начало второй мировой войны.

9 ноября Селин окончательно освобождается от призыва в армию.

15 декабря Селин поступает корабельным врачом на пароход «Шелла», совершающий рейсы в Марокко.

1940 — в марте Селин назначается врачом в диспансер города Сартровиль.

10 июня Селин вместе с персоналом и больными эвакуируется сначала в Орлеан, потом в Ла-Рошель.

14 июля Селин возвращается в Сартровиль.

1941 — 25 февраля Робер Деноэль выпускает в созданном им Новом французском издательстве коллаборационистский памфлет Селина «Влипли!».

В декабре цензура запрещает распространение памфлета «Влипли!» в

«свободной», неоккупированной нацистами зоне Франции.

1942 — В марте Селин совершает поездку в Берлин и подписывает «Манифест французских интеллигентов против преступлений англичан».

1943 — 23 февраля Селин вступает в брак с Люсетт Альманзор.

1944 — 15 марта выходит из печати первый том нового романа Селина «Банда Гиньоля».

17 июня Селин в компании Люсетт Альманзор и своего любимца кота Бебера уезжает в Германию с намерением пробраться оттуда в Данию. Они следуют по маршруту — Баден-Баден, Берлин, Нейрупнин, Зигмаринген.

1945 — 27 марта Селин и его жена приезжают в Копенгаген.

19 апреля французские власти выдают ордер на арест Луи-Фердинанда Селина.

2 декабря в Париже убит издатель Селина Робер Деноэль.

17 декабря Франция потребовала выдачи Селина. Датские власти арестовали писателя и его жену, поместив их в тюрьму Вестре Фенгсель. Люсетт Альманзор была отпущена на свободу через десять дней.

1946 — 6 ноября Селин пишет «Ответ на обвинения в измене, выдвинутые против меня французским правосудием и повторенные датской уголовной полицией в ходе допросов во время моего тюремного заключения в Копенгагене в 1945–1946 годах».

1947 — 24 июня Селин освобожден из тюрьмы, но ему запрещен выезд из Дании.

8 декабря Селин разрывает контракт с издательством «Деноэль».

1948 — 19 мая Селин и его жена покидают Копенгаген и поселяются на побережье Балтийского моря, в Кларсковгаарде, где живут в имении их датского адвоката, мэтра Миккельсена.

Селин завершает роман «Лондонский мост» (вторая часть романа «Банда Гиньоля»). Писатель обменивается письмами со своими друзьями во Франции и завязывает переписку с профессором из США Милтоном Хиндусом.

В ноябре парижский журнал «Тетради Плеяды» публикует новеллу Селина «Война».

1949 — В Париже издательством «Фруассар» переиздан роман «Путешествие на край ночи».

1950 — 21 февраля суд департамента Сена заочно приговаривает Селина к одному году тюрьмы, штрафу в 50000 франков, к национальному бесчестью и конфискации половины имущества.

В мае издательство Фредерика Шанбриана переиздает роман «Смерть в кредит».

1951 — 26 апреля Луи-Фердинанд Селин оправдан военным трибуналом.

1 июля Селин с женой возвращается во Францию.

18 июля писатель подписывает с издательством «Галлимар» контракт на переиздание своих старых и издание новых произведений.

В сентябре писатель поселяется в Медоне, под Парижем. В своем доме Селин открывает врачебный кабинет, а Люсетт Альманзор — танцевальный класс.

1952 — В мае в издательстве «Галлимар» выходит новое произведение Селина «Феерия для другого раза».

1954 — Журнал «Нувель ревю франсе» в пяти номерах публикует оставшиеся незаконченными «Беседы с профессором Y».

10 июня под названием «Норманс» выходит вторая часть «Феерии для другого раза».

1956 — Роман «Путешествие на край ночи» издается массовым тиражом в популярной дешевой серии «Карманная книга».

1957 — 4 июня выходит роман «Из замка в замок» — первая книга так называемой «немецкой трилогии» Селина.

1959 — 31 марта доктор Детуш окончательно прекращает свою врачебную практику.

1960 — 13 мая выходит второй том «немецкой трилогии» — роман «Север».

1961 — В издательстве «Галлимар» начинается подготовка к выпуску романов «Путешествие на край ночи» и «Смерть в кредит» в престижной серии «Библиотека Плеяды». Подобная честь при жизни автора во Франции фактически означает причисление его к классикам национальной литературы.

30 июня Селин заканчивает работу над вторым вариантом третьей части «немецкой трилогии» — романом «Ригодон».

1 июля Луи-Фердинанд Селин скончался в возрасте шестидесяти семи лет от разрыва аневризмы.

4 июля писатель похоронен на кладбище в Медоне.

## Примечания

Перевод сделан по изданию: Céline. Romans.t.I, «Bibliothèque de la Pléiade», Editions Gallimard, Paris, 1962. Все цитаты, кроме особо отмеченных, взяты из личной переписки автора предисловия с Селином.

Робер Пуле. «Задушевные беседы с Л.-Ф. Селином». Изд-во «Плон», Париж, 1958 г.

Céline — третье имя Marguerite-Louise-Céline Guilloux, то есть по-русски — Маргарита-Луиза-Сели на Гийу. Во французском произношении — Сели́н (*прим. переводчика*).



«Выход» (англ.).

«Уборная»(англ.).

«Зона» — беднейшая полоса Парижа, лачуги которой построены из старых ящиков, досок и т. п.

7

Ура!

Книги имеют свою судьбу (лат.).

Цитируется по книге: Frederic Vitoux. «La vie de Céline». Grasset, Paris 1988.

М. Горький Собрание сочинений в 30 томах Гослитиздат, М., 1953, т. 27, стр. 313.

24 июля 1993 г. в газете «Советская Россия» появилась статья Леонида О хоти на «Сомкнув крылья», где сообщается, будто «Путешествие на край ночи» было «любимым чтением Сталина». Нам не удалось подтвердить это историческим материалом.



«Моя вина»(лат.). Фрагмент из памфлета Л.-Ф. Селина были опубликованы в «Независимой газете» 1.08.1991 г.

Исключение составляет книга И. Шкунаевой «Современная французская литература» (М. изд. ИМО, 1961), где автор впервые обратилась к анализу послевоенных произведений Л.-Ф. Селина.